

Алла ДУБРОВСКАЯ АПЕЛЬСИНОВОЕ ДЕРЕВО



International

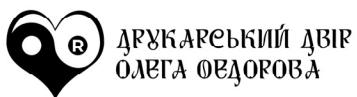
Literary

magazine

Алла
ДУБРОВСКАЯ

АПЕЛЬСИНОВОЕ
ДЕРЕВО

БИБЛИОТЕКА «КРЕЩАТИКА»
ПОЕЗІЯ, ПРОЗА, ПУБЛІЦИСТИКА



Алла
ДУБРОВСКАЯ

АПЕЛЬСИНОВОЕ
ДЕРЕВО
Избранная проза

Друкарський двір
Олега Федорова
Київ, 2023

УДК. 821.161.8'19-2

Д79

СЕРІЯ «Библиотека “КРЕЩАТИКА”»

Заснована в 2023 році

Дубровская А.

Д 79 Апельсиновое дерево / А. Дубровская — Друкарський двір
Олега Федорова 2023 — 328 с.

ISBN 978-617-8252-39-7

Роман-воскрешение, так Алла Дубровская назвала свой роман «Апельсиновое дерево», что, наверное, справедливо по отношению к любому историческому роману. Воскрешению под-лежит история одной екатеринодарской семьи на широком историческом фоне, охватывающем события с начала двадцатого века до современности.

Вот что написал об этой книге поэт Валерий Черешня: «Главный признак хорошей прозы — уникальность авторского взгляда на мир и человеческое в нем обитание. Этот уникальный взгляд сполна присутствует в прозе Аллы Дубровской, от преисполненных лирической субъективности миниатюр до вроде бы предельной отстранённости романного повествования “Апельсинового дерева” и “Аэродрома”, читатель узнаёт его в единстве ритма, спокойной интонации и того трудно определимого мастерства и обаяния рассказчика, которые заставляют читателя проживать события и чувства этой прозы как собственные».

УДК 821.161.8'19-2

ISBN 978-617-8252-14-4 (серія БК)

ISBN 978-617-8252-39-7

© Дубровская А., 2023

© Федоров О.М., видавець, Київ 2023

АПЕЛЬСИНОВОЕ ДЕРЕВО

(роман-воскрешение)

Часть первая

Приходит день, когда разрозненные участки того, что тебе известно, надо соединить в линию передачи.

М. Степанова «Памяти памяти»

Глава 1

Все началось со старого альбома с фотографиями, попавшего ко мне после смерти сестры. Я и забыла о его существовании, а она, оказываясь, хранила. Ее незатейливые вещи были распроданы, раздарены или выброшены — и, если бы муж покойной не вспомнил обо мне, давно живущей на другом континенте, такая же участь ожидала бы и этот альбом с датой 1930 год на потрепанной обложке и полустертым подобием чаек над волнистой линией серого цвета. Самая старая фотография помечена 1914 годом. На ней сестра милосердия: тонкие черты лица в обрамлении белого апостольника, передник со знаком Красного Креста. Еще какие-то люди. Много пар. Застывшие красивые лица. Узнаю молодых деда с бабкой. 1925 год. Раскрыть тайну этих ушедших жизней уже некому. Я попробую рассказать их истории сама.

Тогда пусть будет деревянный двухэтажный дом с козырьком над входной дверью, стоящий на неизвестной мне улице, в городе, давно поменявшем свое имя. И пусть он будет расположен неподалеку от железнодорожного вокзала (деталь немаловажная в дальнейшем), на пересечении с большой мощеной улицей. Здесь позвякивает и грохочет допотопный трамвай, толстый городской на углу важно кивает знакомым. Летом пыльно, несмотря на усилия дворников и ряды деревьев белой акации. Зимы коротки и дождливы, зато прекрасна затяжная южная осень.

Вижу, как лучи заходящего октябрьского солнца золотят гардины на окнах небольшой гостиной, высвечивают теплым светом рояль с открытой крышкой, кресла, расставленные для слушателей. Вот горничная вопросительно поглядывает на барыню, не пора ли задергивать гардины, включить люстру и приглашать гостей рассаживаться по местам, но та не видит этих взглядов, повернувшись в сторону девушки у рояля.

— Ну что ты, душа моя, стоит ли так волноваться? Вот Симон Меерович говорит, ты давно готова к выступлению.

Симон Меерович Юдович, небольшой рыжеватый человек во фраке, каждой черточкой выбритого лица показывает согласие со словами хозяйки дома и для большей убедительности кивает. Он и сам волнуется. Ему тоже предстоит выступить после Оленьки, если господа слушатели к тому времени не устанут.

— Да и пришли-то все свои, — продолжает Екатерина Ивановна, поди, заждались уже.

Один поворот ладно сидящей на покатых плечах головы — и горничная, тотчас уловив приказание, бросается к окнам, задергивает гардины и, прошуршав накрахмаленными юбками, включает хрустальную люстру. Теперь мне видны стены, увешанные групповыми фотографиями. Удалые головы в папах, бороды лопатами, ремни крест-накрест. Отдельных лиц не различить, но все вместе — бравые казаки: черкески, кинжалы наискосок, шашки в ногах. А вот и сам хозяин в овальной раме. Хорунжий войска Кубанского, дворянин Федор Афанасьевич Безладнов, сразу после афганской кампании, во всей красе: парадная папаха, наборный пояс, темляк на эфесе наградного оружия — Святая Анна 4-ой степени за храбрость в бою. Надбавка в двадцать пять рублей к окладу — очень кстати для молодой семьи. Вот он же сидит в черкеске с газырями: горбатый тонкий нос, усы концами кверху. Молодка в белой блузе стоит рядом. У нее чуть близорукие светлые глаза, густые волосы на прямой пробор и на затылке, должно быть, аккуратный узел. Короткопалая рука лежит на плече у мужа. И откуда у старшей дочери пальцы во всю длину октавы? Время идет, а служба императору остается. Есаул Безладнов уже больше года пропадает в Маньчжурских полях.

— Пожалуйте, пожалуйста рассаживаться, — створчатая дверь гостиной широко открыта. — Сейчас начнут-с.

Расселись... И впрямь все свои: почтмейстер с супругой — большие любители музыкальных концертов, Оленькина наставница из Мариинского института, пара соседей, да младшенькая гимназистка Леночка. У двери на стуле примостилась нянюшка с носком на спицах. Пока печальная прелюдия Скрябина наполняет грустью сердца слушателей, в кухне закипел самовар, и горничная Капа наливает первый стакан чаю уряднику Еременко. Чай здесь пьют вприкуску, баранки окунают в вазочку с тягучим медом, разговоры ведут неторопливо. Урядник раскраснелся. Вышитым платочком он степенно промокает на лбу пот. В городе беспокойно: демонстрациями никого не удивишь, поговаривают о новой железнодорожной стачке. Сменившись в патруле, Еременко попарился в бане и, торопясь в отгул, не попил кваску, не поел каши. Мокрый веник, завернутый в газету, спрятан на черной лестнице: казаку не пристало ходить в гости с неприглядным предметом под мышкой. Понятливая Капа подала на стол холодные оладьи со сметаной. Прислушиваясь к музыке в гостиной, она пьет чай из блюдца, изящно отставив мизинцы.

Хрупкая мелодия под пальцами Оленьки кружит по гостиной, пробивается в господские покои на втором этаже. Там полки, уставленные книгами с потрепанными корешками: Толстой, Чехов, Короленко, разрезанные журналы «Нива». В доме кто-то интересуется серьезной литературой. По коридору три двери в девичьи светелки с узкими кроватями и прочей скудной мебелью. У барышень все очень скромно. Когда внизу в гостиной гасят свет и в тишине раздается только тиканье настенных часов, можно услышать легкий топоток босых ног. Это младшие сестрички сбегаются посекретничать к старшей. Шепот, взрыв приглушенного смеха.

— Ах, милые сестры, и зачем кто-то с тоской выдыхает: «В Москву! В Москву!»? А нам так хорошо в нашем прекрасном Екатеринодаре!

— Но тише, девочки, тише, разбудите маменьку!

В конце коридора супружеская спальня с образами в углу. После проигранной войны принесут сюда тело больного неизвестной лихорадкой есаула. Отсюда же его и вынесут, отпоют в соседней церкви и зароят на Всесвятском погосте. Достанется маменьке одной поднимать сироток, выводить в жизнь, выдавать замуж — и, слава Богу, не дожить до навалившейся на всех большой беды.

Но вот фортепьяно стихло, отзвучали восторженные хлопки и слышались нервические звуки скрипки, разбудившие задремавшую нянюшку. Подхватив недовязанный носок на спицах, она перебралась на кухню, подальше от «скрыпу». И вместе с ней сюда переместилась еще недавно жившая в гостиной тихая гармония. Стемнело, и здесь тоже зажгли свет. Я вижу подвешенные над полками с кастрюлями и сковородками пучки засушенных трав, банки с крупами и вареньем, стол, со всеми принадлежностями нехитрого угощения, вижу сидящие три фигуры, со склоненными в неторопливой беседе головами. Еще мгновение так: ничем не потревоженный покой простых и непрехотливых душ.

Надька всегда появляется некстати. Вот и на этот раз, хлопнув дверь с черного входа, в разношенных туфлях, похожих на конские копыта, она громко топает на кухню. Несмотря на сходство с сестрами-красавицами, она некрасива, горбоноса в отца, с громким пронзительным голосом. Тут же хватает со стола оладью, макает ее в сметану и, не прожевав, оживленно жестикулируя, начинает рассказывать про демонстрацию на Красной, где она толкалась с утра.

— Уж маменька ваша как волновалась, — поджимает губы Капа. Она не одобряет увлечение революцией одной из барышень.

— Гостей полон дом, музыку играют, а она по улицам бегаёт, — поддерживает горничную нянюшка.

Надьке все нипочем: заглотнув оладью, она уже наливает себе чаю из самовара и хлопается на стул рядом с урядником.

— Еременко, голубчик, а не тебя ли я видала сегодня в патруле на Атаманской площади?

— Так точно-с! — урядник смеется глазами, глядя на непутевую барышню.

Та на минутку словно замирает, тянется куда-то в свои юбки и вытаскивает оттуда какой-то листок.

— А вот почитай-ка потом, да казакам дай почитать в казарме!

Листок исчезает. Может, Капа и хотела что сказать про листки, перелетающие из одного кармана в другой, но скрипка в это время смолкла, и из гостиной донесли восторженные хлопки с криками «Браво!»

Тут Надька подхватила и выскользнула из кухни.

— Господа, господа! — затрубил ее громкий голос. — У нас в гостях лучший запевала Первого Кубанского казачьего полка, урядник Еременко. Попросим его спеть, господа!

Раздались голоса: «Просим! Просим!»

Еременко только успел обтереть платком усы, как на кухню уже вырыгнула Леночка, младшая из барышень и, схватив его за руку, потащила в гостиную. Петь тут любили, толк в этом знали, казацкие песни помнили наизусть. Еременко не застеснялся, прошел к роялю, встал лицом к господам и затянул густым басом: «Ляти, пташка, канарейка. Ляти в гору высоко». И тут же почтмейстер и Симон Меерович подхватили: «Сядь на яблоньку кудряву. Сядь на ветку зелену!» — и дотянули, допели в унисон песню, пока Еременко вел главную тему. После первой песни урядника не отпустили, а стали просить спеть еще. Он распелся. Тихо позвякивает под потолком хрустальная люстра. Ходики на кухне отмеряют время его увольнительной.

— Ишь ведь как повернула, и всё по-своему, — уже не сердится на дочь Екатерина Ивановна, а растроганно вытирает батистовым платочком запотевшие стекла пенсне, — Ольга отыграла отлично, и Юдович не подвел. Отец был бы доволен, — она привычно вздыхает, — а Еременко-то молодец какой! Повезло нашей Капитолине, — мысли ее уносятся в привычном направлении забот, недостойных даже упоминания.

Но гостям пора расходиться по домам. В Екатеринодаре неспокойно. Газеты пишут об ограблениях и всяческих угрозах жизни мирным гражданам. Торопится в часть и Еременко. Сбежав по черной лестнице, он забывает про спрятанный веник. На улице достает листовку. Призыв к восстанию. Нет, такое он казакам не покажет. Нету им резону восставать. Весной перейдут они на льготу, разъедутся по хуторам пахать да сеять. Мужики в полку солидные, хозяйственные, не иногородние какие-нибудь. Теплый ветерок подхватывает скомканную бумажку, кружит по кирпичному тротуару, несет вниз по Екатерининской улице к Царским воротам. И что там с нею дальше будет, никому уже не известно.

— Да что это такое в газетах пишут? Что за оживление под окнами? — Екатерина Ивановна раскрывает «Кубанский курьер», а там — «Мы, Николай Второй и прочая, и прочая. Объявляем всем нашим подданным...»

— Надежда, — кричит Екатерина Николаевна, — а ну, поди сюда! Тут прямо до тебя касается.

Надежда с утра уже приготовилась бежать куда-то. Зонтик в руках вертит, шляпка на ухо съехала, приколоть забыла.

— И кто ее, такую дурную замуж возьмет? — безжалостно рассматривает дочь Екатерина Ивановна. — Старшая и младшая удались, а за эту сколько ж приданого надо дать, чтоб с рук сбыть, да и жениха искать устанешь, — но сама только газету протягивает и молчит.

— Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов, — читает Надька трескучим голосом. — Это ж надо! Какая победа! Я должна обсудить с товарищами наши дальнейшие действия, — и след ее простыл вместе с газетой.

— К-у-у-да? — только и успела крикнуть Екатерина Ивановна. — Да что за товарищи у тебя такие?

Но после Высочайшего Манифеста беспорядки в городе, вопреки ожиданиям многих, не прекратились. Какие-то подозрительные люди с отвратительными рожами толпились на углах, носили хоругви по главным улицам, распевали «Боже, царя храни!», налегая на слова «царь православный» и крестя толоконные лбы. На Графской разбили витрину фотографа Абрамсона. В субботу Еременко не отпустили в отгул, а оставили в конном патруле. Когда уже зажглись фонари на улицах, он постучал нагайкой в окно дома есаула Безладнова. Выглянувшей меньшей барышне сказал коротко:

— Скажи Екатерине Ивановне, архангелы Михаилаы идутъ жидов битъ.

Леночка окно захлопнула и во всю прыть добежала до маменьки. У Екатерины Ивановны в минуты большого жизненного напряжения с особой силой проступали черты простой кубанской казачки.

— Ка-а-пка! — гаркнула она, — геть до Юдовича, нехай враз бежит до нас ховаться!

Капитолина успела платок накинуть и как была кинулась на соседнюю улицу к его дому, где уже толпились архангелы. Слышались похабные крики и звон разбитого стекла. Через

черный ход расторопная девушка подскочила к дверям квартиры часовщика и крикнула в замочную скважину, кто она и зачем колотится туда что есть силы. Бледное лицо Симона Мееровича показалось в проеме. Бежали огородами, но кто-то из архангелов заметил две метнувшиеся с черной лестницы тени и пустился вдогонку. Только успели вбежать и дверь закрыть на защелку, как раздалась пьяные голоса на улице «Бей их! Бей паршивых!»

— Боженки, — затряслась нянюшка. — Вот горечко-то! Куда ж мы его, сердцевого, сховаемо? В сундук, што ли?

— Да что вы, нянечка, он там задохнётся! В подпол его, — нашлась Леночка.

Схоронили Симона Мееровича в подполе на кухне и крышку ковриком накрыли.

А в окна уже камни летят, и осколки стекла осыпают рояль в гостиной. У Оленьки слезы из глаз брызнули от такого надругательства над ее любимым инструментом. Екатерина Ивановна страшным голосом из разбитого окна кричит: «Городово-о-ой!» Но нет рядом городских, только доносятся с окраин длинные свистки. Много, видать, работы им выпало в эту ночь: не справляются. И дворника, как назло, тоже нет. Тревожно гудят паровозы на вокзале. Леночка плачет на кухне. Капа крестится и молитву бормочет. Где Надьку черт носит, никто не знает. Тут трезвый голос с улицы доносится и голос этот громкий, привычный команды отдавать:

— А-а-а-тста-а-вить! А ну, разойдись!

— Ваше благородие, ваше благородие, — залезили вразнобой пьяные голоса, — там у их социальисты с террористами ховаются.

В разбитое окно Екатерине Ивановне виден человек в военной форме, но она не может различить его звания, от волнения забыв нацепить болтающееся на шнурке пенсне.

— Господин офицер, убедитесь сами, в доме нет посторонних, — голос ее слегка дрожит.

— Па-а-звольте пройти.

Толпа раздвигается. Капа открывает и, пропустив офицера, тут же закрывает дверь на защелку.

— Разрешите представиться, сотник Купленов.

— Проходите, господин сотник, — Екатерина Ивановна проводит офицера в гостиную, — мой муж, есаул Безладнов Федор Афанасьевич, в действующей армии в Маньчжурии. Это моя старшая дочь Ольга.

Ольга, как положено хорошо воспитанной девушке, заканчивающей Мариинский институт, чинно приседает. Потом приводит с кухни Леночку. Перед сотником девочка с растрепанной каштановой косой через плечо, заплаканными голубыми глазами. Маленькие ножки с высоким подъемом в гамашах на пуговичках. Стригунок. Неожиданно сердце его сжимается от нежности.

— И откуда только эта пьяная гопота собралась в таком количестве под нашими окнами? — то ли негодует, то ли недоумевают Екатерина Ивановна.

— Всякая сволочь пользуется высочайше дарованными правами, сударыня. Вот вам и свобода объединений!

Купленову все понятно и надо бы уже идти разгонять гопников, но он медлит, не может оторвать взгляд от гимназистки, которая нет-нет, да и посмотрит на него с робким восхищением. Но пора и честь знать. Козырнув и щелкнув каблуками напоследок, он выходит за дверь дома.

— Семья есаула Безладнова, проливающего свою кровь на войне, укрывать социалистов не может. Настоятельно попра-ашу разойтись.

А гопоте уже и так неинтересно. За углом лавку овощную разносят. Айда туда, ребята!

Окоченевшего Симона Мееровича Капа отпаивала чаем с медом на кухне, когда домой, как вихрь ворвалась Надька. Вид разбитого окна и трясущегося то ли от холода, то ли от пережитого волнения Юдовича ее не удивил. Плюхнувшись на стул, она возбужденно затараторила:

— Сволота черносотенная разгулялась. Мне обидно, что казаки им потакают. Рабочих на улицах нагайками бьют, а этим все с рук сходит. Сколько стекол побили, да кровищи по мостовым размазали! А вам я так скажу, Симон Меерович, обороняться надо с оружием в руках, а не в подвалах отсиживаться.

От обиды у Капы в руках запрыгало блюдце:

— Тю-ю-ю! Да кабы Еременко в окошко не стукнул, да не предупредил бы барыню, уж не знаю, каку-таку оборону Симон Меерович держал бы. Насилу убегли от архангелов-то этих.

Но Надькины слова нашли отклик в сердце Юдовича. Блеснув глазами, он стукнул серебряным подстаканником о стол.

— Я часовщик, любящий играть на скрипке, Надежда Федоровна. Люблю музыку и всевозможные механизмы, а политику — нет!

— Часо-о-вщик! Это звучит гордо! — оставила в потолок указательный палец энергичная барышня, прочитавшая накануне пьесу Буревестника, и поскакала наверх, в спальню матушки, виниться и вымаливать прощение.

Екатерина Ивановна, почувствовав недомогание, легла сразу после ухода сотника. В спальне горит лампадка. Рядом с кроватью тумбочка, на которой письмо от мужа, перечитанное еще раз утром. Беспокойство сжимает ее сердце. К вечным тревогам добавляются новые. Я узнаю запах сердечных капель. Пузырек тут же, рядом с письмом. Вижу ее бледное лицо на подушке, знаю мысли, не дающие ей покоя: «Надежда, ясное дело, от рук отбилась, — догадки о том, что дочь имеет отношение к происходящему в городе, подтверждаются каждый день. — Так что с ней делать?»

— Маменька, маменька, — ворвавшаяся Надька кидается на колени возле кровати, целует руки и лицо Екатерине Ивановне, — как жалко, что меня не было здесь! Я бы этим сволочам показала!

— Да Господь с тобой, Надя, ну что бы ты им показала? Где это видано, чтобы девица вступала в перепалку с пьяными мужиками? На наше счастье сотник Купленов подвернулся, разогнал их, успокоил твоих сестер. А ты где-то голодная рыскаешь. У меня сердце болит.

— Так яж весь день у Гусника¹ в школе для рабочих. Они ж там по сменам, утром да вечером. Я ж грамоте хлопцев учу.

И глазами хлопает: святая невинность! Но почему измученное тревогами сердце не верит ни одному слову шальной девки? В спальню набиваются старшая доченька с младшенькой. С этими все понятно. Старшая — музыкантша. Талантливая. «Умру, а выведу в исполнительницы, — думает мать. — У младшей щеки до сих пор горят. Влюбилась. А как не влю-

¹ Чугунолитейный завод Гусника и Петрова.

биться, уж такой сотник бравый. Спаситель. А ведь и ему уходить не хотелось». Все видит Екатерина Ивановна, все понимает. Она и сама еще молода. Что это за годы: сорок с небольшим лет. Помнит себя девушкой на выданье. Помнит свадьбу. Тоскует по мужу. Как дороги ей эти минуты любви с дочерьми. Голубки. Нет, эта одна — галка крикливая.

— Ну что еще, Надя?

— Мамочка, я вот хочу в телефонистки наняться за 30 рублей в месяц. Ну чем плохо?

Да ничем не плохо. Все лучше, чем неизвестно где бегать. Может, так и за ум возьмется. Деньги тоже не лишнее дело. Не так их много у Безладновых. Екатерина Ивановна собирается сказать что-то одобрительное, но в дверь просовывается Капа:

— Куда гостя укладывать будем?

Юдовичу постелили на креслах в гостиной и прятали даже от дворника, пришедшего на следующее утро вставлять разбитое окно. На четвертый день Надежда повела его домой. Она высокая, прямая как палка, с непокорными волосами под шляпкой, сползающей на ухо. Он рядом, ниже ее плеча, заросший рыжей щетиной. Часовая мастерская уже разграблена. На полу, покрытом битым стеклом, растоптанная скрипка. Что сказать? Жив и то хорошо. Спасибо Безладновым. Из кармана широкой юбки Надья, как ни в чем не бывало, вынимает браунинг.

— Симон Меерович, вы, вроде, механизмы всякие любите. Не разберетесь, что с этим не так? Стал часто давать осечки.

Осколок времени на черно-белой фотографии: улица, забитая людьми с неразличимыми чертами, растянутые транспаранты с буквами, давно исчезнувшими из алфавита. Революция терзала Екатеринодар, как и другие города Российской империи. К толпам на улицах, забастовкам и перебоям на железных дорогах все уже как бы и привыкли, но к этому добавились тревожные сообщения о нападениях и грабежах с целью пополнения каких-то никому не известных партийных касс, а потом еще и еврейские погромы.

На другой фотографии усатый моложавый генерал в эполетях. Дмитрий Александрович Одинцов. Наказной атаман Кубанского казачьего войска. После войны с турками перекидывал его

государь император с одного места на другое. То Киев, то Баку, а теперь вот Екатеринодар. Вроде бы сонная дыра, да и тут что-то забурлило и прорвалось. Тяжелыми камнями сыпались новости на плечи атамана, но самой большой бедой для старого вояки было восстание в казармах Анапского пехотного полка. Он сам ездил к восставшим солдатам, уговорил не нарушать присягу и уберег полк от массовых расстрелов за неповиновение. Из Москвы вести приходили и вовсе отчаянные. Кроваво началось отречение от старого мира: вооруженное восстание, баррикады, уличные бои. До отречения государя еще двенадцать лет. Ход жизни моих героев продолжается.

Под Рождество вернулся есаул. Подняться на второй этаж у него уже не было сил, и в спальню его внес на руках верный денщик. Знахарка, приведенная нянюшкой, что-то пошептала над ним, да и перекрестила. Поубивалась Екатерина Ивановна, поплакали дочери, попел Еременко на поминках любимые песни есаула, отсоболезновали однополчане. Пользуясь печальным предлогом, зашел с коротким визитом Купленов. Три девочки и вдова в трауре поблагодарили его за предложение помощи и на этом расстались. Надкина служба телефонисткой оказалась кстати. С маленькой есаульской пенсией пришли в семью новые заботы, но почему-то Екатерине Ивановне казалось, что работа эта была выбрана неспроста. Дурные предчувствия не давали ей покоя и тревожили сердце.

К двадцати девяти годам Алексей Купленов о женщинах знал все. Или, по крайней мере, так думал. На дне рожденья друзья пили за его двадцать девок и желали ему еще столько же. Среди них он слыл ловеласом. Слава эта была несколько преувеличена. Затяжной роман с замужней женщиной, да регулярные посещения района с красными фонарями над воротами, вот и весь послужной список сотника, который, впрочем, был высок и хорош собой и при желании мог бы с легкостью этот список продолжить. Война с японцами его часть не затронула, зато по указу атамана Одинцова была брошена на поддержание порядка в Екатеринодаре и окрестностях. «Не это ли сама судьба?» — думал Купленов, вспоминая толпу у заветного дома, куда он устремился, не дождавшись казачьего разъезда. Пятнадцатилетняя

Леночка Безладнова стала предметом его навязчивого обожания. Боясь приблизиться, он кружил вокруг ее гимназии, выискивая в шумном табунке девушек знакомый легкий силуэт, не зная, что Леночка прекрасно различает его долговязую фигуру, маячившую в отдалении. В тот яркий зимний день в Екатеринодаре выпал первый снег — явление редкое и радостное в южном городе. Ловко брошенный снежок заставил Купленова оглянуться. Она. Во всей прелести юной красоты, уже знающей свою силу. Покрытая пушистым снежком шапочка и коса в жемчужинках капель. В руках без перчаток книжки, перевязанные ремешком. Милый залиvistый смех. Его оторопь: не спугнуть, удержать, не дать исчезнуть, растаять под пробившимся теплым солнцем.

— А не довелось ли вам когда-либо видеть апельсиновые сады? Нам сегодня географ показывал апельсиновое дерево на картинке. Честное слово, Купленов, я не видела ничего прекрасней.

Этого вопроса он не ожидал. Я представляю его смущение и легкую растерянность.

— Елена Федоровна, помилуйте, откуда у нас апельсиновые сады? Впрочем, мандариновые деревья на Кавказе видеть приходилось. Думаю, они весьма похожи. Позвольте проводить вас до дому! Время сами знаете сейчас какое!

Она позволяет, пытается приноровиться к его широкому шагу и продолжает заваливать неожиданными вопросами.

— Ну, а стихи, Купленов, вы любите?

Тут дело плохо. Правильно расценив его молчание, Леночка нараспев, и замедляя шаг, читает:

Бывают светлые мгновенья:
Земля так несравненно хороша!
И неземного восхищенья
Полна душа.

Светлое мгновение нарушено грохотом прокатившего мимо трамвая. Она замолкает и радостно смотрит снизу вверх на Купленова. «Женюсь, — думает тот, — если отдадут другому, застрелюсь!». Не разгадав его мысли, Леночка щебечет о концерте Собинова, на который ходила с маменькой и сестрами, а вот на «Трубадуре» она заснула, правда, тогда была еще совсем маленькой. Теперь бы с ней такого конфуза не случилось. «Ну, а театр вы

любите?» — допытывается любопытная барышня, дотрагиваясь до рукава шинели сотника. Шинель отсырела, от нее слегка пахнет конюшной, знакомым Леночке с детства запахом. Купленов немного оживает. Офицеры его полка любят оперетту за легкомыслие сюжетов и прелести исполнительниц. Леночку это скорее разочаровывает. Она воспитана на пьесах Чехова и Горького, обожаемых маменькой. Что делать? Озарение посещает Купленова уже на подходе к заветному дому.

— Елена Федоровна, а ведь я вспомнил, что видел в саду наказного атамана совершенно прекрасное дерево, привезенное недавно из Китая. Запомнил название, кажется, гинкго или что-то в этом роде. Если вам будет угодно, я покажу.

В его голосе Леночка правильно различает надежду на следующую встречу.

— Непременно, — кричит она, с легкостью перепрыгнув через покрытую ледком лужу и бросившись бежать к крыльцу под кованым козырьком, — только весной, когда покажутся листочки на этом вашем прекрасном дереве.

Дверь за ней захлопывается. Купленов остается в неизвестном ему дотоле блаженном очаровании.

— Жеребенок, ну чистый жеребенок!

Что еще может сказать казачий офицер о своей юной возлюбленной?

Представителю телефонной компании Эриксона девица Надежда Безладнова не понравилась. Вернее, не понравился ее высокий резкий голос, а если не понравился ему, значит, не понравится и абоненту. Разочарованной Надьке пришлось удалиться, но где-то через месяц она получила открытку с приглашением явиться в контору еще раз. Набрать нужное количество барышень для работы телефонной связи Екатеринодара оказалось делом сложным, и все из-за жестких требований. Девушки должны были дать клятву хранить в тайне услышанные разговоры, но самое главное — могли выходить замуж только за работников связи. Та легкость, с которой дочь казака, внесенного в дворянскую родословную книгу, согласилась на последнее условие, осталась без внимания у иностранных нанимателей, ничего не знающих о казачьих традициях. Дома она ни словом не обмолви-

лась о закрепленных контрактом условиях. Работа оказалась не такой уж легкой. Непоседливой девице пришлось сидеть по десять часов в день на жестком стуле, да еще и с тяжелым железным микрофоном на груди и в наушниках. «Як Прометей прикованный». Со смехом она показывала сестрам, как пригодились ей, — «а вы всегда меня дразнили!» — длинные руки дотягиваться до самых высоких ячеек коммутатора. «Боженьки, это что ж за зверь такой?» — испугалась нянюшка, услышав незнакомое слово. «Ну как пиано Оленькино, что раньше в гостиной стояло, только без клавиш. Там всё провода и ячейки, куда провода эти надо втыкать».

— Ты еще больше нянюшку напугаешь, — улыбнулась Екатерина Ивановна.

Она знала, что Надежда — девушка смышленная и быстро научится соединять провода, но разве могла ее дочь подслушивать чужие разговоры?.. Ей такое и в голову не приходило. Городские телефоны были в домах людей состоятельных: промышленников, купцов, банкиров, еще в жандармском управлении, у наказного атамана, в Городской думе. Довольно скоро абоненты стали узнавать вежливый, но резкий голос деловой барышни, соединяющей быстро и безошибочно нужный номер. Отработав смену, Надежда возвращалась домой и от усталости сразу же валилась спать. А в городе, между тем, поднялась волна небывалого террора. То на глухой улице обнаружат труп жандармского офицера, то неизвестные нападут на полицейского и пробьют ему голову, то застрелят двух крупных государевых чиновников и помощника полицмейстера города в придачу. Особенно обнаглели грабители. Одному купцу пришлось заплатить за свою жизнь тысячу рублей. Другой — получил письмо с приказом всегда иметь при себе две тысячи рублей, чтобы без промедления передать деньги при первом же требовании, а к известному чиновнику Городской думы грабители явились прямо в кабинет и увезли его домой, где тот отдал им все имеющиеся у него в наличии деньги. Ограбления винных лавок, городских трамваев и поездов перестали быть новостями в газетах. Что городской обыватель мог требовать от полиции, если ограбили саму полицию! Пришлось наказному атаману генералу Одинцову вводить чрезвычайное положение, но до порядка в Екатеринодаре было еще далеко.

В марте в город нагрянула весна. Залетевшие с моря влажные тучи столкнулись в небе со степным ветром и пролились на землю затяжными дождями. Забурлили бурые волны Кубани, залили низкие берега. Но уже через неделю выглянуло нежное солнце, покрылась зеленью благодарная земля, зацвели деревья, защebetали птицы, воздух наполнился весенним ароматом. Листики невиданного узора выросли на дереве гинкго у наказного атамана в саду. На могиле есаула Безладнова повылазили из земли синие ирисы, посаженные нянюшкой. В такие дни ей не хотелось думать о смерти. И смерть сжалась над ней, задержавшись до осени.

В четыре часа пополудни генерал Одинцов выезжал в маленьком авто с откидным верхом из ворот дворца наказного атамана. На выезде шофер притормозил авто, уступая проезд дерзкому извозчику и преграждая путь следовавшему сопровождению. Сидящая в извозчичьей коляске женщина пыталась выстрелить из пистолета в атамана. Покушение не удалось. Пистолет дал осечку. Но провалилось и преследование террористов, умчавшихся с места преступления. В своих показаниях шофер Одинцова указал на рыжину бороды извозчика. Лица женщины никто не разглядел. О времени выезда наказного атамана его адъютант сообщил главе Городской управы по телефону. Жандармское управление Екатеринодара принялось расследовать дело о покушении на генерала Одинцова именно с этого звонка. Все телефонные барышни были опрошены. Одна из них, Надежда Безладнова, на работу не явилась. Исчезла она и из дома, оставив торопливую прощальную записку. Узнав, в чем подозревается ее дочь, Екатерина Ивановна слегла. Через пару недель на рынке какой-то неизвестный человек шепнул Капе, что Надежда бежала в Грузию и оттуда перебралась в Турцию. Доходили слухи, что кто-то видел ее в далекой Финляндии. Вместе с ней исчез часовщик Юдович. А уже перед самой смертью нянюшки сестры получили открытку из Парижа с пожеланиями здоровья и благополучия. Жива, и то — слава Богу.

Определилась своя жизнь и у горничной Капы. Вместе с хуторянами увольнялся на льготу урядник Еременко. С песнями прошли казаки по главной Красной улице города.

На горе стоял казак — он Богу молился.
За свободу, за народ низко поклонился, —

взвивался к небу дишкант запевалы.

Ой-ся, ты ой-ся, ты меня не бойся.
Я тебя не трону — ты не беспокойся.
Ой-ся, ты ой-ся, ты меня не бойся.
Я тебя не трону — ты не беспокойся, —

подхватывал хор луженых глоток.

Гордо ступали ухоженные кони, позвякивая трензельным железом. Вытирали глаза провожающие бабоньки: женихи уходили из города. Правда, взамен ожидали новых, но так уж устроены женские проводы — без слез не обходятся. Капа не беспокоилась, к осени она ждала сватов.

Глава 2

Пролежав неделю после сердечного приступа, Екатерина Ивановна поднялась в прощенное воскресенье. Тихо обошла свой дом, заглянула в опустевшую Надькину комнату, поглядела в окно гостиной — то самое, которое разбили погромщики, гонясь за Юдовичем. Как давно это было. Улица показалась ей светлой и радостной. «Да что это я? Жить надо. Жить!» — нашлась спасительная мысль. И жизнь продолжила неторопливый ход в доме на Екатерининской улице. Забежав попрощаться на ночь, младшенькая все так же шепталась со старшей. Странно им было оставаться вдвоем без горластой и смешливой сестры, нарушившей своим исчезновением какое-то важное триединство их душ. На кухне тоже шло обсуждение последних событий.

— Это надо ж, чего девка наша надумала-то, генерала убить! — сокрушается старая. — Чем он ей плох-то был?

— Тык она эсерка, нянюшка, — щеголяет знанием непонятного слова Капа, — а эсерам энтим все равно в кого палить, хочут в генералов, хочут в самого царя.

— Боженьки, вот горечко-то! Отец родной в могиле переворачивается, — тут обе торопливо крестятся, — покоя нет его душеньке. Казаки спокон веков царю служат. Сколько голов за ве-

ру-то православную положили! Мой казак уж какой лихой был, да с турецкой не вернулся. И где ж это видано, шоб казацкая дочка убегла с явреем? Как матери жить посля этого? Девочку замуж выдать? — глаза нянюшки наполняются слезами. Отложив спицы с вечным недовязанным носком и пригорюнясь, жалеет она любимую Катеньку, которой выпало похоронить мужа и потерять непутевую дочь.

— Ничего, — успокаивает ее Капа, — девки наши-красавицы. Найдутся им женихи. Может, уже кто под окнами ходит, сапоги топчет. Господин офицер какой не заваливший.

Капа и сама переживает. Больше всего ей жалко, что отменилась воскресная музыка с гостями, когда, принарядившись в крахмальные юбки и с белой наколкой на голове, выходила она в гостиную со словами: «Пожалуйста рассаживаться!» — и, проходя мимо хозяйского трюмо, успевала полюбоваться своим отражением. Где-то в глубине души она уже знает, что это только начало: пришла беда, открывай ворота.

Пелеринка и холщовый фартук скрывали ладную фигурку Оленьки с тонкой талией. Роскошные пепельные волосы она стягивала тугим узлом на затылке. По требованию классной дамы ходила, держа спину прямо и поворачиваясь всем телом. Воспитанницы Мариинского женского института внешне ничем не должны были отличаться друг от друга. И все же на фотографии выпускного класса я сразу распознала ее овальное лицо с высокими скулами. Оно было красиво. Это была красота подлинная, не нуждающаяся в ухищрениях, на которые пускаются женщины для усиления своей привлекательности. И в то же время красота эта была холодной. Лицо Оленьки хранило беспристрастное выражение и преображалось только тогда, когда она садилась за фортепьяно. Перед Пасхой Мариинку посетили дамы-благотворительницы, в честь которых институтки устроили концерт. Исполнение этюда Шопена Ольгой Безладновой понравилось одной из них — страстной любительнице музыки Софье Иосифовне Бабыч. Оленьку представили полненькой даме в шляпке с перьями. Отвечая на вопросы важной гостьи, она вдруг оживилась так, что стоящая рядом наставница не могла ее узнать. Софья Иосифовна в свою очередь была покорена простотой и умом девицы. Распровавшись с институткой, она тут же распро-

сила о ней начальницу, и где-то через месяц Капа принесла Екатерине Ивановне письмо: после окончания Мариинки Ольеньку принимали в музыкальные классы без оплаты. Вот радость-то! В начале лета старшая дочь покойного Федора Афанасьевича Безладнова окончила институт с отличием. И тут оказалось, что холостые офицеры бывшего папенькиного полка только и ждали этого счастливого момента, чтобы засыпать ее предложениями руки и сердца. Не в привычке Екатерины Ивановны было неволить дочь, но упорство, с которым та отказывалась от выгодных партий, ее удивляло.

— Душенька моя, тебе что ж, никто не люб? — с нежной тревогой спросила она после очередного отказа.

— Никто.

Оленька опустила глаза.

— Хочу учиться дальше, а замужество будет только помехой.

Что ж, в этих словах была доля правды. Она пойдет-таки учиться в музыкальные классы, а когда их преобразуют в музыкальное училище, закончит и его с отличием. У нее всегда было так, за что бы ни бралась — на зависть непутевой Надьке, у которой в решающий момент вечно происходила осечка. Леночка же просто жила, как птичка божья, «без заботы и труда».

Ателье фотографа Константина Пипопуло пользовалось большой известностью в городе. Располагалось оно в центре на Красной улице, как раз напротив Войскового Собрания. По воскресеньям гуляющие дамы и господа останавливались перед витриной, разглядывая выставленные фотографии под развесистыми крылами ангела в виде девушки соблазнительных форм в полупрозрачной драпировке. Девушка-ангел опиралась на громоздкий ящик-фотоаппарат с чуть растянутыми мехами и вытянутым объективом. «Цены прилагаются, негативы сохраняются», — гласила надпись под ее ногами.

На Троицын день, получив увольнительную, Алексей Купленов отстоял обедню в Войсковом соборе, причастился и направился с друзьями по солнечным улицам к центру города. Господа офицеры расшаркивались со знакомыми дамами, отдавали честь высшим по званию, козырнув, отвечали строгим взглядом на приветствия низших. Вокруг было спокойно, на религиозные

праздники демонстрации не проводились. Позвякивание трамваев, крики извозчиков, перезвон колоколов городских соборов, гудки паровозов с железнодорожного вокзала сливались в воскресную какофонию, наполняя радостью душу сотника. Какой-то тип в жилетке и нарукавниках обновлял витрину фотоателье Пипопуло. «Господа не желают сфотографироваться на память о таком блаженном деньке?» — осклабился тип, завидев офицеров. Почему бы и нет? В просторной комнате с нарисованными пальмами на стенах и прочими необходимыми по тем временам атрибутами фотографического ландшафта, месть Пипопуло долго не находил места Купленову, то сажая его в центре группового портрета, то ставя за спинами товарищей. Наконец, те, кто повыше, были посажены, за ними поставлены, с соблюдением положенного интервала, те, кто пониже. Лица приняли холодное выражение и замерли в ожидании вспышки. Начищенные сапоги, надраенные пуговицы, четкие проборы на головах. Никакой обреченности в глазах. Сосредоточенная готовность. К чему? Да к чему бы то ни было. Это «что бы то ни было» еще не настало.

Подведем стрелки, подтянем висячие гирьки-шишечки, качнем маятник часов, отмеряющих время жизни моих героев, не дадим ему остановиться, продлим этот солнечный летний день, свернем с главной улицы, мощенной бульжником, перейдем по мосткам сточную канаву и в Городском саду послушаем духовой оркестр, заглушающий пение петухов в соседних дворах и протяжные крики павлинов, разгуливающих по садовым дорожкам. А Летний театр? Вот его воздушное здание с резными лесенками. Репертуар? Разве вы хотите знать? В любом случае в антракте можно выйти подышать свежим воздухом, а после спектакля зайти в кафе «Чашка чая», где дамы из высшего общества предложат вам пирожные на маленьких тарелочках и всевозможные прохладительные напитки в хрустальных стаканчиках. Моду на благотворительность в Екатеринодаре ввела та самая Софья Иосифовна Бабыч, которой так понравилась Оленька Безладнова. Она и сама здесь: легкий ветерок играет перышками на ее модной шляпке, выписанной прямо из Парижа и купленной у знаменитых братьев Богарсуковых. Софья Иосифовна нраву веселого. Заливисто хохочет она над шутками офицеров,

пришедших в «Чашку» полюбоваться на прекрасных дам и пожертвовать остатки своего жалованья на строительство госпиталя для инвалидов. А ведь могли и в карты проиграть, или ещё того хуже, просто пропить.

После метко запущенного снежка и короткой прогулки Купленову не довелось повидаться с Леночкой. Так и весна прошла, скоро ехать на полковые учения в пыльную степь, а ее нет нигде. Гимназия закрыта до осени... Где еще подкарауливают молодых девиц? В последней надежде забрел он с друзьями в «Чашку чая», а там Екатерина Ивановна раскладывает пирожки на подносы. Узнала его и приветливо улынулась:

— Проходите, господа! Располагайтесь! У нас прекрасный турецкий кофе.

Вот уже все съедено и выпито, рассказаны последние анекдоты и оценены достоинства всех присутствующих барышень. Друзьям не терпится в офицерский клуб покатать шары по зеленому сукну. «Наверное, у сотника свои резоны оставаться», — гогочут они напоследок. Теперь Купленов один за столом. Выкурил папироску, глотнул минеральной воды. Екатерина Ивановна подходит, заводит светский разговор. Тот слушает отстраненно и вдруг решается:

— Екатерина Ивановна, дорогая, я хочу просить руки вашей дочери.

Екатерина Ивановна медлит с ответом, близоруко всматриваясь в его лицо, умоляющие глаза. О какой дочери идет речь, понятно и так. Конечно же, она помнит первое появление сотника в их доме, помнит, как он не мог оторвать восхищенного взгляда от Леночки, как не хотелось ему уходить. Человек он, кажется, благородный, но все же малознакомый. Надежный ли? Можно ли ему доверять? Да и Елена почти бесприданница. Выгодная ли эта партия?

— Помилуйте, Алексей Николаевич, она же совсем ребенок. Дайте ей хотя бы гимназию закончить. Да и любит ли она вас? У меня старшая на выданье — так всем женихам отказала. А что эта скажет? Обождите хотя бы годик-другой.

Екатерина Ивановна говорит еще что-то мягким успокаивающим голосом, мол, ни в чем вам не отказываю, но и вы меня

поймите. У Купленова на лбу испарина. Одна мысль в голове крутится, как пуля в пустом барабане револьвера «Отдаст другому — застрелюсь. Застрелюсь. Застрелюсь!»

— Так что давайте, голубчик, отложим наш разговор, — доходят до него, наконец, последние слова.

И хоть это лучше, чем отказ, маячившая неопределенность нависает над ним тяжелым облаком.

— Готов ждать, — говорит он, поднимаясь и целуя руку Екатерине Ивановне.

Готов ли? Жжет, разъедает его нетерпение. Как справиться с нахлынувшими чувствами? Да помчаться на извозчике в «Яр» к цыганам, в укромный ресторан у речного обрыва. Пропить там все, что есть за душой, заглушить в водке, охватившее беспокойство и нетерпение... После недельного запоя сотник Купленов был отправлен начальством в лагерь на полковые учения. И никаких апельсиновых садов: только ковыль, да перекасти-поле.

Подул-подул горячий ветер из степи, закружили в пыли обожженные беспощадным солнцем листья деревьев, вылетели пожелтевшие фотографии из альбома моей памяти, растерялись прожитые семейством Безладновых годы. Что там у них дальше было? Взрослели девочки, старела маменька, умерла нянюшка. В станице Марьянской справили свадьбу Капы и Еременко. Где Надьку носит, никто так и не знает. Ветшает дом на Екатерининской улице без заботливой мужской руки, хорошо еще верная Капа прислала себе на замену младшую сестру Дуську, не шибко грамотную, но проворную. Она и на кухне, и на базаре, и по хозяйству. Песни поет, полы моет, цветы поливает — с ней веселее. Наказной атаман генерал Одинцов высочайшим указом переведен в Омск то ли по недовольству, то ли из боязни повторения покушения, то ли по двум причинам сразу. В обществе приятное волнение: новым атаманом назначен свой человек, кубанский казак Михаил Павлович Бабыч, супруг благодетельницы Софьи Иосифовны. Уж он-то «Мстителей» с «Воронами» и всю прочую нечисть из города выметет. И точно — хватка у Бабыча оказалась медвежьей: ввел комендантский час, набрал филеров в сыскную полицию. И никаких демонстраций! Дело быстро пошло на лад. Столицы к тому времени утихли. Через два года снова стало тихо в Екатеринодаре. Грабежи прекратились. Горожане перекрести-

лись. «Мстители» с «Воронами» переметнулись в другие края. Ожил, расцвел город — просто маленький Париж, пусть не на Сене, так на Кубани — и все стараниями благодетелей: отца родного Михаила Павловича и супружницы его Софьи Иосифовны.

— Нет, душенька, как знаешь, но выезжать надо. Нечего в девках засиживаться. У тебя сестра есть младшая. Ты о ней подумала? Алексей Николаевич настроен решительно, но я ему сказала, что Елену вперед тебя замуж не отдам. И Федор Афанасьевич мое решение одобрил.

Вот этого Оленька боится больше всего. Маменька все чаще поминает покойника, как живого. Иногда девочкам слышен за стенкой ее громкий голос. Это Екатерина Ивановна беседует в спальне с умершим мужем. Что он ей говорит, знает только она. Оленька пристально рассматривает маменьку, держащую в руках приглашение на бал в Воинское собрание. Не то, чтобы она постарела, но как-то осунулась, похудела. Круги легли под глазами, сила словно ушла из короткопалых красноватых рук. Сердце Оленьки сжимается от любви. Не может она больше перечесть.

— Но как же, маменька, мне ведь и одеть на бал нечего. Одно концертное платье, так я давеча как раз в нем выступала.

И то правда. Безладновы беднеют. Вот и спешит Екатерина Ивановна выдать дочек замуж, найти им выгодные партии. Благодетельнице Софье Иосифовне эти проблемы знакомы. Она сама из небогатой семьи, долго сидела в девках. Замуж вышла за уже солидного Бабыча, если не по любви, то по взаимному уважению. Поэтому, когда на концерте в честь тезоименитства ненаглядной царицы Александры Федоровны выступление Ольги Безладновой произвело заметное впечатление на гостя из столицы полковника Терновского, Софья Иосифовна тут же отписала Оленьке приглашение на бал в Воинское собрание. Бог даст, познакомятся, приглянутся друг другу. Отписать-то отписала, но про платье не подумала, отвлеклась, должно быть, на дела поважнее. Пришлось задуматься Екатерине Ивановне: уж не взять ли в долг денег в банке, только ведь можно не успеть управиться со всеми делами к обозначенной дате. Что же делать? Научи, отец родной! И тут случилось нечто неожиданное: крутящаяся в гостиной Дуська, бросила тряпку, которой вытирала пыль с роаяля.

— Так я ж враз пошито платье барышне могу.

— Ты???

— А то хто ж? Я ж весь хутор на машинке зинхеровской обшивала, тильки Капка машинку ту себе захавала. Тебе, ховорить, некогда там будэ.

Обе Безладновы в недоумении выставились на Дуську. Неожиданно для них в доме оказалась портниха.

— А костюм мой нарядный бачили? Я его по воскресеньям надыгаю.

— А ну кажь, — заинтересовалась Екатерина Николаевна.

Дуська вмиг принесла прилично пошитые блузку со стойкой и длинную юбку с раструбами.

— Евд-о-о-кия, да ты у нас мастерица-рукодельница. Погляди, Оленька, швы-то как отделаны.

— А то, — растянула в улыбке пухлые губы Дуська, — я такое платье барышне пошю, все от зависти поляхуть.

— Ой, у нас курс в Мариинке был по кройке и шитью, но я такая неспособная оказалась.

«Так тож не на роялях бренькать», — подумала новоявленная портниха, но промолчала. Ума хватило.

Из кладовки под лестницей выкатили старую нянюшкину швейную машину с ножным приводом, на которой она еще шила распашонки для девочек, смазали ее и привели в божеский вид. Журналы мод позаимствовали у почтмейстерши, живущей в соседнем доме. Она же одолжила «Руководство по кройке одежды для дам». Бледно-розового маркизета купили у братьев Богарсуковых, там же приобрели пару бальных туфелек, шелк на чехол для юбки выпороли из маменькиного свадебного платья. Деловая Дуська обмерила сантиметром худенькое тело барышни, накромсала из старых газет какие-то замысловатые выкройки, что-то прикладывала и накалывала, строчила и подпарывала. Оленька в новом платье выглядела как свежий бутончик с тонкими обнаженными руками и нежной шейкой, чуть заметная кривоватость лифа была спасена широким поясом, подчеркивающим утонченность хрупкого силуэта, крайне редко встречающегося у кубанских крепышек. Короче, управились враз. Софья Иосифовна заехала на авто за Оленькой и отвезла ее на бал.

Сергей Константинович Терновский явился из Петербурга в Екатеринодар с важной миссией пополнения Собственного Его Императорского Величества конвоя новыми рекрутами из кубанских казаков. Дело это было сложное, начиналось на хуторах, где деды и старшины сами выбирали лучших казаков, прошедших строевое обучение. С хуторов молодцы стекались в станицы, на отбор к местным атаманам. Дальше списки удалых красавцев отправлялись на утверждение в Екатеринодар в Войсковой штаб, а уж там Терновскому предстояло встретиться с каждым претендентом и проэкзаменовать его лично. На все это ему отвели два месяца. Полковник бывал на Кубани, казаков любил за свободолюбивый дух и верную службу царю и отечеству. Семейство Бабьчей встретило его великодушно. Особую сердечность проявила Софья Иосифовна, узнав, что Терновский вдовый (его жена умерла от чахотки лет пять назад), она заявила ему со всей отеческой прямоотой: «А мы вас здесь непременно женим». «Буду премного благодарен», — скромно склонил голову Сергей Константинович. Список невест в Екатеринодаре был, пожалуй, подлиннее списка новобранцев в Его Императорского Величества Конвой. Хороши были барышни, что и говорить, но Ольга Безладнова покорила сердце Терновского, как только села за рояль. Такой утонченной одухотворенной красоты он не встречал даже в лучших салонах Петербурга. Но снизойдет ли она до пожилого, старше ее на двадцать пять лет, вдовца? Это предстояло выяснить за оставшееся от двух месяцев время.

Обитатели дома на Екатерининской с нетерпением ждали возвращения своей Золушки. Окна гостиной еще были освещены, когда пролетка подкатила к двери с кованым козырьком. Какой-то господин солидной наружности предложил руку легко прыгнувшей Оленьке и расшаркался с ней на прощание.

— Ну как там было? — накинулась с объятиями Леночка.

— Тише-тише, помнешь ей платье, — Екатерина Ивановна пыталась прочесть мысли на усталом лице дочери.

— Все было прекрасно, честное слово. Расскажу завтра.

Торопливо расцеловавшись с разочарованными родственниками, Оленька отправилась спать. Уснуть она, конечно, не могла. Из головы не шел представленный ей Сергей Константи-

нович. Он оказался большим знатоком и ценителем музыки, восхищался ее игрой на фортепьяно, а главное, своими суждениями и взглядами был ей понятен и близок. К утру все как бы решилось само собой.

— Если господин Терновский попросит моей руки, — сказала она маменьке за кофею, — я согласна.

Сватовство проходило при активном участии Софьи Иосифовны. Навестив вдову, она спокойно и деловито обрисовала достоинства Сергея Константиновича: имение в Воронежской губернии, дом в Царском Селе, квартира в Петербурге. К тому же безукоризненный послужной список.

Екатерина Ивановна не могла поверить счастью дочери и с нетерпением ждала появления самого Терновского. Когда же его плотная фигура показалась в дверях гостиной, ей понадобились силы, чтобы справиться с разочарованием: не высок ростом, широкий книзу, с легкой одышкой и кругленьким животиком под обтягивающим мундиром. Не такого мужа хотела она своей любимой дочери. «Красавцам отказала, а этого выбрала. И чем же он ее пленил?» — успела подумать Екатерина Ивановна, пока Терновский склонялся над ее рукой в почтительном поцелуе, выставив на обозрение круглую лысину. Но вот полковник заговорил. На Кубани так не говорили. В его речи не были слышны привычные Екатерине Ивановне протяжные мягкие гласные и глухое «г». Легкое грассирование в свободно летящих предложениях, вызвало у нее панику. В последний раз она говорила по-французски, сдавая экзамен в гимназии. Деликатный Сергей Константинович совсем не намеревался демонстрировать какое-либо превосходство над провинциальной дамой — наоборот, как можно почтительней открыл ей свои намерения. Та, в свою очередь, просто и без жеманства поведала историю семьи, показала фотографии покойного есаула на стене в гостиной, предусмотрительно промолчав о разыскиваемой полицией Надежде Безладновой. Когда польщенный жених получил родительское согласие, ему разрешили переговорить с ожидавшей в каком-то странном оцепенении Ольгой. Дело закончилось благословением нянюшкиной иконой и распитием домашнего кубанского шипучего вина.

Со свадьбой не откладывали. Через месяц Терновскому предстояло сопровождать молодых конвойцев в Петербург. Ольге словно бы тоже туда не терпелось. Екатерину Ивановну это немного задевало, а вернее, причиняло боль, которую она старательно пыталась заглушить мыслями об удачном браке старшей дочери. Кто ж не знает, как быстро разлетаются повзрослевшие дети. В бессонные ночи она подолгу простаивала на коленях перед образами, молясь о своих девочках, не забывая просить прощения за Надьку, по которой все больше и больше тосковала, а перед свадьбой поехала на Всесвятское кладбище. Постояла перед могилой есаула, погрузила и не сразу заметила прилепившуюся к подножию креста паутинку, переливающуюся на солнце. И снова давнее благодатное чувство наполнило ее сознание — жить, надо жить. Как странно, что оно вернулось к ней на кладбище, где еще несколько минут до этого все ее существо было поглощено мыслями о смерти.

Ольга и Сергей венчались в Войсковом соборе, оттуда поехали на квартиру, снятую Терновским, и отпраздновали свадьбу в узком кругу. Увидев скромный гардероб молодой жены, Сергей Константинович тут же дал денег на покупку всего необходимого в дорогу. Утром, глядя, как Ольга перед зеркалом закалывает волосы на затылке, он не мог поверить своему счастью.

Пожалуй, больше всех женитьбе Терновского радовался сотник Купленов. Младшая Безладнова успела окончить гимназию и уже год как бегала по урокам, обучая купеческих детей французскому языку. Одно время возле нее маячил сын соседа почтмейстера, но заметив пристальное внимание сотника к своей скромной персоне, быстро испарился. Наблюдение, установленное по правилам военной разведки, других серьезных соперников не обнаружило. От строгой маменьки Алексей получил разрешение на воскресные визиты, мог приглашать Леночку на спектакли и в синема. Свадьбу хотели справить осенью.

В доме на Екатерининской стало тихо. Рояль по-прежнему стоял в гостиной, хотя играть на нем было некому. Иногда забегавшая Ольга отрешенно скользила взглядом по его гладкой поверхности. Терновский обещал ей купить Бехштейн и обеспечить дальнейшее занятие музыкой. В мыслях она была уже далеко от Екатеринодара и родного дома. Это приятно ее тревожило и волновало. Непонятным волнением была охвачена и Леночка.

— Вы там, поди, уже целуетесь, — строго спросила Екатерина Ивановна, заскочившую пожелать ей спокойной ночи младшенькую.

— Что вы, маменька! — покраснела та, — но Алексей Николаевич так иногда смотрит на меня, что мне становится жарко.

— О, Господи! Дотянули бы до свадьбы! — перекрестилась маменька.

Волнение дочерей передавалось и ей, пробуждало воспоминания о поре своей влюбленности, о свадьбе с Федором Афанасьевичем, о счастливых годах под крышей такого тихого сейчас дома. Не унывала одна Дуська. На заднем дворе она завела порося, пару кур с петухом, стайку гусей. Откуда ни возмись, появились у нее и заказчицы. Стукнув в окошко, они быстро шныряли на черную лестницу, где их поджидала портниха, скрывавшая от барыни дополнительный промысел.

В конце мая настал день отправки конвойцев. На вокзале атаман Бабыч сказал напутственную речь, дамы захлопали, заиграл оркестр, заглушая ржание лошадей. Началась погрузка по вагонам. Сергей Константинович вырвался на минутку проститься с родственниками жены. Ольга в новой шляпке с пармскими фиалками под цвет ее глаз и вуалькой на лице казалась отчужденной и равнодушной ко всему происходящему. Такая безучастность больно ранила Екатерину Ивановну. Она сдержала слезы, перекрестила и поцеловала старшую дочь три раза, потом облобызалась с Терновским. Дождавшаяся своей очереди, Леночка кинулась на сестру с объятиями и поцелуями. «Тише-тише, глупенькая. Ну, конечно, я буду писать», — слегка отстранилась та. Ей хотелось как можно скорее завершить этот тягостный обряд прощания, но погрузка казаков все тянулась и тянулась. Наконец, к Терновскому стали подходить урядники и докладывать о ее завершении. Ольга поднялась в вагон. На перроне остались одни провожающие. Прошло еще несколько томительных минут. Но вот начальник состава махнул фуражкой, засвистели свистки, раздался протяжный гудок паровоза, что-то лязгнуло, медленно тронулось, закрутилось быстрее и быстрее. Перед Ольгой проплыли лица родных, редеющая толпа провожающих, пакгаузы вперемешку с вокзальными строениями, какие-то сараи. Потом показались купола городских церквей. Ей вдруг захотелось уви-

деть родной дом на Екатерининской, но было уже поздно. За окном вагона замелькали городские окраины, переходящие в степные просторы. Поезд двигался с частыми остановками. Конвойцы выводили лошадей на прогулку несколько раз в день, на одной из станций в прицепленный вагон загрузились еще и терские казаки. Ольга с книжкой сидела в купе, куда время от времени забегал Сергей Константинович и, с улыбкой под ухоженными усами, заботливо спрашивал: «Тебе не скучно?» Ольга качала головой: «Нет-нет, мне хорошо. Не беспокойся!». Как-то вечером она попросила проводника открыть дверь в соседний вагон, откуда доносилась протяжная казачья песня. «Как это славно, что я остаюсь к ним привязана! Должно быть, уже навсегда», — то ли эта мысль, то ли песня растрогали ее, а может, и то, и другое вместе, и она вдруг заплакала, не скрывая слез от напуганного этим приливом чувств мужа. «Скоро уже приедем, душа моя. У тебя начнется новая жизнь. Все беды останутся позади», — не понял он ее настроения.

Дом Терновского стоял на Магазиной улице. Отсюда было недалеко до Александровского дворца, резиденции монаршей семьи, и парков, покоровших своей красотой Ольгу. Полковник был занят подготовкой церемонии прощания отслуживших конвойцев, а она бродила в одиночестве по бесчисленным ухоженным дорожкам, дивясь совершенству пропорций мраморных статуй. Устройство своего нового дома ее не занимало, благо от присутствия умершей жены Терновского осталась только фотография на бюро в его кабинете. Довольно скоро из Петербурга доставили Бехштейн, на освоение которого уходила большая часть долгого летнего дня. Между тем, светская жизнь бурлила в Царском Селе. Близость двора волновала и притягивала Оленьку, приехавшую из далекой провинции. Видимо, Сергей Константинович догадался о состоянии молодой жены и познакомил ее с полковником Александром Александровичем фон Дрентельном, адъютантом Николая II и прекрасным пианистом. Так у нее появился партнер для игры в четыре руки и частый гость в доме. Все трое любили тихие вечера в гостиной на Магазиной. Ольга, пытаясь угодить мужу, исполняла что-либо специально для него. Довольный Сергей Константинович закуривал сигару и, поглядывая на жену, пускался в рассуждения об искусстве. К разговору

подключался Александр Александрович. За окном почти не темнело. Белые ночи томили и тревожили, выросшую на юге Ольгу. Иногда она отвлекалась от общего разговора и задумывалась о чем-то своем. Красота ее опущенной головы, изгиб шеи продолжали волновать Терновского. Он был так счастлив, что не замечал некоторую холодность и отстраненность жены. Адъютант фон Дрентельн просто отдыхал с приятными ему людьми.

Наконец настало время торжественного парада Собственно Его Императорского Величества Конвоя. День был жаркий. Приглашенные разместились на трибунах позади Екатерининского дворца. Нашлось тут место и для Ольги Федоровны с ее новым шелковым зонтиком и праздничным настроением. Ей не терпелось увидеть царя. Вот, наконец, он появился в красном казачьем мундире с серебряными галунами, ему подвели коня, и верхом он начал объезд рядов отслуживших конвойцев. С трибуны нельзя было различить черты лица Николая, с детства знакомых Ольге по портретам — зато был слышен голос:

— Спасибо, братцы, за вашу службу!

— Рады стараться, ваше императорское величество! — неслось восторженным вихрем в ответ.

Потом царь подъехал к выстроеным в сотни новобранцам:

— Дорогие кубанцы, надеюсь и вы послужите мне... — ветер унес слова государя, и приглашенная публика не слышала, что он еще говорил будущему конвою, но «Рады стараться, ваше императорское величество!» все так же пронеслось в ответ.

Когда объезд и приветствия закончились, казаки прошли конным строем мимо трибун. Кони как на подбор: надраенные крупы, заплетенные в косы челки, расчесанные хвосты. «Как жалко, что мой папенька не видит этих красавцев! У него был дивный гнедой кабардинец», — обратилась Оленька к сидящей рядом даме. Завязался разговор, слегка заглушаемый оркестром. Приходилось склоняться над ухом соседки и вдыхать запах ее духов. Она сказала, что духи французские, подарок мужа. «Вот славно!» — почему-то подумалось Ольге. В воздухе висело ожидание чего-то радостного. Тем временем на плацу освободили место посередине, натыкали шесты с какими-то чучелами и радостное началось: сначала донёлся топот копыт откуда-то справа. Это разгонялись всадники с пиками наперевес, потом — накол и жа-

лобный скрип пронзенных чучел. Страшно. Опять топот. Следующие несутся слева. Клич «Шашки наголо!» Ещё страшней: короткий взмах, высверк на солнце, ошмётки чучел в разные стороны. Пыль столбом. А справа опять несутся всадники, вот уже пошла джигитовка, и Ольге не справиться с охватившим ее восторгом. «Давайте, братцы, давайте!» — кричит она во весь голос. И братцы дают один за другим на полном скаку: толчок, вертушка, стойка, соскок. Ещё соскок, теперь через круп. Дама с удивлением улыбается: «Вы так хорошо знаете премудрости джигитовки. Наверное, сами прекрасная наездница». «Моя сестра могла делать стойку на полном скаку», — возбужденно начала было Ольга, но вовремя осеклась. Тема Надежды Безладновой, скрывающейся за границей, оставалась табу в ее семье. Представление заканчивалось. Пыль, поднятая копытами лошадей, оседала. «Императрица с княжнами... Императрица! Смотрите!» — пролетел шепоток по трибуне и отвлек внимание дамы от разговора с соседкой. На Александре Федоровне было белое платье и скрывающая лицо широкополая шляпа. Должно быть, где-то рядом находились великие княжны с наследником, но разглядеть их в толпе придворных Ольге не удалось. Вскоре подошел Сергей Константинович. Тут же выяснилось, что он знаком с дамой, сидящей рядом с Оленькой.

— Ольга Владимировна, — расшаркался полковник Терновский, — позвольте представить вам мою жену, вашу тезку Ольгу Федоровну.

Супругом дамы оказался лейб-медик Николая II, Евгений Сергеевич Боткин. Мне кажется, с этого знакомства началось лучшее время жизни старшей из сестер Безладновых.

Семейство Боткиных жило в казенном доме на Садовой улице. В том самом, где когда-то жил историк Карамзин. Это произвело особое впечатление на Ольгу Федоровну. У маменьки в книжном шкафу стояли четыре тома Карамзинской истории. Когда-то давно, в другой жизни, Екатерина Ивановна читала девочкам историю Российского государства. Разве могла тогда маленькая Оленька представить, что она окажется в доме любимого историка, в обществе милых и образованных людей, с человеком, чуть ли не каждый день общающимся с царской семьей.

— Евгений Сергеевич, — спросила она однажды доктора Боткина, — какие они?

— Знаете, — живо откликнулся тот, — они скромные люди. Я никогда не наблюдал ничего заносчивого и надменного. Девочки живут в просто обставленных комнатах, спят на армейских складных кроватях под суконными одеялами. На стенах я видел только фотографии, да иконы. Мне даже кажется, младшие донашивают одежду старших, как во всех семьях, включая нашу.

У Боткиных было четверо детей, чему тайно завидовал бездетный Терновский, тут же рассказавший анекдот о том, как царь хотел женить любимого конвойца на своей дочери. «У его их там много, дочек-то, — смешно передразнил он народный говор. — Тока царь-то отказ получил от казака. Как так? А казак прямо царю сказал: “Так и так Ваше Величество, я уже женат, а от живой жены у нас, у казаков, грех прятаться. Ждет меня моя Фрося, дожидается, а с нею четверо деток”».

— И что царь? — Боткин вытер выступившие от смеха слезы.

— Что царь, что царь... Часы ему серебряные пожаловал за верность супруге Фросе.

Какое это было удивительное лето, наполненное музыкой, прогулками, стихами, дорогими сердцу собеседниками. В сентябре, занятый по службе полковник, не смог сопровождать жену в Екатеринодар на свадьбу свояченицы.

Глава 3

Купленов обвенчался с Леночкой в Александро-Невском соборе. Заказной лихач «завязал узел для крепости» — три раза обвез на фаэтоне молодых вокруг белокаменного храма. На ветру длинная фата обмотала плечи жениха. «Вот так навсегда», — прильнула щекой к сукну сотниковского мундира Леночка. Знать бы ей тогда, что есть силы неподвластные даже любви, а если бы и знала, разве изменилось бы что-нибудь в этой истории?

По желанию Екатерины Ивановны свадьбу гуляли в ее доме. Из Марьинской на подводе с кадками квашений и нашпигованным поросенком приехали Еременки. Прихватили они и трехгодовалого Федьку, которого отец уже сажал на коня — правда, на седло впереди себя. Дуська забила пару гусей, напекла хлебов и

наставила разносолов. Стол ломился от даров щедрой кубанской земли. Свадьба была радостной. Радостно было глядеть на молодых, пить за их счастье, петь казацкие песни, плясать лезгинку. А когда за окнами стемнело и Капа по старой привычке зажгла хрустальную люстру, Еременко, уже хмельной, вдруг затынул:

Не для меня придет весна,
Не для меня песнь разольется,
И сердце радостно забьется
В восторге чувств не для меня.

— Та що же вин спивает? — возмущенно передернула плечами Дуська.

— Оставь, дай послушать. Соскучилась я за его голосом и песня душевная. А уж как покойный мой Федор Афанасьевич любил душевные казачьи, — Екатерина Ивановна не стала сдерживать слезы.

Встревоженная Ольга пробралась к ней через всех гостей, села рядом, обняла. Вот так бы и сидели рядом обнявшись, да свадьба идет своим чередом. Гулять надо. Веселиться. Накануне привела будущая тещенька Купленова в спальню, открыла кованный сундук. «Смотри, — говорит, — Алеша, здесь храню все есаулово добро. Шашка его, кинжалы, черкески, папахи. Бурка, пересыпанная нафталином, чтобы не поела моль. Все теперь твое. Время придет, сыну передашь. Дом после моей смерти на Елену переписан, а тебе спасибо, что замуж ее берешь почти бесприданную». Купленов и сам гол как сокол. В Майкопе у него матушка престарелая в съемной квартире живет и дожидаться его с молодой женой не может. Но вот уже повалился хмельной головой на стол Еременко, разошлись почти все гости, ушла в свою комнату усталая Ольга, и Дуська с Капой начали потихоньку прибираться. Пора и молодым уходить в спальню есаула, где приготовлена им постель. Дождался Алексей своей любимой. Лег без сил на кровать, стал смотреть, как Леночка снимает с себя фату, расстегивает пуговицы на белом платье, хочет каштановые волосы заплести в косу, чтобы ночью не раскидывались по подушке. «Нет, — говорит, — дай мне!». Распустил ей волосы, снял туфельки с усталых ножек, осмотрел каждый пальчик с перламутровым ноготком, удивился их мраморной красоте, а что там дальше было, все и так знают.

Наутро молодые уехали в Майкоп. Еременко похмелился. Федьке дали понажимать клавиши на рояле. Ольга мальчугана на коленях недолго подержала и отдала Капе. Екатерина Ивановна заметила равнодушие дочери к детям и поняла, что не дожидется она внуков от старшенькой. Вот у младшей все с этим будет хорошо, а как там у непутевой Надьки — да кто же ее знает?

— Как это странно, странно, странно, — твердила про себя Ольга, узнав о разводе Боткиных. — Оставить такого прекрасного благородного человека, четверых детей и уйти к другому, молодому, черт знает какому! Это что?

И голос говорил ей: это, должно быть, любовь. Перечитав «Анну Каренину», Ольга внимательно рассмотрела уши Сергея Константиновича, его пухлые пальцы, и не нашла в них ничего для себя отвратительного. Она видела только внимательные глаза, обращенные на нее с восхищением и ожиданием. Нет, она была бесконечно благодарна мужу за все, что он делал для нее. Правда, ничего кроме этого чувства она не испытывала, но разве этого мало? Терновские продолжали посещать дом на Садовой, где им всегда были рады и где почти каждый вечер бывал фон Дрентельн. Какие-то новые тревожные нотки все чаще стали слышаться в голосах мужчин. Бесконечные разговоры о Балканах, кайзере Вильгельме и Габсбургах быстро надоедали Ольге. За окнами квартиры Боткина шумели листвою деревья великолепного парка, верные кубанцы охраняли покой монаршей семьи, жизнь кипела в Петербурге, куда Терновские выбирались время от времени.

— Господа, хватит о политике, — врывалась Ольга в разговоры мужчин. — Александр Александрович, лучше скажите, что мне играть в Павловском вокзале?

Пианистку Безладнову-Терновскую пригласили участвовать в концертной программе нового сезона 1913 года. Фон Дрентельн подсаживался к роялю, и дальше были Шопен, Моцарт, Бетховен и никого больше.

Беременная Леночка или Леля, как звала ее свекровь, переехавшая в дом на Екатерининской, поела моченые яблоки и соленые арбузы, которые Дуська ведрами таскала из погреба.

Теперь в доме снова жил мужчина: запахло табаком, конюшной и ваксой для чистки сапог. Купленов подправил крыльцо, покрасил спальню и отгородил закуток для колыбели. Екатерина Ивановна получила, наконец, собеседницу. По утрам за кофеем две пожилые дамы рассуждали о политике. Вернее, Екатерина Ивановна, надев пенсне, читала вслух сватье Марье Игнатьевне утренние газеты. В зависимости от содержания та удивлялась или пригорюнивалась. Это был обыкновенный ход жизни, который не знал ни бега времени, ни предчувствий надвигающихся катастроф.

Никаких предчувствий не было и у Ольги. Весной четырнадцатого года Сергей Константинович взял ее с собой в Париж, где проходили какие-то переговоры союзников. Обалдевшая от запаха сирени, шума и красоты большого города, она бродила по бульварам, рассматривая витрины и наряды встречаемых дам. В одном из магазинов ей попались духи, напомнившие своим ароматом когда-то понравившиеся духи Боткиной. Помахивая пакетиком с покупкой, довольная Ольга вышла к Сене, постояла на набережной, провояжая глазами неторопливые баржи.

— Ну всё, — сказала она себе, — пора в гостиницу, и повернувшись тут же столкнулась лицом к лицу с сестрой Надей.

Они не виделись почти десять лет. Какие поразительные встречи готовит иногда судьба! Когда-то сестры были очень близки, но, судя по всему, жизнь далеко их развела. Элегантная, в богатом мантио, Ольга рассматривала во все глаза ссутулившуюся Надьку в затрапезном прикиде и потертой шляпке, как всегда, плохо держащейся на голове. Скорее всего, у нее не было денег — может быть, даже на еду.

— Пойдем же, пойдем! Посидим где-нибудь, поговорим.

Обнявшись, сестры дошли до ближайших столиков кафе, выставленных на улице. Надька и вправду была голодна и с удовольствием поела все, что принес официант.

— Ты не думай, Симон работает в типографии. Деньги у нас есть, но приходится помогать товарищам по партии, не все смогли устроиться, как мы.

Слова упрека готовы были сорваться с Оленькиных губ, но она вовремя вспомнила, что и сама довольно редко писала в Екатеринодар. Беременность Леночки ее мало интересовала, дом на Екатерининской казался чужим. Поэтому она, просто улыбаясь,

смотрела на Надю. Наконец и та, закурив папиросу и откинувшись на спинку стула, стала рассматривать в упор обожаемую когда-то старшую сестру. Обручальное кольцо с бриллиантом, золотая цепочка с кулоном, ухоженный вид.

— Что это? — Надька пальцем показала на пакетик, лежащий рядом с Оленькой чашкой кофе.

— Духи. Они мне давно полюбились, все не могла подобрать запомнившийся аромат, а названия не знала, — зачем-то начала оправдываться Ольга.

— Ду-у-у-хи ... так ты замужем, да? — а вот и знакомая намешка в голосе.

Ольга с неохотой рассказала о Терновском, стараясь обойти подробности его положения в обществе.

— Как я вижу, твой муж богат.

— Ну, у нас есть имение. Сергей Константинович служит при Кубанском казачьем конвое его Величества...

— Имение на земле, отнятой у крестьян. Разорение обездоленных — обогащение власть имеющих. Как это все знакомо! И во главе безнравственная, утопающая в роскоши камарилья. Но скоро это все изменится, Оля, революция сметет Романовых, земля будет поделена между крестьянами.

Эти слова изумили Ольгу.

— Так ты хочешь нашего разорения? Нашей нищеты? Чтобы я и маменька пошли по миру во имя счастья обездоленных? Но казаки-то наши совсем не обездолены, им земля дарована испокон веков. Твой отец и дед служили Романовым. Помнишь, как у нас говорили: «На тэ козак народэвся, шоб Богу и царю сгодывся». Романовы не причинили тебе никакого зла, как и Одинцов, которого ты хотела убить. Власть дана от Бога, Надя, а не от кучки заговорщиков. И потом, откуда тебе уж так известно про безнравственность камарильи? Мой муж человек чести и добропорядочности.

Но Надежда уже понеслась в ту степь, где ей был знаком каждый кустик ландшафта. Ольга молча слушала про крестьянство и социалистическую общину и все больше мрачнела, понимая, что ее возражения не будут услышаны. Впрочем, довольно скоро воцарилась тишина. Обе ощутили открывшуюся между ними пропасть. Пора было прощаться.

— Напиши маме, я передам письмо.

Что-то дрогнуло в лице Нади, но тут же исчезло под привычным выражением упрямства и своеволия.

— Да що там писати. Передай, жива-здорова. Внук у нее был, да не дожил до двух лет — помер.

Ольга услышала человеческие ноты в голосе сестры, увидела проступившие слезы, и сама, впервые за их встречу, заплакала. Они торопливо распрощались. О том, чтобы встретиться снова, никто даже не подумал.

В гостиничном номере двери на половину мужа оказались закрытыми. Судя по голосам там что-то обсуждали.

— Как это не вовремя, — Ольге хотелось, наконец, рассказать Сергею Константиновичу о сестре, услышать слова поддержки. Но он был занят. А может, ничего не надо говорить?

В раздумье она подошла к окну, из которого лился теплый весенний воздух.

— Государь не желает войны, но он никогда не останется безучастным к судьбам Балканских народов, — отчетливо донеслось из соседней комнаты.

— Войны? Какой войны? — смысл невольно подслушанной фразы медленно доходил до нее.

Что там читает Екатерина Ивановна в газете? Буквы расплываются, совсем слепая стала:

— Покушение на Распутина, Господи, да что ж такое? В селе Покровском его ударила ножом и тяжело ранила Хиония Гусева. Ну, Бог даст, отлежится святой человек. Так, а дальше-то, в Боснии какой-то, прости, Господи, его душу грешную, Гаврило Принцип убил наследника Австро-Венгерского престола... Боженьки, это что же теперь будет, Алешенька?

Купленов знает ответ, но молчит. Леночка пришла, сложила руки на животе, смотрит на него толстая, подурневшая. Родная и любимая. Тоже ждет ответа. Что им сказать? Это же то, к чему он готовился всю жизнь. Настало время предъявлять свою готовность. Это война, милая.

И снова читает Екатерина Ивановна:

— Ныне Австро-Венгрия — первая зачинщица мировой смуты, обнажившая посреди глубокого мира меч против слабейшей Сербии, сбросила с себя личину и объявила войну не раз спасавшей ее России.

Проклятые! Вот проклятые! И дальше:

— Божиею милостию Мы, Николай Второй и прочая, и прочая... Неколебимо верим, что на защиту Русской Земли дружно и самоотверженно встанут все верные Наши подданные...

Забурлил Екатеринодар. На перекрестках кучкуются люди, читают стихи, поют песни. Из окон развиваются флаги с двуглавыми орлами. Настроение у всех приподнятое. По городу ходит ридный батько Михайло Бабыч, наказной атаман. Ходит без охраны в простой строевой черкеске и черном бешмете, разговаривает с казаками. Собирать ему войско кубанское, формировать составы, отправлять на войну. И застучали молоточки, закрутились маховички, завертели колесики, потянулись эшелоны, набитые пушечным мясом, тронулся поезд, увозящий сотника Купленова на фронт, осталась на перроне беременная жена, понеслись, смешались жизни. И все это было только началом.

Мадам Аннабель, подрагивающая голова в седых буклях, вывесила из окна трехцветный флаг. Старушка жила напротив, и Юдович частенько помогал ей дотащить на четвертый этаж пару багетов и бутылку красного сухого вина. Она любезно с ним кокетничала, жалуясь на придирки домовладельца и высокие цены на электричество. И вдруг такой прилив патриотизма.

— Нет, ты только посмотри, наша мадам Аннабель того и гляди запоет Марсельезу. Это что ж такое происходит с французами?

— Шовинистический угар, что же еще? — Надька дергает острым плечом.

Угар угаром, но война накатила так быстро и неожиданно, что растерялась не только она, но и многие ее товарищи. Ей и так эмиграция давалась не легко.

Дело жизни оставалось на родине. Враг был там, и там была война. А что делать на этой новой войне? Как разворачивает пагубная бездеятельность! Взять хотя бы Юдовича. Она никогда не считала его своим мужем. Облезли рыжие кудри, обвисли щеки, под ногтями траурная кайма от набора шрифтов. Так и состарился в типографии. Скрипку больше в руки не бе-

рет. Соратник, это ведь все-таки «со», ратник она сама. Ей вообще надо было родиться мужчиной. Бог так и задумал, но в последний момент то ли передумал, то ли отвлекся, и получилась несуразная девка меж двух красавиц сестер. Зато батюшка ее любил. На учения в полк брал, к коням пристрастил, стрелять научил. Что там еще у них на родине было? Книжки у маменьки в шкафу. Писарев, да Чернышевский с гвоздями. Еще были прекрасные девы революции: Засулич, Перовская и главная страдалница, конечно, Мария Спиридонова. Вот в Оленьке пробудилась страсть к музыке, а у нее — страсть к самопожертвованию. Не сродни ли эти обе страсти? Но почему Оленька такая чужая стала? Казачий долг службы царю... то да се. Отрекаться, отрекаться от старого мира надо, а Оленька не может. Зло засасало. Больше всего Надежду грызло то, что она провалилась, так и не совершив подвига. Из России бежали эсеры с гораздо более весомым послужным списком. Она с Юдовичем их прятала, устраивала, переправляла в зависимости от решения партии. Вот и сейчас придется ждать партийного слова. Ну что ж, это они умеют: ждать.

— *Vive la France!* — кричит из окна Юдович.

Старушка напротив радостно улыбается и машет ему платочком.

По двору бегала курица без головы. Дуська в кровавом переднике приготовилась к расправе над второй жертвой. Когда безголовый комок перьев рухнул, у Леночки, наблюдавшей за сценой из окна, потемнело в глазах.

— Лелечка, ты что это, деточка? — захопотала вокруг нее свекровь. — Уж не рожать ли собралась?

И как в воду глядела. Роды были трудными. У новорожденной оказалась большая круглая голова и длинное тельце. Бог знает почему, ее называли Тамарой. В роду Безладновых никого с таким именем не было. Видимо, молодые сами знают, как называть своих детей. Вскоре пришло долгожданное письмо от Алексея, наполненное нежностью и вниманием ко всем домочадцам с кратким описанием успехов в Галиции. «Бьют кубанцы венгерских уланов», — с тихой гордостью перечитывает письмо сына Марья Игнатьевна, а у Леночки крутятся:

Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нами,
Все побывали тут.
Звучал булат, картечь визжала...
И ядрам пролетать мешала
гора кровавых тел...
Гора кровавых тел ...

— Ну вот что, Елена, и думать перестань, — сердится Екатерина Ивановна. — Хочешь, чтобы у тебя молоко пропало? Лучше давай на карте будем отмечать, где там наш Алешенька.

И правда, что это она? Гнать-гнать от себя дурные мысли. В старой своей светелке Леночка нашла атлас с картами. Вот Галич, вот Львов. Поставила на них по жирной точке. А это что? Господи, картинка: апельсиновое дерево в учебнике географии. Ветерок воспоминаний влетел в девичью комнату. И в этих воспоминаниях было то самое светлое мгновение: снег на кустах акации, кое-где даже еще остались зеленые резные листики, отсыревший рукав его шинели. Ведь это же было. Было. Так, где же это теперь? Никто не знает ответа на этот вопрос, Леночка, да и тебе не надо знать. Ступай-ка лучше к вечно голодной и настырной Тamarке, которой чуть больше месяца от роду.

Ольга не сжимает пальцами виски, не заламывает руки.

— Что же теперь будет? — тихо и скорбно спрашивает она мужа.

— Я, как ты знаешь, человек военный, Осик, — так в минуты большой душевной близости называет ее Сергей Константинович, — конвой — при царе, я — при конвое, а уж дальше — Господня воля.

Мобилизация развернулась и в Царском Селе. Войска идут и идут по Магазиной. Дворы забиты подводами, по домам ходят городовые со списками в руках. Кирасир лейб-гвардейского полка провожает весь город. Ольга дошла до вокзала, и под «Прощание славянки», повторяемой оркестром снова и снова, стоя в кричащей толпе, поняла, наконец, что должна делать: найти Боткина и во чтобы то ни стало записаться в сестры милосердия. Опять через весь город прошла к знакомому дому на Садовой.

У парков тоже многолюдно. В зареве заходящего солнца горят купола Большого Царскосельского дворца. «Как красиво, — думает Ольга, — красиво и знаменательно. И какие прекрасные вокруг люди, как они все понимают важность того, что сейчас происходит». К счастью Евгений Сергеевич, в непривычной для Ольги генеральской форме, оказался дома и как раз вернулся с того же вокзала, провозжая сына Дмитрия в армию.

— Ах, как жалко, что там не встретились! — начала она.

— В такой толпе — не мудрено. Ну-с, так чем могу служить, mon amie?

— Дорогой Евгений Сергеевич, — в волнении, а может, для большей убедительности, прижала руки к груди, — я знаю, вы сейчас заняты открытием и устройством лазаретов. Так вот. Возьмите меня в сестры милосердия.

— Похвальное желание, Ольга Федоровна, очень похвальное. Я вот чего опасюсь, ручки свои не загубите? Это ведь работа тяжелая физически и, знаете ли, грязная. Пойдут раненые, изувеченные, страшно подумать какие. А вы у нас музыкантша талантливая. Может, я вам подберу что-нибудь полегче, а?

— К черту «полегче»! — рассердилась талантливая музыкантша. — Мне просто надо срочно обучиться всем премудростям ухода за этими ранеными и изувеченными.

Ну что ж, прозвучало вполне убедительно. По своему опыту Боткин знал, что сестры милосердия понадобятся очень скоро. Война надвигается большая. Уж если сама царица с дочерями занимается этой тяжелой работой, то Ольге сам Бог велел. А вот на обучение времени много не будет, срочный курс придется пройти в классе княжны Гедройц при Дворцовом госпитале. И понеслось. Утром класс и сразу после — практика. А с фронтов уже идут санитарные поезда, набитые ранеными. Первую неделю в госпитале Оленьку продержали на стирке бинтов: гнойные, кровавые, вонючие. Замачивала в карболке, кипятила, полоскала, развешивала, сушила, сматывала, все — музыкальными своими пальчиками. Безропотно и беспрекословно. Вторая неделя — по палатам. Температуру измерить, утку подать, кровавую постель сменить, лекарство дать. «Бедные, бедные, — думала Ольга, — сколько страдания. Как помочь?» Тут при обходе ее и приглядела Вера Гедройц. Та самая, что лекции по хирургии читала и далеко не всем сестрам дове-

ряла операционную. Поставила Ольгу напротив себя инструмент принять-подать, кровяной сосуд зажать. Дальше больше: хлороформ, бинты, ампутации, гангрены, осколки в костях, пули в легких, трепанации и инфекции. А первые смерти на хирургическом столе? Вот был живой, дышал, смотрел на тебя, слабо улыбаясь. И вот его уже нет... И так день за днем. На панихиды и отпевания часто приезжала Государыня. Молилась со всеми, раздавала серебряные иконки. Ольга во все глаза рассматривала эту женщину. Ничего высокомерного, проста и проникновенна. Полковника Терновского тоже закрутило это время, называемое «войной». То он в Петергофе, то в Петербурге, то в Москве. Подал прошение о переводе в действующую армию, но был оставлен при конвое. А уж на Кубани развернулась вся благодетельница Софья Иосифовна Бабыч. Поздней осенью сам Государь навестил ее госпиталь в Екатеринодаре и в такой пришел восторг от увиденного в заведении порядка, что наградил ее большой серебряной медалью на Владимирской ленте и знаком отличия Красного Креста. Конечно, другие дамы от Софьи Иосифовны не отставали. Екатерина Ивановна, по причине слабости сердца, ухаживать за ранеными не могла, но приходила в палаты читать казачкам газеты и обсуждать новости с фронтов. За ней потянулась Марья Игнатьевна, а Дуська подрядилась строчить раненым рубахи. Одна Леночка осталась не у дел, но Тамарка росла требовательной и капризной и от себя не отпускала. И тут случилось несчастье. Сначала разболелась малышка — два дня и две ночи в жару. Доктор ничего определенного сказать не мог: детская инфекция — пока, непонятно какая. Надо ждать окончательных проявлений. На третий день, когда обе бабушки свалились после бессонных бдений, Леночку озарило, что если Тамарке суждено умереть, то отец никогда не увидит, какой она была. Поэтому, ее надо... сфотографировать. Мысль, прямо скажем, не совсем обычная. Зато эта фотография сохранилась в доставшемся мне альбоме. На коленях у ослепительно красивой молодой женщины с гордым, слегка закинутым лицом — большеголовое существо с вытаращенными от жара круглыми глазенками. Купленов получил-таки эту фотографию и носил с собой, как амулет. К вечеру у малышки проявилось то, о чем говорил доктор — сыпь. Значит, корь. Девочку выходили, но заразилась Екатерина Ива-

новна. Сердце ее не выдержало: промаявшись в бреду и лихорадке, умерла бедная. Из Марьинского приехала только Капа с подростком Федькой. Дома справили они со свекром доброго коня Еременке, купили что надо для войны, да и проводили казаков всей станицей. На кладбище Екатерину Ивановну похоронили рядом с мужем. «Теперь они там разговаривают», — перекрестилась Капа. Дуська помогла обновить оградку и подкрасить крест на могиле. «Ты только нас не бросай!» — обняла ее Леночка. «Да куда я от вас?» — подняла насурьмленные брови Дуська. На похороны прикатила вызванная телеграммой Ольга. Сестры вместе много плакали, словно знали, что с этой смертью закончилось что-то славное и безмятежное в их жизни, чего уже никогда больше не будет.

Отступление первое.

Но что это? Тише-тише! И вот уже взметнулись и упали руки барабанщика, застучал малый барабан: трам-тара-там таратам там-там. Забили литавры, запела труба, вспорхнули флейточки и кларнеты, следом подхватили гобои, полетели цветы на булыжную мостовую, затопали в такт и захлопали в ладоши дамы. Им хочется восторженно кружиться и парить под этот волшебный марш Радецкого. Вот они! Идут! Прекрасные гусары в киверах с султанами, в синих куртках-доломанах, расшитых желтыми шнурами, в красных галифе и черных сапогах со шпорами, верхом на лучших скакунах империи. Так громче-громче! Это Вена провожает своих красавцев на войну, а война — это такое место, куда собираются люди исключительно для одной цели — убивать друг друга. Но тише-тише! Это уже пулемет: тата-та-тата! А красавцы гусары, невзирая на пули, наступают широким галопом, продвигаясь вперед. Лежать им на поле вперемешку с лучшими скакунами. Да кто же будет воевать за лоскутную эту империю, угасающую у всех на виду? Вот уже из окопов кричат «сдаемся» по-польски, по-чешски и по-венгерски. Крестьянки в Галиции ведут беглых австрийцев. Надоели проклятые. Казаки снимают пиками, сидящих на елях разведчиков. Елочные игрушки. Вывороченные кишки. В них деловито копаются кровавыми клювами вороны.

Глава 4

Алексей Купленов был человек простой. Выводя из вагона по сходням гнедого ногойца, чутко прядущего ушами, и прислушиваясь к отдаленным разрывам, он не думал о том, что поезд доставил его на великую войну, ведущую, упаси Господь, человечество к пропасти, а если о чем и подумал, так о том, что надо напоить коней и что хорошо бы умыться с дороги, а впрочем, может, и не подумал, потому что есаул уже скомандовал «Рысью! М-а-арш!» И пошла сотня наметом к местечку под названием Городок, по которому с утра палили австрийцы, о чем ни Купленов, да и никто из прибывших казаков, конечно же, не знали. И уже на подступах к Городку наткнулись лоб в лоб на венгерских гусар. Первого гусара Купленов даже не разглядел, только удивился легкости, с которой пика вошла в ярко синее пятно. Выдернуть не успел, как уже налетел второй. Этот попался юркий — цепко сидя на своем тракенце, закружил вокруг сотниковского жеребца, не давая Купленову замахнуться шашкой. Взметнувшаяся слева сабля с коротким свистом разрежала воздух. Купленов был выше и массивнее, но тоже ловок — увернувшись, отбил удар, рубанул направо с потягом. Юркий повалился набок и рухнул с коня. Со следующим Купленов рубился с каким-то брезгливым чувством и быстро его прикончил. Так он в детстве бил крыс в подвале: крысы с писком разбегались, но каждый раз он успевал попасть палкой по мягкой тушке, брызнувшей кровью. Не выдержав напора казаков, гусары повернули назад. Купленов погнался было за уносящимися спинами, но остановился, услышав команду «Шашки в ножны!»

— Ну что, казачки, с крещеньем! — подсказал есаул на вспененной лошади.

Вокруг него стали собираться взмокшие от жары и боя казаки. Один из них, молодой и разухабистый парень, перекинулся через седло и концом шашки поддел срубленную голову гусара. Было что-то непристойное в этой выставленной на обозрение голове с вываленным наружу языком и врезавшимся в оплывший подбородок ремешком кивера, надвинутого на лоб.

— Не балуй! — одернул молодого казак постарше, — венгерцы храбро дрались.

По вылущенному копытами пяточку земли коноводы отлавливали лошадей без седоков. Подкатили подводы с санитарями. Казаки встали на расчет. Шестерых не хватило.

— Сотник, да ты никак ранен? Не чувствуешь, штоль?

Правый рукав купленовской черкески намок от крови.

— Санитары! Давай сюда! — крикнул кто-то рядом.

— Это меня задел тот, юркий, — лицо зарубленного гусара мелькнуло перед Купленовым, и он потерял сознание.

Хоть рана оказалась неглубокой, потеря крови была большая. Все бы ничего — кость цела, но началось нагноение, потом лихорадка, и Купленова перевезли из походного лазарета в госпиталь во Львове — и уже там, в палате, только-только придя в себя от хлороформа, стал он набираться сведений о войне, на которой успел побыть от силы полдня. Госпиталь был забит русскими и австрийскими ранеными. «Ешть вишня, панове!» — между койками ходили миловидные польские сестры с мисками переспелой черешни. «Куришь хочу», — показал здоровой рукой Купленов подошедшей к нему девушке. «Тжеба выйшть на улице», — улыбнулась та. Поплутав по огромному госпиталю, размещенному в помпезном здании с мраморными полами, плафонами и лепниной, он выбрался на улицу. Припекало осеннее солнышко. Ветерок приносил запах гари и звук отдаленных разрывов. Возле подъезда со сторожевыми львами крутились малолетние спшедавцы: «Колония, папирасы грабье, пан».

— Нету грошей, мелюзга, — отмахнулся Купленов.

Но курить хотелось. В сторонке под буками на лавочке сидели люди в бинтах.

— Иди до нас, казак! Мы тебе табачку сыпанем.

— Вот спасибо!

Земляков не нашлось, но в деле под Городком получил осколок гранаты лысенький штабс-капитан, свернувший Купленову сигарку. Купленов с наслаждением затянулся. Разговорились. Мужики попались все больше деревенские. Имперская красота Львова, сданного австрийцами почти без боя, вызывала у них почтительное восхищение. Но архитектурными стилями восторгались не долго, перешли к своим делам:

— Пушки-то долбят каждый день. Только рассветет — бубух-бубух да бубух-бубух, и так дотемна. Наступают наши. Того гляди, до Карпат допрут, пока мы пузьяры на солнышке греем. А, мужики?

— А шо ж австрияки-то такие хлипкие? На вид молодцы, а от штыков разбегаются. Пушки свои бросють и ну деру, а, как отловишь их, сразу руки вверх! — говоривший поднял кверху единственную руку.

— Ты не рано ль расхвастался, милоч? А вот Вильгельм-то канстлер своих солдатиков союзничкам подкинет!

— Да мы и пруссаков зараз побьем! — залыбился безрукий.

— А ты, казак, где клешню-то поранил? Как саблей теперь махать будешь?

Хорошо сидеть, прижмурясь на солнышке, чувствуя приятную стягивающую боль в руке выше локтя. Купленов знал, что оклемался: после операции воспаление пошло на убыль. Осталась ли сила в руке?левой он тоже мог держать шашку — спасибо отцам командирам, научили бою на две стороны, скорей бы попробовать. Обидно так сразу выпасть из строя.

— Еще помахая, — ухмыльнулся он.

— Вот именно, все шашками машем, — вскинулся вдруг штабс-капитан, — это уже современная война, тут главное слово технике: пулемету, дальнобойным орудиям. Слышите? Так работает артиллерия — бог войны. Тут у нас казаки лежат сплошь со шрапнельными ранениями. А почему? Бросали родимых в атаку не против конницы, а под артиллерию, да на пулеметы, да на проволоку заградительную, коней калечить.

У Купленова сжалось сердце: он и так тосковал по своему нагайцу, которого справил за год до войны. Жалко, если коня загубят.

— Да ладно вам, штабс-капитан, мы еще гусаров с уланами порубаем, — решил он уйти от тревожного разговора.

Но штабс-капитан не сдавался.

— Эх, кабы знать, что у них там в Пруссии-то делается! Русские газеты сюда плохо доходят. По австрийским ничего не понять. За две недели войны не было никаких боевых действий, а что у них сейчас — не знаю. Чувствую подвох от немца какой-то. Поперли туда, не знаю как. А что, если и не готовы были во-

все? Считай, и времени-то на мобилизацию не было, а уж сразу наступать! Союзничка спасти наладились — как бы самим по шапке не получить! Ну что нам Париж ихний? Я вот удивляюсь, с каких пор Франция с Англией стали нашими союзниками, чтобы на такой риск за них идти?

— Тебя не спросили, — озлился вдруг Купленов, понимая всю правоту слов этого простого, в общем-то, мужика. Сам он мыслями да сомнениями не терзался. Долг есть долг, но и жизнь дорого стоит.

— Ладно, спасибо за табачок! — тревожиться ему сейчас не хотелось.

Хотелось думать о Леночке, вспоминать ее запах, тепло, как она любила спать, уткнувшись в его подмышку, как, проснувшись, терла по-детски глаза. Женщина-ребенок. Держать бы ее на коленях, целовать каждый пальчик на маленькой руке. Тоска по жене погнала его от разговоров на скамейке: «Пойду, погляжу почту. Может, какие газеты доставили, и наши уже дошли до Берлина, покуда мы тут сидим». Шутливо козырнув штабс-капитану левой рукой, Купленов поплелся обратно в палату.

Между тем в госпитале продолжалось мельтешение жизни, в котором смерть давно стала будничным делом. Судя по всему, на вокзал прибыл состав с новыми ранеными. Их подвозили к распахнутым воротам госпиталя на крытых повозках. Купленов прошел мимо стонущих людей в грязных повязках, возле которых крутились сестры, сновали санитары с носилками. В коридоре он увидел ксендза, склонившегося над чьим-то телом. «Должно быть, кончается человек», — мысль о том, что это умирал его враг, даже не пришла ему в голову. С чистого воздуха запах карболки, перемешанный с вонью человеческих испражнений, показался ему особенно невыносимым. В углу батюшка, накрыв епитрахилью лицо умирающего, шептал: «Верую, Господи, и исповедую». Когда шепот смолк, Купленов подозвал священника к себе. «Исповедоваться хотите, господин офицер? Причаститься?» Купленов перекрестился, поцеловал подставленный крест:

— Нет ли у вас новостей каких, батюшка? Что там в Пруссии? Давно газет не читал.

— А вы из каких войск будете?

— Кубанский казак. Сотник Алексей Купленов.

— Новости есть, господин сотник, есть у меня и газеты, — мягкий говор с протяжными гласными выдавал в батюшке малоросса, — вы тут отдохните пока! Я как закончу дела наши скорбные, принесу вам «Армейский вестник».

Слабость взяла свое, Купленов крепко и без снов уснул, а когда проснулся, увидел на тумбочке обещанную газету от 15 августа. Жадно навалился и сразу прочел краткую сводку: поражение 6-го корпуса 2-й армии под Бишофсбургом и 1-го корпуса под Сольдау. Отступление. Угрожающее положение. «Сольдау, Сольдау... Где же это?» С газетой в руках пошел искать штабс-капитана.

— Карты у меня нет, — помрачнел тот, — сгубили армию, чего тут не понять.

Обоим захотелось курить. Вышли на воздух и уселись прямо на ступеньку под львом, стерегущим вход. Поток раненых на носилках не уменьшался. Новые были уже своими, в сопровождении русского персонала. Одна из сестер милосердия, с замученным пыльным лицом, подошла к сидящим офицерам и спросила огонька. Купленов обратил внимание на подрагивающую руку с желтыми, должно быть от частого употребления йода, пальцами и ногтями. Прикурила она «Дюшес», любимые папиросы всех сестер милосердия.

— Что такие унылые, господа? — присев на ступеньку, сестра достала платок и отерла лицо. Оно оказалось молодым и веснушчатым.

— Как там на фронте, милая? До нас дошли дурные новости из Пруссии, — оживился штабс-капитан.

— Зато у нас хорошие. Читайте, Галиция наша. Наступаем непрерывно. Правда, раненых жуть как много и все тяжелые. Вот сюда их довели, госпиталь большой, на отличном снабжении, постараются вытянуть скольких смогут.

Госпиталь и вправду был громадным, развернутым еще прежними властями, доставшимся русским со всем многолюдным персоналом вдобавок к своим военным врачам и сестрам.

— Сейчас этих сдадим — и снова в санитарный поезд, да на фронт. Поедем за новыми.

— А вы сами-то откудова, сестрица?

— Из Саратова. У меня и брат на фронте... Западном

В ней было что-то располагающее, милое. Казалось, такая сама вытянет, вынынчит, все силы отдаст другому.

— Он в каких же частях?

— Пехотинец.

— Так и я пехотинец! А для нас главное что? Зарыться поглубже, да бежать пошибче. Ну, штыком работать уметь надо, конечно. Знать, куда колоть правильно, да еще как прикладом бить.

Штабс-капитану хотелось подольше удержать девушку. Он и дальше делился бы с ней усвоенной когда-то военной наукой. Разговор облегчал его встревоженную душу. Сестрица торопливо затаилась, заправски выпустила дым из ноздрей и покосилась на штабс-капитана, видимо представив, как он орудует штыком, а может, подумала вовсе не об этом, а о чем-то своем.

— Ольхова! Ксения! Ну, где ты там? Айда, тебя ждем! — окрикнул голос из дверей.

И милая девушка исчезла из жизни Купленова, оставив облачко растворившегося вслед за ней дыма папиросы, как исчезнет позднее штабс-капитан и многие-многие другие, с кем судьба сведет его на краткий миг, чтобы уже никогда не сводить снова. Через две недели Алексею будет доставлен пакет с новым назначением. В звании подъяесаула, полученного за героизм в сражении под Городком, он направлялся в казачью сводную дивизию восьмой армии Юго-Западного фронта.

Ольга обрадовалась, увидев возле дома знакомый автомобиль фон Дрентельна. Недели три как она не садилась за рояль: вдруг ужасно захотелось играть, хотя руки ломило от работы в госпитале. Уже в дверях гостиной сняла апостольник, тряхнула волосами. Ее встретили тишина и полумрак.

— Что это вы, господа, в темноте сидите? Сейчас позову Вареньку, она накроет к ужину. Выпьем из наших запасов. Надеюсь, Государь простит нам нарушение Сухого закона. Закусим. Я чертовски голодна. Да что такое, Серж? Плохие новости? — догадалась она наконец.

Сергей Константинович тяжело поднялся со своего места и, склоняясь над ее рукой для поцелуя, обдал запахом алкоголя.

— Оленька, дошло известие о преждевременной кончине генерала Самсонова. Он застрелился. Его армия разгромлена. Это

катастрофа. Мы с Александром Александровичем уже успели изрядно выпить за упокой его души. Не сердись на нас, родная! А уж сколько людей русских положено в Мазурских болотах, сказать не могу! Потери большие.

Ольга обессиленно опустилась на стул.

— Как же так?

— Как же так? — вскинулся вдруг Терновский. — Гнали вперед без остановки по песчанику, да без хлеба, да без обоза, на одних сухарях. Вот как! — выпитая водка заговорила в нем. — Наступать! Наступать! Наступать! У Александра Васильевича была блестящая карьера, незапятнанная честь русского офицера. Должно быть, он решил, что его заподозрят в трусости, а может, хотел погибнуть со своей армией... Не вынес чувства вины.

В этой непривычной для него интонации слышался надрыв. Ольга молча достала хрустальный стаканчик из буфета.

— Что ж, налейте и мне!

Терновский разлил водку. Выпили. Помолчали. Тихонько вошла горничная и зажгла боковой свет. Фон Дрентельн, всегда энергичный и подтянутый, как бы застегнутый на все пуговицы, сидел у стола подавленный и усталый.

— Александр Александрович, что же Ренненкампф? Я сама читала сообщения об его успешном продвижении. Это так... обнадеживало.

Фон Дрентельн с трудом поднял набухшие веки, медленно, и как бы нехотя усмехнулся.

— Продвигаться-то Ренненкампф продвигался, но спасти вторую армию не успел. Опоздал. Я слышал отрывки глухих разговоров об измене. Моя фамилия, знаете ли, тоже располагает к таким предположениям. Государь чрезвычайно удручен случившимся. Ее Величество слегла от переживаний. У нее навязчивая идея, что народ ее не любит, потому что она немка. Теперь, когда закончился медовый месяц войны, появилось больше оснований для ненависти.

— Да тут всё сразу, — снова загорячился Терновский, — и старец этот вертится, как назло, в царских покоях, компрометируя венценосную пару. Я бы этого святого отца гнал ко всем чертям, но удивительно то, что он действительно облегчает болезнь нашего несчастного наследника, хотя доктор Боткин ут-

верждает, что Распутин — обыкновенный шарлатан, возымевший таинственную власть над императрицей, готовую пойти на все ради здоровья бедного мальчика.

Опять помолчали. Заполняя наступившую паузу, Сергей Константинович налил водки себе и Дрентельну.

— Оленька, тебе завтра рано вставать. Водка, все-таки, не шампанское...

— Нет, я выпью еще, — почему-то рассердилась Ольга, — я вот что хочу сказать, господа, как это несправедливо! Александра Федоровна делает все, что может для поддержания нашей армии. Я этому свидетель. Ничего кроме восхищения ее работа, а она работает наряду со всеми в лазарете, не вызывает. А великие княжны! Какие скромные трудолюбивые девочки! Как у кого-то язык поворачивается распространять всякие гнусности об этой семье! У нас это бы давно кончилось вызовом на дуэль!

— Где это у вас? — улыбнулся фон Дрентельн углом рта.

— На Кубани, ваше превосходительство, на Кубани. Я, знаете ли, из кубанских казаков, защитников и верных слуг русского православного самодержавия. Да-с! — Ольга заправски опрокинула свою рюмочку.

— *Bon, bien, ma chere. S'il vous plaît calmez-vous*¹, — испугался Сергей Константинович.

Фон Дрентельн со стопкой в руках подошел к роялю и пальцем натюкал «Чижика», странно и отчужденно прозвучавшего в доме.

— Что ж, господа, пора и честь знать. Завтра у всех тяжелый день. Разрешите откланяться.

Стопка с недопитой водкой осталась стоять на рояле.

Царское Село все больше походило на прифронтный город. Отсюда шли на запад составы с войсками, сюда же прибывали санитарные поезда. Прямо на вокзале раненых распределяли по госпиталям. Дворцовый лазарет, куда княжна Гедройц перевела Ольгу по просьбе доктора Боткина, обеспокоенного ее утомленным видом, был ближайшим. От вокзала к нему вела прекрасная хвойная аллея, по которой сновали крытые фуры с красным кре-

¹ Хорошо-хорошо, дорогая. Пожалуйста, успокойся.

стом на боках. В семь утра к воротам лазарета на велосипеде подкатывала Ольга. Спрыгнув с седла, она оставляла своего «коня» в сторожке и, расправив сбившуюся юбку, направлялась к двухэтажному зданию, похожему на барак. Лазарет был гораздо меньше госпиталя, где она работала раньше — всего на тридцать коек, но княжна Гедройц оперировала здесь каждый день, и ей нужны были опытные хирургические сестры. Перевязочная с высоким сводчатым потолком, провонявшая тяжелым неистребимым запахом гноя, была его центром. Здесь начинался прием больных. В операционной к делу приступала мужиковатая Гедройц. «Эфир! Ножницы! Тампон! Ланцет!» — командовала она низким голосом. Прооперированных развозили по палатам, выздоравливающих переводили из лазарета в госпиталь — и так день за днем. От боли страдали все, и всем, как могли, сестры милосердия пытались облегчить страдания. А в сестрах — фрейлины да княгини с графинями. И у каждой — свои любимцы. У Ольги любимцем стал «le petit soldat», молоденький подпоручик Семеновского полка с нагноившейся на ноге раной. На первой перевязке он стыдился закричать от боли и, вцепившись в стол, зажмурил глаза с длинными пушистыми ресницами. Рана с почерневшими грязными краями была в таком запущенном состоянии, что Ольга содрогнулась, представив боль этого совсем еще мальчика. Увидев слезы, выкатившиеся из-под зажмуренных глаз, она наклонилась и быстро поцеловала его в лоб. Le petit soldat вымученно и благодарно улыбнулся в ответ. Его длинные ресницы очаровали не только Ольгу. Через несколько дней Арсению Переверзеву (так звали подпоручика) дамы уже носили цветы и бегали на почтамт посылать телеграммы невесте в Петроград. Заглянув как-то в палату, Ольга увидела фотографа и Великих княжон, сидящих возле Переверзева. Все стали звать ее сфотографироваться на память — смутившись, Ольга отказалась. Позднее, когда его перевели из лазарета в госпиталь, она жалела об этом. Ей казалось, что он и без нее окружен достаточным вниманием. Сама Государыня остановила однажды Ольгу в коридоре со словами:

— J'ai changé mon pansement pour ton petit soldat¹

Ежедневный приезд императрицы сопровождался обязательным придворным ритуалом приветствия. Хотя Ольга и рань-

¹ Я поменяла повязку вашему маленькому солдату.

ше видела Александру Федоровну, ей понадобилось время на то, чтобы справиться с волнением при ее появлении. С приседаниями и прикладываниями к монаршей руке в лазарете не затягивали — по просьбе самой Государыни. Большая сильная рука с коротковатыми пальцами, протянутая Ольге в первый раз для поцелуя, напомнила ей любимую руку маменьки.

— Так вы жена полковника Терновского? Я его знаю. Хорошо, что вы решили работать с нами, Ольга Федоровна, — голос негромкий, отчетливо выговаривающий слова, ледок в голубых глазах, тонкие губы, крупный прямой нос, слегка закинута назад голова.

После нескольких месяцев работы в лазарете Ольга перестала чувствовать некоторую отстраненность в общении с императрицей, словно та больше не держала ее на расстоянии, с большими же Ее Величество всегда была сердечна и проста. Она могла долго вести задушевную беседу, запросто присев на край чьей-нибудь кровати. Как-то Ольга спросила одного из раненых, о чем он долго говорил с Государыней. «Дык о деревне моей, да о невесте. Так и спросили меня: «Вы невестушке своей письмо написать хотите?» Отчего ж не написать, говорю. Намедни Великая княжна Татьяна приходили. Письмо для меня написали и на почту отправили». «Ну и кто после этого будет говорить об ее надменности!» — сердилась на кого-то Ольга, раздавая выздоравливающим раненым шерстяные носки, связанные Александрой Федоровной. Но пересуды о зловещей роли царицы во всех военных неудачах не прекращались. Дрентельн, по-прежнему бывавший в доме Терновских, рассказывал об отдалении Александры Федоровны от свекрови, что сказывалось на Государе, попавшем «меж двух огней» и все больше замыкавшемся в кругу семьи. По Царскому расползались слухи об оргиях во дворце, о связях Вырубовой с поганым «старцем», о его дурном влиянии на императрицу. «Старца», ожидавшего у ворот Александровского парка сопровождения во дворец, Ольга видела один раз. Неприятный холодок от скользнувшего по ее лицу взгляда глубоко посаженных «пустых» голубых глаз, запомнился надолго. Бог его знает, на что был способен этот человек, но с Анной Вырубовой Ольга работала в лазарете, и представить себе развратницей эту полненькую приветливую женщину с веселыми круглыми глазами было трудно. Всегда неряшливо одета, в старых туфлях со скошенными каблуками, она

была веселой хохотушкой, готовой при первом же зове подско-
чить, как мячик от шлепка, и кинуться на помощь. Ее любила Го-
сударыня, ее любили раненые. Великие княжны, тоже работав-
шие в лазарете, звали её Аня. Вот уж к этим девочкам не могла
пристать никакая грязь. Слуху о том, что Распутин допускался
к ним в спальни для благословения на ночь, Ольга не верила. Она
их обожала, особенно свою тезку. Почему ее? Может, потому что
и та была музыкантшей, может, за подмеченную в ней задумчи-
вость, а может, после подслушанного в солдатской палате горяче-
го обсуждения отказа «любушки» Оленьки румынскому «принцу»
Каролю, не достойному даже ее мизинчика. Возможных женихов
всех четырех княжон обсуждали и в офицерских палатах. Прихода
сестер Романовых, как они называли себя, все ждали с нетерпенье-
м, ревновали, если они задерживались у соседней, любили за-
просто поболтать, послушать принесенные ими новости из газет,
а после ухода долго восхищались их простотой и красотой. Ольга
была равнодушна к детям, но, когда она увидела наследника,
идущего по коридору лазарета, тяжело припадая на больную
ногу, сердце ее сжалось. Доктор Боткин рассказал Терновским
о неизлечимой болезни мальчика. Неужели Распутин — послед-
няя надежда на его исцеление? Как можно в это поверить?

Время шло. Вопреки предсказаниям, война не заканчива-
лась. Теперь вся жизнь Оленьки Безладновой так или иначе была
связана с лазаретом. Она никогда не была особенно набожной, но
вдруг стала много молиться и все чаще заезжать в церковь Зна-
мения прикладываться к иконе, которую любила Государыня.
Узнав, что та курит, начала курить тоже. Измотанный войной
полковник редко бывал дома по вечерам. Видел бы он свою жену,
сидящую в кресле с папиросой и спицами в руках! По просьбе
Ольги горничная ставила на столик рядом с ней рюмку коньяка
из редующих запасов и подставляла пуфик под ноги. Иногда она
засыпала в кресле, сложив руки на животе. «Божечки, совсем, как
нянюшка! Что же это я? Уже состарилась?» Зеркало показывало
усталое лицо с первыми обозначившимися морщинами.

Глава 5

*Слишком много и так крови, Надя. Слишком много. Вижу, как
ты сердишься. Сидишь, сгорбившись, нога на ногу, подперев кулач-
ком подбородок. Всё-то ты всегда знала лучше меня, а вот как*

это бывает, не знаешь: прикурить солдатику в траншее дал, чиркнул спичкой и отвалился солдатик с папиросой. Затянуться не успел: то ли шальная пуля, то ли снайпер. Кто ж там разберет? Все слова о терроре да о революции как-то здесь неуместны, родная. Убийство идет массовое и обыденное. День за днем. Я тоже стреляю. Надеюсь, ни разу ни в кого не попал, потому что именно здесь охота убивать у меня пропала. Совсем. Иногда я спрашиваю себя, а была ли вообще у меня такая охота? Трудно сказать. Тогда, в Екатеринодаре, я не думал об Одинцове. Он был для меня чем-то вроде мишени, которую тебе нужно было поразить. Потом я думал, как бежать, куда бежать, чтобы уже никогда с тобой не расставаться. Потом я думал, какое это счастье быть с тобой, с нашим сыном... Потом я долго ни о чем не думал. Прости, я слабый. Сильная ты. Ну вот. А ты все за свое: партийная работа да партийная работа. Ну работал я. Не видел тебя целыми днями. Брошюры печатал. Куда-то ты их носила. Снова появились партийные товарищи. Они были разными, эти твои товарищи. Один мне особенно запомнился. Лицо каменное, взгляд презрительный поверх моей головы, никогда не в глаза. И снова слышу от тебя: «Правительство уступит под нажимом террора. Народ пробудится. Террор — это революция!» А вокруг мирная Франция, прекрасный город Париж. Наша революция где-то далеко за горами. В прекрасном будущем. Жили бы себе и жили — так нет. Война. Этот, с каменным лицом, решил меня отправить на фронт. Мог я отказаться? Мог. Но я бы не пережил твоего презрения, родная. Как быстро ты меня снарядила: документы, пароли, вокзал. Поезда, забитые солдатами. Какие-то люди меня встречали, везли дальше, вели через границу, давали новые документы. Так я оказался в местечке, где не был никогда раньше. Призвался. И уже поехал туда, откуда говорю сейчас с тобой. Ефим Соловейко. Бог знает, кем он был, а стал солдатом 417-го пехотного Луганского полка. Вот он я, видишь? Оконная тварь! Главное, успеть припасть, вжаться в землю, забиться в щель, когда по тебе ведут огонь. А когда в упор? Я вот думаю, хорошо, что ты не убила Одинцова. При первом же обстреле унтер меня собой накрыл. Высунешься — убьют, говорит. Как же мне ему после этого в спину стрелять? Потом, знаешь, война — это тяжелая работа. Приходится много копать. Земля оттаивает, превращается в раскисшую грязь. Март ведь уже. Мозоли с ладоней не сходят, но ров все-таки рыл со всеми. Сапоги отсырели от пристав-

шей к ним жижи. Копал и смеялся, вспоминал, как ты ругала меня за промокшие ноги. Ростом я не велик, шинель длинная, путаюсь в полах, а скоро наступать. Одно хорошо — не взяли в артиллерию: не надо жилы рвать, таскать на себе чугунные пушки. Они тут с нами рядом стоят. Сначала наши палят, потом палят австрияки. Так шумно, не могу сосредоточиться на мысли о тебе. Поговорю с тобой потом, родная.

Симон, я тебя слышу и даже вижу в этих твоих раскисших сапогах и длинной шинели. Непутевый. Конечно, я сержусь. Тебя не посылали стрелять унтерам в спину, тебя послали вести агитационную работу среди солдат и осуществить теракт по усмотрению, используя благоприятную ситуацию. И как ты ее использовал? Никак. В бинокль рассматривал преступника Николая Романова, посетившего крепость Перемышль. А ведь был рядом, на расстоянии выстрела. Видел каждую пуговицу на монаршей шинели, поблескивающую на мартовском солнышке. И что? «Нестерпимая мысль о смерти». Вот что тебя мучило! Знаю я эти твои «нестерпимые» мысли. А почему ты о народе не думал? Один выстрел мог совершить революцию. Какая возможность упущена! Что тут говорить! Просуши портянки, а то натрешь ноги или еще, чего доброго, заболеешь!

Рядовой Ефим Соловейко, он же Симон Юдович, не заболел, хотя чавкали его сапоги по весенней грязи и прели ноги в мокрых портянках еще две недели. На помощь австрийским войскам подоспела немецкая армия Макензена. По маленькому Соловейко-Юдовичу открыли огонь из гаубиц, мортир и пушек. И, как только смерть нащупала его тело в длинной не по росту шинели на горном перевале в Карпатах, весеннее солнце озарило Галицкую землю, словно дожидаясь последней жертвы, принесенной в жерло проклятой войны. Солнце припекало так сильно, что высушило дорожную грязь, обратив ее в пыль.

Окружению Государя поездка во Львов казалась небезопасной, но он на ней настоял. Ехали в открытой машине от Брод, останавливаясь у свежих солдатских могил по обочинам дороги. Крестили лбы и следовали дальше. В одном месте, где еще не успела просохнуть вязкая черная грязь, автомобиль застрял. Подсобишь кинулась проходящая мимо рота солдат. Государь хотел

выйти из машины, но ему не дали. Целовали его руки и края шинели с криками «Умрем за тебя, отец родной!» Когда машину вытолкнули, последовали дальше. Отец родной снял фуражку, выкурил папиросу и был в отличном расположении духа. Длинный, как каланча, Верховный Главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, с трудом разместив свои ноги в салоне авто, рассказывал о недавних боях за Галичину. Царь слушал невнимательно. В такой благословенный день ему не хотелось думать о чем-либо омрачающем высокое голубое небо и красоту открывшегося перед его взором города.

Львов встретил Государя торжественным и тягучим гимном, хором, выстроенных штабелями полков, колокольным перезвоном. Боже, царя храни! Царь православный. Славному долги дни. Вот он, отец родной! Пожаловал весь, как есть. И сразу — в храм Пресвятой Богородицы, а там уже все забито генералами, офицерами, солдатами. Головы круглые бритые, как арбузы на астраханской барже. Владыка Евлогий сначала речь произнес про двуглавого орла, что взлетел на недоступные вершины Карпат, потом отслужил молебен. В конце службы царь вышел на паперть и негромко сказал: «Спасибо, братцы, за теплый прием! Да будет единая, могучая, нераздельная Русь! Ура!» К вечеру он пожаловал на званый обед в генерал-губернаторском дворце, там же и почивал на узкой кровати Франца-Иосифа. Через два месяца после сокрушительных поражений русской армии вся Галиция вновь отошла к неприятелю. Император Франц-Иосиф вернул себе неудобную узкую кровать во дворце губернатора.

— Ваше благородию, я стрельну по вражине, сил немаэ терпяти це знуцання.

— Отставить, Остапенко! Береги патроны!

Купленов оторвался от бинокля и мельком взглянул на расстроенное лицо вахмистра Остапенко. Ему и самому было тошно от наглого стрекотания немецкого «Альбатроса» над леском, где спешилась полусотня. Черный крест на хвосте аэроплана посверкивал в лучах восходящего солнца.

— Это он, сукин сын, аэрофотосъемку ведет. Видишь, за спиной пилота человек копошится, вроде, как ящик какой-то в руках держит?

Остапенко поглядел в купленовский бинокль, грязно выругался и сплюнул с досады.

— Що ж ми йому так и дамо пити?

— Так и дамо. Не нам тут за ним гоняться.

Накануне немцы с утра и до темноты методично долбили из орудий всех калибров позиции отступающей русской армии. Это означало подготовку наступления пехоты, серой волной расползающейся по территории еще недавно принадлежащей русским. Вслед за пехотой подтягивалась артиллерия. Убийственный обстрел возобновлялся. И так повторялось раз за разом. Тактика была уже знакомой и работала безотказно. За шесть дней русская армия отдала всё, что завоевала за шесть месяцев. Купленов был рад тому, что царь принял на себя командование войсками. Как и многие офицеры его полка, он объяснял причины последних неудач промахами Великого князя Николая Николаевича. Когда немцы перебросили на Юго-Западный фронт свою армию, подтрунивания над слабыми австрияками, сдающимися в плен сотнями, прекратились сами собой, как и упования на быструю победу.

С опушки леса в бинокль Купленову были видны деловито снующие в окопах люди в серо-синих шинелях.

— Укрепляются. Зимовать там собираются, что ли?

Измученный долгим ожиданием разъезда, посланного ночью на разведку, Остапенко промолчал. Тревога съедала и Купленова. Осеннее солнце уже поднималось над верхушками деревьев, а разъезда всё не было. Немецкий летчик мог разглядеть казаков, расположившихся в леске. Не пора ли уходить?

— Через час снимаемся.

Остапенко молча кивнул. Купленов снова приложил бинокль к глазам. Вроде, никаких передвижений. Всё то же копошение в окопах. Разглядеть расположение немецких батарей не удавалось. Тут нужно было подобраться поближе. За этим он и отправил разъезд. «Вот когда нужна воздушная разведка. Где же наша хваленая авиация?» — раздражение захлестывало Купленова. Он давно понял правоту слов штабс-капитана из Львовского госпиталя, что войну решает артиллерия и с яростью вспоминал, как транжирились еще два месяца назад, такие драгоценные сейчас снаряды. Шарахали даже по одиночным всадникам. Зачем?

Кому нужно было это бахвальство? То ли дело немцы. Укладывают продуманно и аккуратно. «А где, мать вашу, патроны? Запас не пополнялся с месяц. Как нам воевать, господа хорошие? Вы о чем там думаете? Если, вообще, о чем-либо думаете», — одни и те же злые вопросы крутились в его голове.

— Т-с-с! Чуэшь, подьесаул? — Остапенко вскинул винтовку. — Нияк наши повертаются, або ще хто?..

Чутко прислушиваясь к шорохам, встревожились и другие казаки.

— Свои! — прошелестело ветерком по лесной опушке.

По раздолбанной артиллерией дороге приближались на рысях трое всадников. Через круп передней лошади было переброшено чье-то тело.

— Нияк з уловом? Ось це славно, — обрадовался Остапенко.

— Ну, наконец-то, мы тут вас заждались, — Купленов с терпением ждал доклада прямоком подъехавшего к нему урядника Седого. — Это кто у тебя?

— Та лейтенант немецкий. Ахтеллерист. Мы ж дюже заждались, пока хто из блиндажа выйдет до ветру. Этого и прихватили.

— А ну кажь!

Лейтенанта, как куль с картошкой, стащили с коня. Его руки и ноги были плотно связаны, прослунявленный рот заткнут тряпкой. Судя по бледному с зеленоватым оттенком лицу, его сильно растрясло.

— До штаба доедет?

— Та шо ему будет? Доедять. У меня тут до вас, господин подьесаул, ишо кое-што есть.

Седой вынул из-за пазухи замусоленную бумажку.

— Я тута вот пометил крестом пулеметные гнезда, пушки ихние, где разгидили. Бабы из деревни гутарили, лошадей у них у всех поимили. Видать, передвигать ахтиллерию вскорости будут.

— А вот за это, урядник, спасибо, — повеселел Купленов, аккуратно складывая драгоценную бумажку. — Давай по коням, Остапенко.

Полусотня успела вылететь на проселочную дорогу, когда первые снаряды обрушились на лесок. Немец с аэроплана раз-

глядел-таки небольшую группу людей среди осенней листвы и передал новую цель на батарею, как только приземлился. Через полчаса лесок сравняли с землей.

— Оперативность у них, однако, — Купленов оглянулся на скачущего чуть позади урядника, через седло которого снова перекинули пленного.

— Довезешь?

— А хули, — осклабился Седой.

Теперь орудийная пальба раздавалась впереди. Горела деревня, через которую они проезжали ночью. Пришлось взять в объезд сквозь неубранные пшеничные поля и пустить коней шагом. Колосья перезревшей пшеницы склонялись до земли. Жалко было гибнущий хлеб, жалко бегущих из горящей деревни людей. В каждой женщине с орущим ребенком на руках Купленову виделась Леночка, прижимающая к груди Тamarку. Какой-то старик в рваном картузе и с легким скарбом в котомке с ненавистью буравил выцветшими глазами проезжающих казаков.

— Будзьце пракрытыя, панове добрыя.

— Мы штоль войну начали?.. Куды людям бечь? Аж воздух вокруг горить, — засочувствовал кто-то из конных.

Миновав поля, пустили коней наметом еще верст восемь. Пальба приближалась. Залетные облачка шрапнели то и дело лопались над головой всадников. Где-то коротко татакнул пулемет. Вот и знакомая речонка. Еще вчера через нее был проложен мосток, от которого нынче торчала из воды лишь какая-то жердина. Переправились верхом. Липкий холод пробрался в сапоги, охватил тоской тяжелого предчувствия. На берегу пустынно. Только у камышей болтается утка с выводком подросших утят. Где полусотня, с которой они должны были соединиться, вернувшись с разведки? Купленов остановил своих.

— А ну погоды! Остапенко, глянь-ка, что там? Не нравится мне эта тишина.

Негромкие и до того разговоры, стихли. Слышно только, как кони позвякивают уздечками, отгоняя слепней, да каркает ворона на ветке. Долго не ждали. Остапенко вернулся через полчаса.

— Козакив немаэ, вид нашой батарее, що на пагорби стояла, тильки ямки димлять, а в траншеях пихота полягла. За всю дорогу жодной живой души не бачив.

— Ладно, вахмистр! Стоять здесь толку нет. Поглядим и мы на то, что ты там видал.

Всё было так, как сказал Остапенко. Линия фронта, проходящая здесь еще вчера, казалась покинутой. Купленову надо было решать, куда двигаться дальше. Долго думать не пришлось. Обстрел возобновился. Теперь били прямо по ним.

— Видганяй коней! — крикнул спешившийся Остапенко.

Вздыбленная от разрыва земля черным фонтаном накрыла попавших в самый ад людей. Следующий снаряд лег немного в стороне. Оставшиеся в живых зашевелились, поползли, стращивая землю, забившуюся в каждую складку одежды, в глаза, рот. Купленов ощупал голову. Папаху снесло, но крови нет. Приподнялся, опираясь на шашку. Рядом крутил башкой урядник Седой.

— А ну давай, подъесаул, ховаться, пока немец нас не израсходовал! Вишь, война кака началась! Кто глубже вроеется, тот и живой будет.

— А где пленный? — почему-то вспомнил Купленов.

— Та помер. Я его давно скинул. На кой ляд он щас нужен?

Обождали немного и перекинулись в ближайший окоп, вырытый накануне пехотинцами.

— Сколько нас?

— Та скоко есть, все тут. Может, двадцать. Может, еще скоко.

Сказать и вправду было трудно. Живые залегли среди мертвых тел, разметанных конечностей, вывороченных внутренностей. Время остановилось — во всяком случае, Купленов не мог сказать, как долго продолжался обстрел. Его вжавшееся в жидкую грязь тело трясло, как в лихорадке, то ли от разрывов, то ли от пробирающего до костей страха.

— Офицеры есть? — как сквозь толщу воды, донеслось откуда-то сверху.

Посыльный из штаба придержал забрызганного грязью коня у траншеи.

— Так точно. Подъесаул Купленов.

— Приказано отходить, господин подъесаул.

Спросить, на какие позиции отводить оставшихся в живых людей, он не успел. Взрывной волной его выбросило из неглубокого окопа. Настала ночь.

Первый год войны закончился жестокими поражениями русской армии на всех главных фронтах. Но война продолжалась,

как и продолжилось время жизни моих героев. Всё так же тикали ходики в кухне дома на Екатерининской улице и так же гудели паровозы на вокзале, тревожа ночной сон Леночки. По детской комнате делала первые шажки Тамарка. Когда-то стоящий в гостиной рояль продали, и теперь там хозяйничала Дуська со своей швейной машинкой. Ее промысел стал главным доходом семейства. Может, военному Парижу было и не до мод, но в Екатеринодаре франтихи не перевелись. Изредка наведывалась Капа с каддушками солений и Федькой в придачу. Бабоньки накрывали на стол, открывали бутылку-другую домашнего вина, поминали всех, кто, бывало, сидел за этим столом, и допоздна распевали казачьи песни. Еременко воевал на Кавказском фронте и уже получил первого Георгия за свои подвиги. Про Надьку все давно забыли. Призванный в армию сын почтмейстера попал в германский плен. Из города Берга приходили открытки, написанные его мелким отчетливым почерком. В них были просьбы прислать яичный порошок и описания скучного быта военнопленных. Чтобы скоротать время, он читал книжки и вышивал крестиком. Почтмейстерша посылала ему нитки мулине и бульварные романы. Несмотря на изобилие екатеринодарских толчков, яичного порошка там не нашлось.

Каждое утро Леночка со свекровью искали в списках «Кубанского вестника» хоть строчечку о Купленове. И не находили.

— Ничего, милая, — успокаивала ее Марья Игнатьевна. — Разложу-ка я пасьянстик. Поглядим, что нам карты говорят. Если сойдется, завтра получим весточку от Алешеньки.

Но и карты ничего не говорили. Пасьянсы сходились, а новостей не было. Леночка бегала в церковь, ставила свечки всем святым, бросала пяточки в кружки с пожертвованиями, исповедовалась бабушке в своем отчаянии. Батюшка отпускал ей этот грех и читал наставления. Она покорно выслушивала. Конечно, смерть за царя и православную веру — высокая казаку честь, но что Леночка знала о смерти? Только то, что она забирает любимых людей. Перед Новым годом решение пришло само собой: помочь в поисках исчезнувшего подъясаула Купленова может только благодетельница Софья Иосифовна Бабыч.

За полтора года войны лицо Екатеринодара посуровело. Главная его улица, переименованная из Красной в Николаевский проспект, была заполнена казаками и прочим военным людом.

Не отставали и дамы. Повсюду виднелись белые платки с красными крестами. С витрин магазинов устремлял свой строгий взгляд Государь в парадном мундире. В ресторанах играли «Боже, царя храни» и пели «Многая лета». Расклеенные афиши приглашали на благотворительные концерты со сборами в пользу семей погибших казаков.

Во дворце Наказного атамана Софьи Иосифовны не оказалось. Ее секретарь, особа приветливая и отзывчивая, посоветовала поискать госпожу Бабич в госпиталях и милостиво протянула листок с адресами. Леночке ничего не оставалось как, выйдя на улицу, крикнуть извозчика. Первый госпиталь находился неподалеку, но Софьи Иосифовны там не было.

— Уже с час как уехали-с, — усатый дядька в штанах с красными лампасами придержал за Леночкой тяжелую дверь.

Пришлось ехать на окраину. Грязь на улицах подморозило, и пролетка быстро катила под лай дворовых собак за заборами. Навстречу попадались подводы, бабы с ведрами, да бегающие в чем ни попадя ребятишки. Наконец, у одного из деревянных двухэтажных домов Леночка увидела крытые фуры с красными крестами и необычного «гостя» в этих краях — автомобиль.

— Обожди меня здесь, голубчик! — остановила она извозчика и, ловко спрыгнув, засемила к входной двери.

Софья Иосифовна заметно похудела и как-то даже состарилась от навалившихся на нее забот, но оставалась такой же энергичной и жизнерадостной хлопотуньей.

— Рада вас видеть, — раскрыла она свои коротковатые ручки навстречу Леночке. — Вот, полюбуйте на новый госпиталь для обмороженных. Условия на Кавказском фронте ужасные. Начались морозы. Ветер. Вдобавок к ранениям еще и обморожения. Нужны новые медикаменты, специалисты, деньги. Но мы справляемся и уже начали прием наших бедных казачков. Хотите посмотреть? Снимайте пальто, вешайте сюда. Только приготовьтесь: дух там тяжелый, да и вид у них, знаете, не праздничный.

Дух был не просто тяжелый — он был невыносимый. Леночка сделала несколько шагов по палате, забитой людьми в вонючих повязках, схватилась на спинку чьей-то кровати и потеряла сознание. Очнулась она от запаха нашатыря. Две сестрицы милосердия вывели ее в коридор.

— Ну что же вы так, Елена Федоровна, — сочувствующие глаза Софьи Иосифовны смотрели на нее с затаенной смешинкой, — а я-то хотела записать вас на курсы сестер милосердия. Нам очень нужны помощники.

— Да я бы с радостью, но у меня дома годовалая дочь, а главное, уже месяца три, как нет вестей от мужа. Не знаю, что делать, где его искать, к кому обращаться, — слезы потекли по бледным Леночкиным щекам. Она высморкалась в протянутый ей кусочек марлочки и умоляюще сложила дрожащие руки.

— Господь нам всем послал испытание, моя милая. Наберитесь мужества и ждите! — благодетельница записала карандашиком имя Купленова в маленький блокнотик, прикрепленный к ее поясу, — а уж я постараюсь разведать о вашем муже через Красный Крест.

Леночку проводили до двери. Торопливо опустив серебряный рубль в кружку с пожертвованиями, она выскользнула на улицу к заждавшемуся извозчику. Скорей-скорей домой! Зачем ей показали эти вонючие тела, завернутые в бинты? Дома умыть лицо, взять на руки Тamarку, уткнуться в живое тельце, вдохнуть теплый запах ребенка. Забыть-забыть... Нет, никак...

Тише, тише, родная. Самое-то страшное еще впереди, только ты об этом не знаешь. Знаю я. А пока ты у меня там, в окошке с Тамаркой, держишь ее на руках и показываешь ей первые снежинки. Скоро Святки, потом Рождество. Помнишь, как приходил дворник с какими-то мужиками, белили стены к празднику, как папенька на базаре выбирал елку, как наряжали ее в гостиной и зажигали свечи? Нянюшка расстилала белый платок на столе и ставила посередине тарелку с кутьей, сверху наваливали пирожков, да конфет. Платок завязывали крестом. «Девочки, вот вам вечеря. Отнесите ее с поклоном соседям!» — говорила нарядная маменька. И вы с Надькой наперегонки катились по раскатанной на тротуаре ледовой дорожке прямо к дому почтмейстера. Там тоже было празднично и светло. А сейчас за окном по улице проехали казаки, прошли строем пластуны, растоптали снег в желтую жижу.

— И куда же их родимых всё ведут и ведут? Уже вторая зима на дворе, а войне этой конца не видать, — горюет Марья Игнатьевна.

Стихла удалая казачья песня, смолк военный оркестр. Еще один эшелон отправился с вокзала туда, откуда прибудет другой, заполненный изувеченными телами. И так день за днем.

Зима присыпала снежком землю, изрезанную окопами. Руки безымянных людей возвели брустверы, вырыли и укрепили блиндажи, протянули версты колючей проволоки. По обочинам раздолбанных снарядами дорог стоят кресты, лежит падаль, расклеванная вороньем. Вокруг нищета селений, испуганные женщины, плачущие дети. Голь да голод. Ни сена, ни дров, ни хлеба. Пустые поля. Тоскливый пейзаж. Время от времени низкое серое небо над окопами прорезает полоса света. Потом раздается резкий звук. Разрыв. Разлетаются осколки, дыбится земля. Санитары подбирают разбросанные тела, свозят их в палатки с красными крестами. Тут же дымятся походные кухни. На Юго-Западном фронте без перемен. Перемен нет нигде. Окопная война разъедает душу, покрывает тело вшами. Генерал Иванов распорядился строевое передвижение солдат сопровождать пением. «Эх, взвейтесь, соколы, орлами, разгоните воронов!» — поет нескладный хор людей, шагающих в баню.

Воспользовавшись затишьем, на фронт хлынули гости. Кого тут только не было: члены Государственной думы, какие-то представители с подарками, артисты, просто дамы, навещающие мужей-офицеров. Пожаловал и Государь с наследником. Произвел смотр войскам, раздал награды. Генерал Брусилов остался недоволен: «Царь вечно мямлит и конфузится. Никакого от него солдатам воодушевления». Он вообще был строг и требователен, этот генерал. В яркий морозный день Крещенский молебен с водосвятием собрал много народу перед его ставкой. Помолиться вышли все штабные, гости, лазаретные, солдаты. Только лбы перекрестили, в ярко-синем небе загудели два немецких самолета. Первая бомба упала совсем близко. Генерал оглядел молящихся. Стоят, не поднимая глаз. Молятся. Певчие поют. Когда забухали зенитки, у батюшки крест в руке задрожал и все слова из головы вылетели. От позора спас дьякон, закончил молебен. «Мне здесь трусы не нужны», — Брусилов батюшку отчитал и отослал с фронта. Ему нигде трусы были не нужны. Эту решительность генерала подметил Государь и назначил его командовать Юго-Западным фронтом взамен осторожного Иванова.

Все трое главнокомандующих Западными фронтами собрались в ставке в Могилеве: насупленный Эверт, вальяжный Куропаткин, подвижный Брусилов. Расхаживают, поскрипывают хромовыми сапогами, водят указкой по карте. Как спасти положение на фронте, протянувшемся от моря до моря?

— Навалиться на врага сразу тремя фронтами, — Брусилов решительно отмахивает сухонькой рукой. — Когда мы наносили удар в одном направлении, немцы успевали перебросить войска и артиллерию в место прорыва. Надо лишить их этой возможности. Им не хватит сил заткнуть сразу несколько дыр.

— Наступать-то вы, батенька, можете, но никаких ресурсов дополнительных не получите. Потому что их нет-с! И ручаться за успех такого наступления никто не может, — горячатся генералы.

— А никто никогда не может ручаться за успех военной операции, — парирует Брусилов, даже будь он и тысячу раз Наполеон.

Государь безучастно поглядывает в окно. Он не любит принимать решений. Пусть думают генералы. «Бедная Аликс. Ей нездоровится с утра. Как обманчиво мартовское солнце! Не дай бог, простыла. Скорее бы это совещание закончилось».

— Так что там у вас, господа? — отрывается он от раздумий.

Снова головы с аккуратными проборами склоняются над столом, поблескивают золотом погоны на плечах. Ну что ж, Брусилов прав. Решительность перетянула осторожность. Будем наступать! Окрыленный примчался он в свою новую ставку, а здесь у командующих армиями те же сомнения: «Наступать? При такой нехватке тяжелых снарядов? Это же обречено на провал!»

— Я вас собрал, господа, не для того, чтобы выслушивать опасения, а для того, чтобы познакомить с планом летней наступательной операции. Отставка несогласных с моим решением принимается незамедлительно.

Несогласных не оказалось. Обведя глазами присутствующих, генерал Брусилов приступил к изложению своего плана:

— Каждая армия, входящая в Юго-Западный фронт, собирает ресурсы и своими силами готовит плацдарм для наступления. Залог успеха — в обязательном согласовании действий между вами, господа, и соседними фронтами. Немецкая разведка сойдет

с ума, пытаясь выяснить направление главного удара. А удар этот мы нанесем здесь, — красный карандаш уперся в точку «Луцк» на карте и нарисовал жирную стрелку в западном направлении.

Получив указания, генералы разъехались. И опять застучали молоточки, закрутились маховички, завертелись колесики. Про ведав про планы командования, Государыня пригласила к себе Брусилова.

— Так когда вы начинаете наступление? — зачем-то поинтересовалась она.

— Эти сведения настолько секретны, что я не имею права их распространять, Ваше Величество, — уклонился от ответа тот.

Государыня недовольно поджала губы. Говорить больше было не о чем. Поинтересовавшись работой фронтовых передвижных бань, она поспешила свернуть аудиенцию, подарив на прощание Брусилову образок Святого Николая-чудотворца. Лик Святого, впрочем, быстро стерся. «И почему она меня не любит? — недоумевал Брусилов. — Всю жизнь я работал на благо родины, а значит, во славу ее мужа и сына».

Ничего этого в доме на Екатерининской не знали, да и не могли знать, зато в январе наступившего нового 1916 года туда пришла открытка, в которой кратко сообщалось о нахождении подвесаула Купленова Алексея Николаевича в Ярмолинском военном госпитале. Пробежав глазами по написанным безразличным казенным почерком строчкам, Леночка коротко вскрикнула, кинулась к свекрови и вместе они залились счастливыми слезами.

Глава 6

— Как у нас чудесно пахнет хвоей! — горничная подхватила заснеженную шинель полковника. Сапоги он обмел еще на крыльце. В прихожей, не торопясь, вытер носовым платком усы, оправил китель, расцеловал в обе щеки улыбающуюся Ольгу и потянулся к ее губам. Губы ускользнули. Поцелуй пришелся в подбородок. Руки тоже не давались и прятались.

— Не целуй, не целуй! Я вся провоняла карболкой, тебе будет противно.

— Что ты, душа моя? Что ты такое говоришь? — Терновский нашел сопротивляющуюся руку и прижался к ней лицом. — Ты бы знала, как я соскучился.

Полковника не было дома два месяца. Став Верховным Главнокомандующим, царь много разъезжал по фронтам, изредка навеваясь в Царское Село. Как водится, казачий конвой следовал за ним. Зимой бои стихли, и на Святки счастливый Терновский оказался у себя на Магазейной.

— А ты знаешь, что празднование Нового года хотят запретить, говорят: немецкий праздник. Представляешь этот патриотический бред? Причем тут наша любимая елочка?

Слегка грассирующей голос Сергея Константиновича разнесся по всему дому, казавшемуся Ольге чужим и пустым до его приезда. Вдруг все ожило: засветилась люстра, замерцали свечи на елке, блики брызнули на крышку рояля. В первый раз за эту зиму ей захотелось что-нибудь сыграть. Что? Штрауса? Легкомысленный вальс впорхнул в гостиную. Терновский шутиливо закружил по паркету. Раз-два-три, раз-два-три. Ольге казалось, что даже его мелькающая лысина лоснится от удовольствия. Да ведь и она сама была рада его возвращению.

— Вот уж нет, елку я никому никогда не отдам! Эту красавицу мы купили с Варенькой на базаре в Гостином. Сами притащили, поставили и украсили. Какой же без нее праздник? И потом, что такое «непатриотично»? А «Голубой Дунай» играть патриотично? Нет?

Мелодия оборвалась.

— Черт! Я и забыла, що Штраус нынче наш враг.

Эта ироничная фразочка, ввернутая на украинском языке, насмешила полковника. С музыкой оборвалось и его кружение по гостиной. Ожидавшая этого момента Варенька, высунулась из двери:

— Ужин подавать? Все давно готово-с.

— Тащи, Варенька. Что там у вас? Все тащи. А кое-что есть и у меня, — многообещающе посмеиваясь, Терновский отправился вглубь дома поцокивая подковками сапог по паркету.

Этим «кое-что» оказалась пузатая бутылка бренди. Подарок одного милого союзника. Отдав бутылку Вареньке, Терновский плюхнулся в кресло и залюбовался профилем жены, сидящей за

роялем. Он снова увидел в Ольге что-то грустное и нерастраченное, тихое, всегда его волнующее, вызывающее прилив нежности и благодарности. Война проходила рядом и все-таки в отдалении от полковника. Он не знал ни передовой, ни обстрелов, но вся его теперешняя жизнь, так или иначе, была с ней связана. Эту жизнь разделяла и Оленька. Раненые искалеченные люди — с этим ей приходилось иметь дело каждый день. Видеть смерть, в конце концов. Какую кровавую работу делали пальчики, перебирающие сейчас клавиши?

— Что это? «Осенний сон»? — легкий кивок ее головы и чуть заметная улыбка. — Какая чудная интерпретация! — Он закрывает глаза, откидывается в кресле. Так бы сидел и слушал, слушал.

В столовой Варенька накрывала на стол, позвякивая посудой. Дом. Уют. Покой. Это всё, что ему всегда хотелось иметь. Нет, еще дети. Бог даст, будет у него и это. За ужином разговор крутился вокруг придворных сплетен, чехарде в правительстве и каких-то выступлениях в Думе. «Подарок союзника» хорошо пошел под холодец и заливного окуня. Когда бутылка опустела наполовину, Сергей Константинович заметил, что жена пьет с ним на равных. Попытки заменить бренди клюквенным соком, вызвали у нее приступ сильнейшего негодования. В конце концов, Варенька помогла ему увести порядком опьяневшую Ольгу Федоровну в спальню.

— Кто их, этих казачек, знает, — думал Терновский, прикрывшись с краю супружеской кровати. Впрочем, он тоже был изрядно пьян и быстро заснул, сотрясая спальню богатырским храпом.

Похмелье чревато не только головной болью, но и муками стыда за свое не поддающееся контролю поведение. За окном спальни рассвело, свет просочился сквозь заиндевевшие окна, проснувшаяся Ольга уговаривала себя подняться для продолжения привычного хода жизни. В столовой свежесвыбранный полковник читал «Петроградские Ведомости», недовольно посматривая в сторону часов на каминной полке. Ему не терпелось поделиться клокоцущим негодованием с женой: в газете белели пустые колонки изъятого цензурой текста. Ольга появилась с опухшими глазами и небрежно закрученной вокруг головы ко-

сой. Терновский хотел было заклокотать по поводу введения военной цензуры в печати, но, увидев бледное лицо, качнувшееся за столом напротив, стих.

— Варя ушла к заутрене, так что я тут сам похозяйничал. Самовар горячий. Советую выпить чайку с медом.

Лицо, подпертое двумя кулачками, недовольно поморщилось.

— Что, так плохо? Говорил я тебе: не пей! Надо бы рассолу, что ли...

— Ничего, Сережа, я с тобой посижу, а потом пойду еще немного поспать, авось к вечеру полегчает. Ох, уж мне этот подарок союзника!

Полковник неожиданно лукаво улыбнулся.

— А я и не знал, Осик, что ты можешь ругаться, как ... подхорунжий на плацу. Это откуда же у тебя такие познания? Барышень в Мариинке таким словам, вроде, не учат.

— Я тебя умоляю, Серж, ну не издевайся ты надо мной, мне и так плохо. Откуда-откуда? Господа офицеры под воздействием эфира на операционном столе иногда бог знает что говорят... Но я и сама от себя ничего такого не ожидала...

Вечером 31-го декабря супруги Терновские отправились к Боткиным на Садовую улицу. Было славно. Слушали Шаляпина на шипящих пластинках, играли в шарады, встретили Новый 1916 год вместе с ходячими больными из лазарета, открытого доктором в своем доме. В полночь пожелали друг другу скорейшего завершения войны. Но война всё никак не заканчивалась. В Крещенские морозы полковник уехал, и Ольга окунулась в привычный быт Дворцового госпиталя.

На Пасху после всеобщей молитвы Государыня раздала сеграм милосердия фарфоровые яйца с изображением императорской четы. Положив в карман подарок, Ольга вышла во двор выкурить папироску и вдруг увидела подтаявшие сугробы, услышала капель, стучащую по железному навесу, вспомнила весенний разлив Кубани, те самые зеленые клейкие листочки и горько усмехнулась встревожившим ее воспоминаниям. Возвращаться к прерванной работе не было никакого желания. Чувство долга уступило место усталости и безразличию. Удивительно, но ее состояние с полуслова поняла княжна Гедройц.

— Поезжайте-ка в Петроград, а там завалитесь на какую-нибудь прекрасную выставку да поговорите с кем-нибудь о супрематизме, а не о проникающих ранениях и вообще развейтесь! — густым басом посоветовала она вмиг повеселевшей Ольге.

Непонятное слово «супрематизм» звучало загадочно и волнующе. В госпитале все знали, что Гедройц пишет стихи, а значит, была к этому волнующему и загадочному приобщена. Если следовать совету уважаемой княжны, ехать за этим нужно было непременно в Петроград. И все же в свой выходной Ольга зачем-то прошла вокруг озера по пустынному Екатерининскому парку, повстречала сторожа на главной аллее: «А туды, барышня, не ходите! Промочите ноги», прислушалась к весеннему карканью грачей, стуку дятла откуда-то из глубины парка и, вдруг решительно выйдя за ворота, разбудила пристроившегося неподалеку с понурой лошадкой извозчика: «На вокзал, любезный!» В буфете на вокзале с удовольствием напилась чаю с баранками под разговоры о раскрытых очагах кокаинистов и спекуляциях сахаром. И уже в поезде, следя за мельканием серенького пейзажа, почувствовала себя освободившейся от какого-то гнетущего чувства. В вагоне было немногочленно. Несколько военных да пара чиновников. У двери расположился батюшка с неопрятной бородой, время от времени говоривший что-то человеку, сидевшему к Ольге спиной. Господа офицеры нет-нет да и поглядывали на нее, пытаясь понять, куда может ехать в одиночестве такая красивая молодая женщина. И в самом деле, куда? В Петербурге, нынешнем Петрограде, Ольга бывала только с мужем и казалась себе безнадежной провинциалкой, не знающей, как без него и шагу ступить. Странное дело: блуждая по Парижу, она совершенно не нуждалась в сопровождении не только Терновского, но и вообще кого бы то ни было. А вот теперь, спускаясь по лестнице Царско-сельского вокзала, раздумывала, куда же ей идти. Город оставался чужим. Но что-то радостное слышалось в его весеннем шуме: обрывки разговоров, чей-то смех, смешавшийся с позвякиванием трамваев, короткие гудки переговаривающихся где-то в стороне паровозов, шорох крыльев встревоженной стайки голубей. Четко и мгновенно все это словно проявилось перед Ольгой. «Вот и прекрасно, — поддалась она настроению, — поеду на набережную: вдруг уже ледоход. Полюбуюсь. И к черту супрематизм!»

— Ольга Федоровна, подождите! — окликнул ее мужской голос.

Она обернулась. По лестнице, чуть припадая на ногу, спулся Арсений Переверзев в военной форме и с небольшим саквояжиком в руке.

— Вот видите, вылечили и выписали. Совсем не хромаю. Отправляюсь на фронт. Я вас сразу заприметил, еще в поезде, но батюшка такой разговорчивый попался, неудобно было прерывать его рассуждения.

Свежевыбритое лицо «маленького солдата» улыбалось. Весь он был чистенький и намытый, пахнувший одеколоном и ваксой, которой с утра начистил сапоги. Глаза под мохнатыми ресницами с восхищением разглядывали Ольгу. Было в этом взгляде что-то ее смущавшее, из-за чего она уже не могла говорить с ним прежним покровительственным тоном, каким говорят с больными. Конечно, она помнила свой неожиданный прилив сострадания во время первой перевязки. Ногу-то могли и не спасти. И вот, пожалуйста, уже на фронт. *Petit soldat*. Над его верхней губой выступал чуть заметный шрамик. Интересно, а он запомнил ее поцелуй, вернее, легкое прикосновение ко лбу?

— Это тот батюшка с клочкастой бородой? О чем же он так увлекательно рассуждал?

— Да он все говорил о том, что война послана нам для очищения. Мол, слишком много накопилось грехов у человечества.

Мысль батюшки Ольге не понравилась, и она недовольно передернула плечами. Заметивший это Переверзев поспешил сменить тему разговора.

— Куда направляетесь? Сегодня такой славный день! Раз уж мы тут встретились, не позволите вас сопровождать?

— Надумала провести свой выходной в городе, а куда пойти не знаю, — её слегка уклончивый ответ прозвучал как согласие.

— Так пройдемте немного по Загородному, а там видно будет.

Ольга непринужденно взяла Переверзева под руку, пытаясь подстроиться под легкий разноряд его шагов. Не слишком ли быстро она приняла его предложение? Но как приятна эта его готовность следовать за ней. Знает ли он, что она замужем? Да ведь и у него есть невеста, кажется.

— А вам-то куда самому надо, Арсений Александрович?

— У меня предписание явиться сегодня в казарму, но еще не скоро, — соврал Переверзев.

А ему было приятно, что она помнила его имя. Сказать ей сейчас, как он всегда ждал ее появления в палате, хотел, чтобы она подошла к нему, склонилась, поправляя одеяло, как ему была видна выбившаяся из-под белого платка прядка ее волос, морщинки вокруг рта. Он и сейчас видит чуть подрагивающий завиток возле ее уха. Или не говорить?

Снег в городе уже растаял. Во дворах доходных домов дворники шаркали метлами, разгоняя лужи. Солнце то пряталось за легкими тучами, то пускало лучи на новенькие погоны Переверзева. На проспекте было малоллюдно. Изредка встречались деловые господа из чиновников, студенты с барышнями, кухарки, спешащие в лавки за покупками. Попалась беспризорная собака неизвестной породы. Какая-то гувернантка вывела на прогулку мальчика в калошах и девочку с муфточкой. «Дамы стали носить укороченные юбки. Это гораздо удобнее», — отметила про себя Ольга.

— Так, значит, снова на фронт...

Упоминание фронта задело Переверзева.

— Да я и на фронте-то, считайте, не был. Всё какие-то передвижения без понимания, куда и зачем ведут. Чавкал со всеми по непролазным дорогам под дождем, спал на полу в каких-то избах. И это еще считалось удачей. Научился блаженствовать в стогах сена. Голодный, грязный. Дикая, знаете ли, неопрятность на этой войне. И потом, глаза детей, женщин... А в них только один вопрос: «Вы зачем сюда пришли?». Нет, это все тяжело, Ольга Федоровна. При первом же обстреле меня ранило. Так что убивать никого не пришлось. Я не успел сделать и одного выстрела. Не знаю, за чьи грехи расплатился, если следовать батюшкиной мысли. Очнулся — и такое вокруг увидел!..

Они прошли мимо уличной тумбы с наклеенным, ставшим привычным, плакатом «Все на фронт!», возле которой стоял гордогой, проводивший их взглядом. «Странно, странно говорить о войне, о смерти в такой день, когда к солнцу тянется каждая веточка на дереве», — думала Ольга. Она помнила страшную запущенную рану «маленького солдата», помнила, каких трудов стоило его выходить — и вот, снова фронт... А ведь могут убить...

— Я совсем вас не знаю, Арсений Александрович. Расскажите о себе!

— Особенно нечего рассказывать, — ее заинтересованность немного ему польстила, хотя это могла быть и простой вежливостью. — Закончил кадетский корпус, потом Николаевское инженерное училище. Выпущен в Семеновский полк. Отец подполковник, уже почивший. Матушка живет на Васильевском острове. Была невеста, да вышла замуж за другого. Вот и всё.

Пока Переверзев говорил, странная мысль пришла в голову Оленьке: убьют не только его, но и сама она умрет. И та девочка с муфточкой, и ее гувернантка, и все люди, которых они встретили — умрут. Она зажмурилась, отгоняя проступившую вдруг догадку. «Нельзя, нельзя, нельзя... Надо жить... Нельзя позволять этой неизвестно откуда взявшейся мысли разрушать такой прекрасный день», — вступил в борьбу внутренний голос. Ни о чем не подозревающий Переверзев довел свою спутницу до Гороховой, в далеком конце которой виднелся золотой шпиль. Приходила ли ему в голову такая же мысль? Вот он поглядывает сбоку — живой и красивый со своими длинными ресницами и шрамом над губой. Она вцепилась в его рукав. Так в детстве Оленька хваталась за папеньку, когда ей было страшно.

— Ну, куда дальше направим стопы наши? Гороховая улица не самая интересная для прогулок, — заулыбался, глядя на нее, Переверзев.

— Арсений Александрович, голубчик, отвезите меня к реке. Мы с сестрами весной всегда ходили смотреть на разлив Кубани. А в Царском реки нет.

Они поехали на трамвае, потом пересели на другой, пересекли площадь с бронзовым памятником в атрибутах бога войны и вышли на набережную у Троицкого моста. Переверзев немного отстал: побаливала нога. «А мост, мост-то какой красавец!» — восхищалась Ольга, поворачиваясь к нему радостным лицом. От реки, покрытой почерневшими льдинами, несло сыростью. «А это что, чайки? Откуда здесь чайки? А, ну да... Это же Балтика. Море рядом. Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное течение, береговой её гранит, твоих оград узор чугунный... Черт, забыла, как там дальше». Переверзев молчал, поглядывая на нее с нежной снисходительностью. Не получив подсказки, Ольга поспешила сменить тему:

«Там что дальше по набережной, Летний сад?» Переверзев кивнул и, поставив саквояжик на гранитный парапет, попытался прикурить папиросу, прикрывая руками трепещущий огонек спички. Ему было зябко. Подходило время явки в полк. Надо было бы уже проводить ее на трамвай и, поцеловав руку, распрощаться, скорее всего, навсегда, но не хотелось. Хотелось видеть радость на этом печальном лице, слышать милый голос, а женские голоса всегда его волновали. Вот она замолчала. Вопросительно смотрит: «Ну что, пошли дальше?» — покорно берет его под руку. Летний сад оказался закрыт на просушку. Разочарованно идет в сторону Лебяжьей канавки. У решетки с вылетающими из центра стрелами, Переверзев притянул Ольгу за плечи и поцеловал. Словно давно ожидая этого поцелуя, она быстро обняла его в ответ. Он почувствовал на щеке влажный мех ее шубки и легкий запах духов. В госпитале от нее пахло по-другому. Там она была недоступной и строгой, а здесь — близкой и податливой. «Ну вот, ну вот...», — крутилось у Ольги в голове, хотя что такое это «ну вот» она не знала сама. Нужно было что-то сказать.

— Я ужасно проголодалась. А ты? — непринужденная улыбка, будто между ними не происходило нечто важное, изменяющее их жизни прямо сейчас, осветила ее лицо. И он снова ее поцеловал.

Трактирчик нашелся рядом в доме на Фонтанке. За столиком Ольга сняла перчатки. Увидев обручальное кольцо, Переверзев накрыл её руку своей.

— Кто твой муж?

— Полковник, сопровождает Государя с казачьим конвоем.

Половой, обслуживающий пару, принял их за супругов.

— Ты, Тимофеич, до седых волос дожил, а полюбовников распознать не можешь, — высмеяла его повариха, выглянувшая в полутемный зальчик из кухни. — Какая супружница поведет своего мужа кормить в трактир? Да и сидят они, как голубки — вишь, милуются!

— А может быть и так, — быстро согласился тот. — Дамочка знатная, красавица, с обручальным кольцом, однако. А его благородие совсем щенок, видать, на войну уходит. Провожаются.

Посетителей было мало, и парочка продолжала занимать полового. Он ненароком кружил возле их столика, пытаясь под-

слушать разговор. Но те говорили тихо или молчали. В их молчании половой не различал то интимное, что сразу разглядела опытная в любовных делах повариха.

— Неровен час, они и номер у нас в трактире снимут.

Тут повариха ошиблась. Расплатившись, Ольга с Переверзевым вышли на набережную Фонтанки. В наступающих сумерках половому, услужливо придержавшему за ними дверь, было видно, как они сели в пролетку.

Ольга отвезла Переверзева на Захарьевскую, где полковник снимал квартиру в доме с фараонами у парадных дверей. Постучав в дворницкую, она попросила ключ от квартиры у мужика в грязном переднике.

— Тама всю зиму не топлено, барыня. Хозяин-то всегда предупреждал о приезде, — подозрительные глазки зашныряли по Ольгиному лицу и фигуре. — А багаж какой у вас будет? Я вмиг донесу.

— Ничего не надо, спасибо! Простите, запомятовала ваше имя.

— Кузьмин я, Иван.

— Спасибо, Иван, — Ольга сунула рубль в корявую руку и быстро вышла из дворницкой.

Неожиданный приезд жилички был подозрительным. Прихватив метлу, дворник шмыгнул на лестницу, успев разглядеть мужчину в военной форме с саквояжем в руке, поднимающегося на второй этаж. У квартиры Терновского послышались приглушенные голоса, потом грохнула дверь и все стихло.

— Эво как! — смекнул Иван Кузьмин.

В холодной квартире на неразобранной кровати в спальне супругов Терновских произошло именно то, о чем подумал дворник. На груди Переверзева Ольга увидела небольшой образок.

— Это тебе Государыня повесила?

— Да.

— Пусть он тебя сохранит, пусть он тебя сохранит, пусть сохранит!

Но образок не сохранил. Подпоручика убили в летнем наступлении русской армии на Юго-Западном фронте. Ольга Федоровна узнала об этом из газеты, где нашла его имя в списке погибших. К тому времени она была уже на четвертом месяце беременности. Скрывать то, что становилось очевидным, было невозможно. У Сергея Константиновича что-то дернулось в лице, когда обожаемая Оленька сообщила ему об измене.

— Мне это известно, топ аміе. Дворник прислал писулю о твоём посещении квартиры с каким-то офицером. Я ждал, когда ты признаешься, почему-то был в этом уверен, а сейчас должен спросить его имя.

— Зачем тебе?

— Неужели ты не понимаешь, я должен его вызвать.

— Господи, Серж. Он и так уже убит.

Объяснение было тяжелым. В глубине души Терновский знал, что Ольга его не любит и когда-нибудь произойдет то, что произошло. Помнил он и промелькнувшее разочарование в глазах ее матери при их первой встрече, которое потом всегда умело скрывалось. На что же он рассчитывал, делая предложение? Да ни на что. Он просто любил эту женщину до беспамятства. Особенно невыносимым было известие об её беременности. Прощения Ольга не просила, развода тоже. На вопрос «что же теперь делать?» довольно быстро нашелся ответ: уехать на время к сестре в Екатеринодар, а там будет видно.

Забившись в угол купе, под монотонные разговоры пассажиров, Ольга снова и снова вспоминала свою единственную встречу с Переверзевым. «Что же это было? Что же это было?» — спрашивали колеса. «Не знаю. Не знаю», — стучало в ответ. Ей было жалко этого мальчика, сейчас уже мертвого и потому еще больше любимого. В открытой двери темного купе показался силуэт какого-то военного. Как похож! «Ну иди уже, иди! Я напишу, как только узнаю адрес», — сама прогоняла его туда, ближе к смерти. Вот это уже он стоит в дверях, в освещенном прямоугольнике, поворачивается к ней в последний раз, шутливо отдаст честь. Исчезает. Она вспомнила, как после его ухода, выйдя на Захарьевскую, увидела тумбу с черным квадратом на плакате и подписью «Супрематизм живописи. Последняя футуристическая выставка»... Так вот что это такое.

Глава 7

Сонмище ангелов сновало между небом и землей. Земля не успевала перерабатывать мертвые тела в перегной, но в бескрайнем небе, унесенные души сразу находили отдохновенный покой. Генералу Брусилову ангелы в бинокль были не видны. От

застилающих клубов дыма он не мог разглядеть даже то, что творилось на земле. Легкая артиллерия знатно долбила линию фронта противника во многих, как он того и хотел, местах, открывая бреши в заграждениях для прохода пехоты, а генерал был все равно зол, зол как черт. Его Юго-Западный фронт уже неделю вел наступление силами своих армий, а надежды на поддержку соседних фронтов таяли. Звонки из Ставки начинались, как только смолкала канонада. Начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал Алексеев мялся и просил отсрочки для наступления Эверта: мол, не готов. Про Куропаткина даже и речи не велось. «Да я начал первым только для того, чтобы поддержать наступление Западного фронта! Ведь все же было оговорено заранее, а теперь выходит, что мои армии брошены в прорыв без поддержки! — кричал в трубку разъяренный Брусилов. — Повторяется именно то, чего я всячески хотел избежать: наступление одного фронта, которое обречено на поражение. Пока Эверт будет раскачиваться, немцы перебросят против меня свежие силы. Доложите Верховному, что в случае дальнейших промедлений со стороны Западного фронта, я подаю в отставку!» Отставкой он грозил уже не раз. Алексеев царю не докладывал, уговаривал Брусилова продолжать наступление своими силами, обещая прислать дополнительные два корпуса. После таких телефонных разговоров адъютант боялся заходить в комнату к генералу. Площадная брань была слышна даже на крыльце.

— Лютует его высокоблагородие? — сочувствовали денщику оказавшиеся рядом солдаты.

— Доводят человека, — вздыхал тот, понимая простым сердцем правду Брусилова.

А мимо уже вели толпы пленных: десятки тысяч австрийских солдат, тысячи офицеров. «Это куды ж их, сердешных, девать? Это ж их кормить надо, да водицей поить, а где взять стоко? Самим не хватает. И отпустить с богом нельзя. Дома их под ружье — и опять на нас пошлют. Бяда одна!»

Так прошел месяц. Эверт снова не готов, но Юго-Западный фронт прет и прет вперед не останавливаясь. Уставшие от прошлогодних поражений, репортеры всех газет принялись прославлять силу русского оружия. Бывший Верховный Главнокомандующий Великий князь Николай Николаевич прислал Бруси-

лову восторженную телеграмму: «Поздравляю, целую, обнимаю, благословляю». Слова, которые тот запомнит на всю жизнь. Наконец, откликнулся и царь, но крайне сухо и сдержанно. Плевать на царя! Брусилов давно ни во что его не ставил. Главное, Эверту приказано наступать. И Эверт, в конце концов, попытался выдвинуться вперед. В армии ходили слухи, что тянул он не по причине неготовности, а не желая «работать на славу Брусилова». Угробив восемьдесят тысяч человек, он быстро остановился, не оказав практической поддержки Юго-Западному фронту. Такой же плачевный результат получил и Куропаткин на Северо-западе. Вся тяжесть наступления легла на армии Брусилова, которые продолжали вести бои до осени. Волынь, Буковина и часть Галиции отошли к России. На дальнейшее продвижение уже не хватало резервов. К концу октября стало очевидно, что было сделано все возможное имеющимися средствами, а на чудеса никто давно не рассчитывал. Положив под Ковелем русскую гвардию в придачу к полумиллиону солдат и офицеров, Брусилов остановил наступление. Австрияки и немцы потеряли полтора миллиона человеческих душ. Рано выпавший снежок покрыл равнины, усеянные мертвецами, так что ангелам пришлось сновать без усталости на перехвате.

Осенью 1915 года время умереть Алексею Купленову еще не пришло. После артобстрела, уничтожившего всю казачью полусотню, верный Остапенко нашел тело подьесаула, выкинутого взрывной волной из окопа. Вахмистр и сам был ранен, Купленов же получил контузию вдобавок к переломам, но дышал. Вдвоем они перемоглись на развороченной земле до следующего утра, пока их не увидели санитары. Остапенко к тому времени потерял много крови и кончился по дороге в полевой лазарет, лежа расprostертым на дребезжащей телеге. Холодное высокое небо застыло в его глазах, пока кто-то не закрыл их милосердной рукой. Лежащий с вахмистром Купленов выжил, но долго не мог начать говорить. Он бы так и числился неизвестным раненым, если бы кто-то из бывших однополчан не опознал его в госпитале. Тогда-то в дом на Екатерининской улице пришла казенная открытка из Ярмолинцев. Леночка вскинулась в одночасье. Сосед-почтмейстер по ведомым только ему связям

достал ей билет до Проскурова, а дальше, как бог даст. Побросав пару блузок на смену в чемоданчик, она села в вагон второго класса, забитого всевозможным людом. Люд без умолку судачил о наступлении русской армии и подскочивших ценах на мясо и молоко. Кто-то пугал новыми призывами в армию, а кто-то предсказывал скорый конец войне. По вагону шепотком разносили сплетни про мужика, командующего царицей-шпионкой, и про царя, обманутого «енералами»-немцами. Было тесно и душно. Напротив Леночки уселись казак в гимнастерке без погон с молодухой — по всей видимости, женой. Пустой правый рукав был заткнут за ремень, туго перепоясывавший крепкое тело. От этого пустого рукава Леночка не могла оторвать глаз. «Ну вот же, живой и сильный, хоть и без руки. И война для него, слава Богу, кончена», — думала она. Такое пристальное внимание не осталось незамеченным.

— Вы, барышня, богато чего не думайте! Я и одной рукой так женку свою обниму, шо у ей все косточки хруснуть, — глаз под свесившимся пшеничным чубом озорно подмигнул.

Молодайка повела бровью и счастливо улыбнулась, вызвав прилив зависти у Леночки. Разговорились: куда едем, то да сё. Нет ничего проще и откровеннее этих разговоров с попутчиками, когда знаешь, что, сойдя на своей станции, никогда больше с ними не повстречаешься. Леночка представилась Еленой Федоровной, молодуха — Ксаной, её муж, Семен Игнатов, оказался из пластунов, служивших на Кавказском фронте. Молодые достали шмат сала, большую краюху хлеба и степенно предложили Леночке угощаться. Она охотно согласилась, добавив к столу засоленных Дуськой огурчиков и две здоровенные куриные ноги, покрытые желтоватой жирной жижицей. Игнатов на угощения не набрасывался.

— От, лоб перекрестить теперь не могу, а так скажу: «Дякую тобі, Боже, що я казак!» — начал он степенно..

Женщины перекрестились. Потрапезничали. Настало время душевных разговоров. Семен как-то быстро устал и заснул, откинувшись головой назад, время от времени всхрапывая и что-то бормоча. Выслушав Леночкину историю любви с Купленьвым, Ксана убрала кулачок, которым подпирала щеку, и наклонилась к ней через проход, обдав запахом молодого тела.

— Ти ось що, краса неземна, нічого поганого в голови не май. Живий вин и Бога за те дякуй. Я за своим теж ось так в госпиталь издила. Померз вин на тий гори турецькой проклятой. Буркою накрився и поспати прилиг, три доби до того не спав. Так вночи сніг випав и мороз вдарив. Насилу його свои козаки знайшли. Видкопали, а вин вже ноги обморозив, та руку праву, на який спав. Бачиш, руку йому праву в госпитали хирург видняв и по полступни на кожний нози, щоб гангрена цилком його не поила. А по мени вин и так гарний, лиш б живий, та любий.

Неожиданно для себя самой Леночка обняла ее за плечи и, притянув, крепко поцеловала. Дальше они ехали молча: то ли товарки по несчастью, то ли две счастливицы — то ли просто две случайные попутчицы.

От станции Проскурово до госпиталя было верст пятнадцать. Два раза в день оттуда отправляли подводы к приходу санитарных поездов. Теперь Леночка ждала следующего поезда с ранеными и подводы, на которой нашлось бы для нее место. Зима стояла на исходе. Железную крышу станции обнесло частоколом свесившихся сосуллек. На солнечной стороне капель весело долбила лужицы. Поднимающийся над оттаявшей землей прозрачный воздух слегка подрагивал от легкого дуновения ветерка. Возле станционного крыльця, выискивая добычу, расхаживали важные вороны. Из городка несло теплым запахом коровников и оттаявших сточных канав. Леночке захотелось смыть с лица дорожную усталость. У бочки, приставленной к водосточной трубе на заднике станции, крутился какой-то мальчишка в картузе. Он проследил за тем, как красивая барыня, расстегнув шубку, опустила руки в бочку.

— Тама колодець єсть по тропке вниз, тока вода дюже холодная.

— А ты мне польєшь на руки?

— Можно, шож не полить.

Пацаненок важно представился Кузьмой и сиганул вперед по тропинке, шлепая опорками по размякшей грязи. Добралась до колодца и Леночка, осторожно ставя разъезжающиеся ножки, обутые в ботиночки. Кузька вытащил полведра воды из колодца, накрутив веревку на ворот.

— А я знаю, барыня, ты в госпиталь приехала за женихом.

— За мужем... Ой, вода и вправду холоднющая. Лей потихоньку!

Леночка вытерла покрасневшие руки подолом юбки и улыбнулась мальчишке.

— Так ты из здешних?

— Тутошний. Мы с батей на извозе подрядились: раненых на подводах развозим. Уж скоко перевезли, не счесть! А я тебе место схороню у нас. Сбоку сядешь, ножки свесишь и доедешь потихоньку.

— А пешком далеко будет?

— Может и не далече, да в твоей обуви все равно не дойти.

— А когда же поезд придет?

— Раньше, вишь, легко было распознать, дотемна никогда не подходил, а теперича солнце дольше на небе держится. Ну да ты никуда со станции не уходи, я тебя сам найду.

На том и порешили. В зале ожидания, если можно было так назвать просторную комнату с расставленными скамьями, скопилось с десятков женщин, приехавших, как и Елена, к своим мужьям. На их простых лицах легко распознавалась готовность принять тяжесть любых известий. Время от времени из загородки выходил начальник станции и, надев фуражку на потную лысину, отправлялся на перрон встречать составы. Поезда здесь долго не стояли. Довольно скоро он возвращался в свою загородку, где чаще всего дремал под монотонное гудение в зале. К семи вечера в спертом воздухе станции почувствовалось волнение.

— Подводы уже здесь!

— А санитарный? Еще не идет?

Женщины выспали на перрон. Где-то в степи в мартовских сумерках трепыхнулся белый дымок приближающегося паровоза.

— Идет!

— Сударыни, освободите на платформе место для носилок! Дайте проход к подводам! — командовал начальник станции. — Не толпитесь! Чем быстрее разберут раненых, тем вы быстрее доберетесь до госпиталя.

Стоя в начале платформы, в круге света от станционного прожектора, Елена пыталась разглядеть знакомый картуз. Подводы подъезжали одна за другой, но Кузьмы нигде не было. Где-

то через полчаса, тяжело отдуваясь, подошел паровоз с длинной вереницей вагонов. Что-то лязгнуло под его колесами, обдав Леночку паром, и со скрежетом остановилось. Захлопали двери, все заговорили разом. Стало шумно и страшно. Из вагонов хлынули люди на костылях, санитары понесли носилки, наглухо закрытые одеялами, под которыми вырисовывались непривычно короткие тела. «Безногие, безрукие! — выдохнула Елена. — Господи, да где же этот малец?» Ее одолевало единственное желание: бежать из этого места. Кто-то сердитый и деловой руководил погрузкой раненых на подводы. Безучастные до того женщины бросились на помощь. Знакомая дурнота подкатила к горлу Елены. «Если упаду, меня здесь затопчут», — закрутилось у нее в голове.

— А вот ты где, барыня! Айда со мной! Мы двоих уже взяли, ты будешь третьей, — маленький Кузьма ввел Елену в сумерки мартовской ночи, освещая дорогу фонарем.

Облака разошлись по небу, открыв звездам вид на терпеливую землю. Под высоко висящей луной тянулся тракт, забитый подводами. Запах карболки мешался с запахом навоза, раскатанного в черной грязи. Подтянув подол юбки, Леночка забралась на краешек телеги, пристроив чемоданчик и стараясь занять как можно меньше места. Тронулись с Богом. Раненые были лежачими. Один из них все больше молчал, постанывая от боли, когда то одно, то другое колесо наезжало на ухаб, зато другой, молодой подпоручик со шрапнельными ранениями и перебинтованными руками, оказался разговорчивым.

— Нет ли закурить? — осведомился он первым делом у возничих.

Кузьма достал из-за пазухи мешочек с махоркой, заправски свернул длинную «козью ножку» и, повернувшись, вставил ее в обрамленный многодневной щетиной рот подпоручика.

— А прикурить пусть вам барыня даст, — подмигнул он Леночке. — Во! Зажигалка у меня трофейная. Немецкая.

— Так с нами едет барыня? — осклабился подпоручик. — И как же ее величать?

— Елена Федоровна, — с тихим достоинством представилась Леночка вполоборота к лежащим на телеге раненым.

— Сергеев, — коротко назвалса подпоручик. — Вы зажигалкой то щелкать умеете?

— Да.

— Тогда вот что, прикурите-ка эту самокрутку из своего ротика, а? Мне так даже приятнее будет.

Нисколько не смутившись, Леночка прикурила. Вспыхнувший короткий огонек, осветил ее лицо.

— Да вы просто Елена Прекрасная, — восхитился Сергеев. — Курите?

— Нет, — покачала головой Леночка. — Муж курил... Курит... Вот, еду забирать его домой из госпиталя.

— Завидую я ему. За мной такая, как вы, не приедет.

Докурив самокрутку, подпоручик смолк, провалившись в полусон. Под тихие пересуды возникли, неловко опустив голову, задремала и Леночка. Ей снился Купленов, выходящий из церкви. Она не видела ни его лица, ни фигуры, но знала, что это был он.

К полуночи разгрузка и распределение прибывших раненых закончилась. Теперь оставалось дожидаться сведений о находящихся в госпитале больных, за которыми приехали женщины, терпеливо рассеявшиеся в вестибюле большого двухэтажного здания. Их вызывали по очереди к столику пожилого господина, листавшего толстую тетрадь учета. Купленов Алексей Николаевич лежал во втором корпусе.

— Через эту дверь во двор направо, сударыня.

Второй корпус оказался обыкновенным бараком, пройти к которому можно было по досточкам, проложенным поперек весенней дворовой грязи.

— Купленов скорее всего сейчас спит. Мы даем ему сонные порошки, — сквозь круглые стекла очков на Леночку смотрели голубые глаза с красными прожилками от постоянного недосыпания. Похоже, милой сестрице милосердия самой не мешало бы поспать хотя бы несколько часов. — Но вы пройдите к нему. Там уж переждете как-нибудь до утра.

Леночка медленно шла по длинному полутемному проходу, пытаясь унять громко стучащее сердце. По обе стороны на больничных кроватях лежали люди, не имеющие к ее жизни никакого отношения. Их было много. «Не нужно спешить, не нужно спешить. Это не он... Нет... Этот тоже не он... И это не он...». Вот и конец барака. «Не узнала. Нестрашно. Все равно найду!» Она повернула обратно, все так же пристально рассматривая лица спящих людей.

— Да вот же ваш Купленов! Идите сюда! — голубоглазая сестрица светила керосиновой лампой, поднятой над головой.

Подойдя к кровати, на которой лежал неузнанный еще несколько минут назад, а теперь уже такой родной и близкий, как в недавнем сне, человек, Леночка опустилась на колени и прижалась лицом к шершавому больничному одеялу. Нашла.

— Ниче, барыня, оклемается твой казак потихоньку, — заверил ее Кузьма на следующее утро, подсаживая Купленова на подводу. — Вишь, кости у него все целы, он не то што б мучается, а скучает маленько, так это пройдет. Ты никого не слушай, верь мне. Я тут такого нагляделся, сразу могу сказать, кто помрет, а кто ишо повоюет.

Доктор, выписавший Купленова из госпиталя, так оптимистично настроен не был. Переломанные ребра срослись, а когда восстановится речевой аппарат, если восстановится вообще, он сказать не мог.

Глава 8

Ничего не осталось у Надьки после смерти Симона: ни рбенка, ни дешевой скрипки, подаренной кем-то из боевых товарищей, ни памяти об их первых сумасшедших годах в изгнании, нищете и страхе быть арестованными. Даже писем его не осталось, потому что писал он эти письма в уме, и так же она ему отвечала. Кончились деньги, сбереженные на черный день. Надька высохла и стала походить на ворону в своей старой черной юбке, опоясанной мужским ремнем, и в платке, покрывавшем торчавшие в разные стороны лохмы. Товарищи по партии подкармливали её, но никак не могли пристроить работать, хотя бы за гроши. Осенью шестнадцатого года в Париже снова появился человек с каменным лицом. Он провел несколько секретных сходов бывших членов боевой организации, на которых поставил перед ними новую задачу текущего момента: агитация. Есть надежные свидетельства перемен в настроении армии. Война затягивается, солдатско-крестьянские массы не понимают, за что воюют на чужой земле. После кровопролитных двухлетних боев потеряна основная дворянский офицерский состав. Восполнение идет из прапорщиков, разночинцев и мещан. С ними и придется теперь работать, товарищи: это наш материал! А как же террор? Мы не

отказываемся от главной партийной тактики. Но сейчас важнее сохранить связь с массами, не превращаясь в загнанную глубоко в подполье кучку заговорщиков. На одной из сходов он скользнул глазами по изможденному Надькиному лицу:

— Кто такая?

Ему пошептали.

— Пусть возвращается. Нам нужны свои люди в казацкой массе.

Судьба Надьки была решена. Вот так и получилось, что все три сестры встретились в родном доме на Екатерининской осенью 1916 года. Среди сумасшедшей бойни он снова стал пристанищем тишины и любви, но ненадолго.

Недовольная Евдокия вернулась с базара. На кухне она в сердцах швырнула кошелку на стол.

— Головка цукру скоро буде дорожче телиця. Я не зрозумію, на Кубани буряка бильше немає або що? Я ось що думаю, чи не час нам на станицю Мар'инську всім податися? У будинок цей мешканців пустити, або зовсім продати.

Беженцы забили Екатеринодар. Особенно много среди них было армян. Глазастые детишки протягивали тонюсенькие ручонки, прося еды. Им подавали, кормили в специальных столовых, пускали жить в богадельни. Благотельница Софья Иосифовна Бабыч сбилась с ног, пытаясь пристроить людей, бегущих от войны, но даже она была бессильна помочь всем. Цены на продукты росли каждый день. Недовольные горожанки вцеплялись в бороды спекулянтов, их мужья грозили разворотить купеческие склады, мальчишки били витрины магазинов. До погромов дело не доходило, казацьки раз'їзды снова патрулировали город, но атмосфера накалялась и не предвещала ничего хорошего. К словам практичной Дуськи никто не прислушался, а мыслила она вполне здраво. Правда, с возвращением Купленова, денег в доме прибавилось, но прибавилось и забот. Леночка таскала его по врачам и, по совету Софьи Иосифовны, пристроила в только что открывшуюся в Екатеринодаре водолечебницу. Алексей покорно следовал за ней, оставаясь безучастным и хворым с виду. И все же время проделало и с ним чудодейственное исцеление: к концу лета он в первый раз произнес имя жены. И как когда-то

он боялся спугнуть невольным жестом явившееся ему чудо с растрепанной каштановой косой через плечо и заплаканными глазами, так, услышав свое имя, Леночка, испуганно сдержала дыхание, лишь подняв и быстро опустив плечи, боясь подступающими слезами спугнуть первое выговоренное с таким трудом слово. Речь медленно приходила к Купленову вместе с окрепшей надеждой на возвращение к прежней жизни.

О своем приезде Ольга Федоровна никого не известила и холодно отстранилась от Леночки, когда та кинулась ей на шею в прихожей. Леночка сперва обомлела, но, разглядев утомленное лицо сестры и ее располневшую фигуру, чутко поняла, что тут было что-то не так. Расспросила только о дороге и сразу отвела в бывшую сестринскую светелку, куда когда-то, давным-давно, бегала с Надькой шушукаться по ночам. Дверь в эту комнату не запиралась, но всем было понятно, что ломиться туда с разговорами не надо. Только одна бесцеремонная Тамарка, ковылявшая по всему дому на кривоватых ножках, забрела один раз в гости к своей безучастной тетке, но тут же была выведена прочь. На третий день пришла телеграмма от Сергея Константиновича с просьбой сообщить о состоянии жены.

— Да, да, — подняла голову с подушки Оленька, — напиши ему, что все в порядке.

«Какое, к черту, “в порядке”, — пожала плечами Елена. — Что у них там стряслось? Насколько всем было бы легче, будь жива маменька, да вот нет ее». Она торопливо перекрестилась. Ставшая привычной за последние месяцы тоска, сжала сердце. На кухне Дуська разговаривала с какой-то женщиной. Голос, вроде, знакомый. Это кто ж такая? Прихватив на руки Тамарку, Леночка спустилась на первый этаж и замерла в дверях. Господи! Неужели? На нее уставилось постаревшее, но такое родное лицо сестры Надьки.

— Это что у вас там за переполох? — крикнула из гостиной Марья Игнатьевна. — Иль почтальон пришел?

Надька палец к губам прижала: мол, молчите. Дуська давно так не удивлялась, аж рот приоткрыла, глядячи на явившееся с черного хода чудо.

— Марья Игнатьевна, это Тамарка муку по кухне рассыпала. Вот я ей сейчас! — Леночка кричит, а сама дочку к себе прижимает, и слезы у нее по щекам текут.

— А помнишь, — говорит Надька, и голос у нее тихий, а не как всегда, громкий и скрипучий,— помнишь, как мы Симона в погребе здесь прятали? Как бы меня теперь не пришлось там держать.

— Ничего не бойся. Здесь все свои. И Оленька тоже приехала. Алешу я больного из госпиталя привезла. Лечим, как можем. Все собрались, а вот нянюшка и мамочка померли. А ты и не знаешь. Они тебя вспоминали, особенно мамочка, перед смертью.

И ведь правда, давно Нади дома не было. Это сколько же лет она скиталась? Лет десять, если не больше. Кто ж такой Алеша? Должно быть, муж. А вместо Капы — девка горластая на кухне. Бессильно усевшись на стул, Надька оглядывалась вокруг: нянюшкины ходики все так же висят на стенке. Хорошо! Сковородки, кастрюли, знакомые запахи. Может, ей и самой давно домой хотелось, да она старалась не думать об этом. О чем же думала? Какое это имеет значение. Сейчас. Уже здесь. Нельзя сюда приходить, только ноги сами привели, и будь что будет. Меж тем Дуська прикидывала, где разместить пришелицу. Кто это такая, она быстро смекнула. В свое время Капа поведала ей историю одной из сестер Безладновых. Идея с погребом не показалась Дуське такой уж абсурдной. Она заперла на ключ всегда открытую кухонную дверь с черного хода. На всякий случай.

Как это ни странно, но больше всех обрадовалась появлению сестры Ольга. Кровать Надьке поставили в ее комнате, и сестры проговорили всю ночь. Леночка не могла на них нарадоваться. Купленова неожиданное появление пропадавшей много лет неизвестно где свояченицы скорее озадачило. Марья Игнатьевна же, перекрестившись на фотографию есаула Безладнова в гостиной, принялась раскладывать очередной пасьянс.

— Вот ты говоришь, — начала Ольга, — у тебя мальчик умер маленький. — Зажмурившись от боли, Надька затрясла головой. — А я на пятом месяце беременности не от мужа. Не знаю, что делать. Любила-то всего один денечек. На войну проводила, а он там и сгинул.

— И Симона убили... Рожай, не думай ни о чем! Пусть дите будет! Маменька бы так сказала.

Но что бы маменька сказала, узнав, что Надька не под своим именем вернулась в Екатеринодар, пробираясь через линии фронтов, рискуя быть схваченной, да и просто убитой шальной

пулей — и совсем не для того, чтобы остаться в родном доме, а чтобы выполнять задание какой-то непонятной ей, маменьке, партии, во имя какой-то непонятной цели. Как было просто и счастливо, пока она была жива, и как обернулось все мукой и страданиями для взрослых ее дочерей, еще так и не знающих, что главные испытания их ждут впереди.

— Эс-се-рка-а, — насмешливо протянул Купленов. — Это что ж за птица такая, Надежда Федоровна? Террористка, по-нашему?

Его тянуло объясниться с сестрой жены, пока в доме было тихо: Леночка ушла гулять с Тamarкой на бульвар, Ольга не выходила из своей светелки, Дуська мирно беседовала с Марьей Игнатьевной на кухне.

— Методы борьбы бывают разные. Я верю в террор, как начало революции, но сейчас партия поставила передо мной другую задачу, — Надька сидела напротив зятя, глядя ему в глаза и решившись говорить открыто. — Я не могу не бороться, Алексей Николаевич, готова отдать жизнь за то, чтобы по всей России разгорелся пожар.

— Кубань не Россия. Казак не мужик. Тут мы пожаров не допустим. Опасное вы затеяли дело, Надежда Федоровна! Вам себя охота губить — пожалуйста! Но у вас сестры, в доме дите малое: ими-то к чему рисковать? А ну, увидит кто? Узнает, да и донесет? По судам и тюрьмам еще не скитались?

— Я скиталась на чужбине. Не сладкий там хлеб, сразу скажу. Кое-что повидала. Тюрьмой меня не испугать, а сестер, вы правы, подводить не буду. Дождусь сигнала и сразу же уйду.

Алексей тихо кивнул. Говорить больше было не о чем, но они продолжали сидеть друг против друга, словно в каком-то оцепенении, пока голос ребенка, вернувшегося с прогулки, не наполнил дом.

Зарядили дожди. Почернел камыш на берегах реки Кубани, потемнели ее воды. Осень обещала плавно перейти в зиму. Из каких-то тряпок, найденных в маменькиных сундуках, Дуська пошла для Надежды пару юбок, пригнала ей по фигуре свое старое пальто. В укромном месте уже давно хранился чемоданчик со всем необходимым для быстрого отъезда. Ожидаемый сигнал не приходил. Купленов стал чаще поглядывать на свояченицу. Взгляд не торопил, но как бы задавал понятный вопрос. Стоя у окна за портьерой, Надька подолгу смотрела на улицу, потом

передергивала в нетерпении плечами и уходила в комнату к Ольге. Та все не поднималась, вызывая большие опасения у доктора, навещавшего беременную, за жизнь ребенка. Подавленное состояние будущей матери плохо сказывалось на сердцебиении плода. Худшие прогнозы сбылись. Дело закончилось преждевременными родами и смертью недоношенного мальчика. Его тельце обернули в расшитое полотенце, положили в гробик, напоминающий деревянную шкатулку, и закопали рядом с могилами деда и бабки. Ольга оправилась довольно скоро. Ребенка этого она не хотела — все решилось само собой, но наполнило ее жизнь тоской. Сестры смотрели на нее, пряча слезы. Леночка бегала в церковь по утрам и неизменно ставила свечку за невинного младенца. Она же написала Сергею Константиновичу, который довольно скоро разразился длинным письмом Ольге, умоляя вернуться к нему. Та задумалась. Кто же не знает целебного свойства времени. Помогло оно и сейчас. Появившаяся Софья Иосифовна втянула Ольгу в благотворительные концерты, и та как-то перенесла в музыку свои переживания, вспомнила, как муж обожал ее исполнение, вспомнила восхищение в его глазах, обращенных на нее. «Что же это было?» — снова и снова спрашивала она себя, пока не услышала сначала приглушенный, а потом все более и более четко проступающий ответ: ничего. Не было ничего. А если что и было, то его не стало. На этом Ольга Федоровна подхватила и уехала к мужу, известив телеграммой о своем возвращении.

— Конечно, Екатеринодар стал для нее чем-то вроде Миргорода, а мы с тобой как Пульхерия Ивановна и Афанасий Иванович, — Купленов следил за тем, как проворные Леночкины пальцы заплетают каштановые волосы в косу и обматывают эту косу вокруг головы. — Нет, ну правда, Алексей, о чем ты думаешь?

А думал он о том, когда же наконец придет проклятый сигнал и вызовет Надьку из их дома, но про мысли свои не сказал, а притянул к себе жену, вытащил из ее волос заколку, расплел косу и рассыпал любимые каштановые волосы по плечам. Надька исчезла на Святки.

В доме на Магазиной было тепло и тихо. Обрадованная Варенька посвятила Ольгу во все новости, случившиеся, пока она гостила у родных в Екатеринодаре.

— Два раза заезжал Фон Дрентельн, играл с баринoм в шахматы. Барин сам все в разъездах. Грустный. Нынче приехал с конвоем с фронта. Скоро придут-с. А елку в этом году ставить будем али как?

Вечером Сергей Константинович опустилсЯ на колени перед женой, сидевшей с ногами в кресле у камина, и, целуя ее руки, повторял снова и снова, словно нянюшка из далекого детства:

— И это пройдет, милая. И это пройдет.

Сердце, а может, трезвый ум подсказал ему верный выход из, казалось бы, безвыходной ситуации: он ни одним словом не упомянул то, что произошло с женой. Немного ожив, Ольга принялась расспрашивать о его делах, придворных сплетнях. Государыня со всем семейством навещала царя в Ставке. Николай был счастлив. Про Лазарет Терновский ничего сказать не мог. Не знал. Но черт бы все побрал! Тут Сергей Константинович распалился. Посыпались слова: Дума, Протопопов, старец, министерская чехарда. Слухи. Слухи. Слухи о государственной измене. А тут еще эта Вырубова! Любовница царя! И эти ... как их ... карикатуры на царя с царицей и Распутина. И кто только придумывает эту мерзость! Он вдруг нервно заходил по комнате. Глядя на него, Ольга поняла, как глубоко это его волнует и как угрожающе звучит произнесенное слово: «катастрофа». Господи, помилуй! Еще одна! Царица не может, не может назначать министров по слову Распутина. Дожили! Дума против царя! Это же самоубийство, новая революция. Многие при дворе это понимают, Великие Князья это понимают, но только не она! Она! Она не понимает, что должна отступить, перестать давить на бедного царя, который как между молотом и наковальней. Что-то тягостное и тревожное вошло в душу Ольги. Она вспомнила милое круглое лицо «Ани» с ямочками на щеках, ласковые невинные голубые глаза, расплывшуюся фигуру. Нет, невозможно. Все ложь и клевета. И та бедная святая женщина, отдающая всю себя другим. Где верноподданные? Где благодарные? Полгода Ольги не было в Царском — и как все изменилось! Смутные предчувствия заслонили ее прошлое. Вопрос «Что это было?» исчез. Его вытеснил вопрос «Что же будет?»

— А мы тут без вас скучали, — Дрентельн был рад возвращению Ольги.

Хотя Терновский и объяснял отъезд жены какими-то семейными обстоятельствами, требующими ее длительного присутст-

вия в Екатеринодаре, Александр Александрович не верил этим объяснениям, улавливая несчастные ноты в голосе друга. Он и сам редко бывал теперь в Царском, получив «генерал-майора» и командование лейб-гвардией Преображенского полка, отличился в летнюю кампанию. «Как славно, что они воссоединились!» — думал он, устраиваясь поудобней у камина и потирая по какой-то странной новой привычке руки.

— А мне-то как вас не хватало! Было не с кем играть в четыре руки, — Ольга оживилась при появлении гостя, — да и о музыке не с кем особенно разговаривать. Я еще не поздравила вас с наградой. Немного отметим, ладно? Прошу строго не судить за некоторую скромность нашего стола. Зато есть шампанское.

— Знаю, милая Ольга Федоровна. Снабжение налажено из рук вон плохо. Если дело и дальше так пойдет, можно ожидать всяческих проявлений недовольства, — грустная улыбка тронула губы фон Дрентельна.

Господи, опять эти тревожные ноты! Шампанское французское — на этот раз не от союзника, а от Елисеева — немного ударило Ольге в голову: она давно не пила. Обернулась к мужу с прежним мягким выражением глаз. Он тут же это заметил и обрадованно попросил:

— Душа моя, я соскучился по твоему Шопену.

Пока она перебирает пальцами этюды, посматривая на мужчин, сидящих немного в стороне, те говорят об армии. Слава Богу, ситуация со снарядами улучшилась настолько, что не вызывает опасений. Войну можно продолжать, развивать успех, давить на растянувшуюся немецкую линию фронта. Что она в этом понимает? Впрочем, дела, кажется, не так уж и плохи. Муж закуривает сигару. Не забыть сказать Вареньке, чтобы вычистила все пепельницы. Но почему тогда Дрентельн говорит о гибели русской гвардии, каких-то настроениях в армии? Где она уже слышала об этих самых «эсерах»? Память подсказывает: лицо Надьки в черном платке. Готова умереть за революцию... Опять это пугающее слово. Еще глоток шампанского. Вальс, мазурка, снова этюд. Н-е-е-т. «У казаков я такого настроения не наблюдал. Про всех не скажу, но за конвой ручаюсь. Лично преданы всему семейству. Я оставлен при Александре Федоровне особым распоряжением Его Величества». Как хорошо! Есть в нем какая-то надежность. Пусть будет как будет.

Ночью, прислушиваясь к тихим шорохам засыпающего дома, Ольга думала о том, что в Новый год елку поставит непременно. «Схожу с Варенькой в Гостиный и выберу самую пушистую». Но следующий день принес столько волнений, что о елке все и думать забыли. Терновский отправился на службу, как только стало чуть светать, но уже через час позвонил жене с тревожной новостью: пропал Распутин.

— Как это пропал? — не поняла спросонья Ольга.

— Предчувствия у всех дурные, — настроил ее на соответствующий лад Сергей Константинович. — Боюсь, это плохо кончится. Возможно, к обеду обстоятельства его исчезновения прояснятся.

Тревога во дворце усиливалась. От доктора Боткина стало известно о плохом самочувствии Государыни. Это все, что узнал Терновский за день. По Александровскому дворцу расползлись слухи о Великокняжеском заговоре против царицы. Хотя Конвой продолжал нести привычную службу, Терновского оставили дежурить на ночь. Дома Оленька томилась от волнения и неизвестности. «И почему это я безвылазно сижу дома? — спрашивала она себя, — Завтра же вернусь в Лазарет. У нас что, война закончилась? Нет больше раненых? Никому не нужна моя помощь?» Ей хотелось быть среди людей, чтобы разделить с кем-то наползающее ожидание страшных перемен. Вечером горничная принесла экстренный выпуск «Биржевых новостей». С Распутиным было покончено.

Княжна Гедройц приветливо встретила появившуюся Безладнову-Терновскую:

— Да, работы по-прежнему много. Всегда рады лишним рукам, — забасила она. И не дожидаясь расспросов, сообщила Ольгу о том, что Государыня у них бывает теперь редко, а госпожу Вырубову из-за многочисленных угроз переселили во дворец, и в Лазарет ее сопровождает здоровенный мужик-охранник.

— Если честно, я бы предпочла ее здесь больше не видеть, опасаясь за ее жизнь, конечно. Бог его знает, — княжна поспешно перекрестилась, — куда это все катится, ну да ладно, пойдемте со мной на обход. Посмотрите, что тут у нас нового.

Что там было нового? Новые раненые, в основном. Порядки оставались прежними. «Вот и хорошо, я там, где должна быть», — Ольга надела апостольник и пошла раздавать больным лекарства.

— В убийстве замешаны Великие князья: Феликс Юсупов, Дмитрий Павлович. Подвизался Пуришкевич. Князья уже под домашним арестом по приказу императрицы, Пуришкевич срочно уехал на фронт. Знаешь, *mon amie* у меня такое чувство, что они давно это затевали, да долго не могли решиться. Видишь ли, смерть Распутина может и на самом деле спасти династию. Только бы Государь не поддавался больше этой женщине. Влияние ее на него огромное, но все за что она берется губительно. Губительно! Говорят, она его вызвала из Ставки.

Замученный подряд двумя бессонными ночами полковник сидел за столом в гостиной в расстегнутом мундире и со всклокоченной бородой.

— Ну это же прекрасно, Серж! Они вместе встретят Новый год.

— Ох, боюсь, накрутит она его. Новая Дума должна созываться в январе. Дотянуть бы уже абы как! Со всех сторон кричат черт знает что!

Телефонный звонок прервал Терновского. Он торопливо удалился в кабинет, откуда до Ольги донесся его приглушенный голос. Кажется, все обошлось. Ей было слышно, как закончив разговор, полковник, кряхтя, стянул сапоги, повозился с китем, из карманов которого что-то посыпалось на пол. Немного погодя заскрипели пружины диван. «Пусть поспит!» — прикрыв дверь в кабинет, Ольга устроилась в любимом кресле у камина. Впервые за долгие месяцы она забыла свои горести. Мысли ее унеслись к той, которая жила в Александровском дворце в окружении охраны, любимых Ольгой Кубанских казаков. За покой и неприкосновенность царской семьи отвечал ее муж. Он был надежным и верным человеком. Теперь, как никогда, Ольга оценила его порядочность и благородство. Откуда же это беспокойство? От бесконечных разговоров, наводящих на нее тоску. Распутин, положим, мужик был страшный, но, если его сила, Бог знает какая, помогала лечить несчастного мальчика, зачем надо было его убивать? Она ни одной минуты не верила в греховность Государыни, понимая, что все ее поступки, ошибочные или нет, были продиктованы любовью к сыну, мужу, чудным прекрасным девочкам. Не в силах справиться с вдруг навалившимся волнением, Ольга подскочила и быстро одевшись, выбежала из дому. Дойдя до конца Мага-

зейной, она свернула к Александровскому парку и, стоя у ограды, стала искать глазами хоть одно зажженное окно во дворце. Все окна были темными. Ветер раскачивал ветви величественных деревьев, шел мелкий, как крупа, снег.

— Про-о-ходи! — окрикнул заметивший ее часовой.

Глава 9

— Она несчастнейшая женщина, пытающаяся спасти трон, но не понимающая, что надо для этого делать.

Новый 1917 год чета Терновских снова встречала с семейством лейб-медика Боткина в доме на Садовой. Государыня плохо себя чувствовала, Евгений Сергеевич виделся с ней почти каждый день и знал ее состояние.

— Тут давеча, — продолжал он, — я застал ее в слезах. Принялся осторожно выяснять причину расстройства. Оказалось, Великая княгиня Виктория Федоровна говорила о неприязненном отношении к ней общества. Пыталась, так сказать, открыть глаза. И что? Она не верит. Говорит, только развратное петроградское общество ненавидит, а Россия подлинная, Россия простых людей и крестьян ее любит.

— Но это так, — не выдержала Ольга Федоровна, — мы-то с вами, милый доктор, знаем, как ее обожают раненые, знаем, сколько она сделала для этих самых простых людей. Меня глубоко задевают попытки очернить ее имя.

— Вы давно не были в Петрограде, — Евгений Сергеевич посмотрел на Ольгу поверх очков, сидящих у него не кончике носа. — Обстановка там отличается от здешней. Город наводнен войсками, пришедшими недавно с фронта и не желающими продолжения войны. Насколько они будут верны монархии в случае беспорядков, сказать сложно. Меня не оставляет ощущение, что мы накануне серьезных событий. Но давайте не забывать о Новом годе! Это пока еще праздник.

Проводили старый год, порадовались, что он, наконец, закончился. Что-то принесет с собой новый? Загадали желания. Хорошо бы, все обошлось. Пусть закончится война, рассосется недовольство, утихомирится народ, соберется с мудрой силой власть. Только верится в это с трудом — вернее, не верится со-

всем. И все же, как славно, что есть друзья, есть гостеприимный дом, есть свет абажура, освещающий милые лица близких людей. Что будет, то и будет. И никто не сможет остановить ход того, чему суждено случиться.

В полночь в небольшой часовне Александровского дворца отслужили новогодний молебен, сердечно поздравили друг друга и перецеловались. Государыня не присутствовала, ссылаясь на плохое самочувствие, что не помешало ей поехать на следующий день в Инвалидный дом с новогодними подарками. Как всегда, с ней дочери. Николай в это время принимал поздравления министров, дипломатов, свиты. Ужасающие предсказания с требованиями немедленных действий сыпались на его голову. И всем казалось, что он готов к решительным мерам: отправиться в Думу, создать «Министерство народного доверия», отстраниться от неё и не следовать Её пагубным советам. А она думала, что он останется, не поедет в Ставку, защитит ее, ведь кругом уже в открытую говорят о заговоре против императрицы. Но нет. Вот он входит с телеграммой от генерала Алексеева в руке. Она удивленно поднимает брови:

— Неужели ты не можешь остаться?

— Генерал настаивает на моем приезде. Не представляю, что там могло случиться. Придется проверить лично. Я сразу же вернусь.

В Ставке всеми отмечено полное отсутствие интереса главнокомандующего к обсуждению военных действий на 1917 год, да никто ничего определенного и не предлагает. Собственно, определено только одно: снабжение войск продовольствием будет значительно ухудшаться. Кто-то предупреждает о закипающем негодовании армии против тыла. Надо что-то делать, господа! Да-да... А что делать? Тот же вопрос задают на заседаниях думцев в Петрограде. «Надо-надо что-то делать!» — слюна от многочисленных восклицаний капает на несвежие манишки. Вот и прибывший с фронта генерал Крымов говорит о развале армии. Солдатики не желают больше воевать. Бегут из окопов! Да-с! Переворот! Нужен переворот! Позвольте-позвольте! С царицей все понятно. А что делать с Николаем? К черту Николая! Если Николая к черту, то кто же вместо него?

— А не поехать ли тебе, mon amie, в наше имение? Навестить тетушку, подышать свежим воздухом. Бог даст, тут через месяц-два все и успокоится, — Сергей Константинович вопросительно заглядывает Ольге в глаза. Та качает головой: «Нет уж, вместе так вместе до конца! Да и работы в Лазарете много, а в имении я с ума сойду от безделья и страхов».

У Терновского тяжело на душе. Ему заступать на дежурство. Императрица не выходит из покоев: дети больны корью. У всех жар и беспамятство. Стоило уехать Государю — и все повалилось. Сергей Константинович перекрестился на приглушенный звон колоколов Федоровского собора, вспомнил, как строил караул провожать царя до Имперского павильона, откуда отправлялся поезд в Могилев. Почему у него такое чувство, что он видел Николая в последний раз? Не потому ли, что Воейков утром телефонировал из Ставки о массовых беспорядках в Петрограде? В Могилеве знали лучше о том, что происходит в столице. Это что же, началось? Остаются ли верными казачьи части в Петрограде? Генерал Ресин, командующий Царскосельским пехотным полком, отменил увольнительные: солдаты привозят из города подрывную литературу. Терновский тут же опросил своих кубанцев. «Подсовывали в поезде, — сознался один из казаков, — но шибко умно написано, ваше высокоблагородие, это не для нас!» Нет, в конвое Его Величества Терновский уверен. Но их всего двести человек. В случае революции толпа непременно повалит из Петрограда в Царское. Не будет ли безопаснее отправить семью в Ставку под защиту регулярных войск?

— Мне было бы спокойней, если бы ты сидела дома, — говорит он уже в дверях. За ним приехал автомобиль. — Буду телефонировать. Ну, правда, Осик, сиди дома и не высовывай свой носик!

Наморщив этот самый носик, Ольга целует мужа и закутывается в шаль.

— Помоги ему, Господи! Всем нам помоги!

Но Господь на другой стороне. У него свои планы. Революция, начавшаяся в Петрограде, перекидывается в Царское. Вспокоенная Варенька прибегает из лавки.

— Стреляют в Софии. Из пулеметов: тра-та-та-та! Жуть! Тетки говорят: стрелки взбунтовались, палят по начальству. Пойдут царичу скидывать. Сюда, значит, к нам. А нам что делать?

— Да ничего не делать, Варя. Сядем тут и будем ждать. Вот Сергей Константинович не звонит, это плохо.

Терновскому было не до жены. Известия о событиях, происходящих на улицах сонного еще два дня назад городка, хлынули во дворец. Восстал Царскосельский гарнизон. Сорок тысяч человек. Вооруженная толпа выкатилась из казарм, покатила к городской тюрьме. Бревнами снесли ворота, освободили заключенных, подожгли канцелярию со всеми бумагами. Потоптавшись на пепле, кинулись праздновать победу: громить винные лавки и погребка. Все вооружены, пьяны, возбуждены. Кто-то из разбитого подвального окна подает бутылки. Горлышки отбивают штыками. Губы, десны и руки в порезах, кровяца стекает по красным воспаленным рожам. Гуляют всю ночь. А кому-то уже не терпится ринуться к дворцу, где мечется ненавистная царица. Кто-то ведь и дошел до Александровского парка, да дальше пропущен не был. Разъезды казаков конвоя Его Императорского Величества растянулись вдоль ограды, зенитная батарея пальнула из орудия поверх толпы, ошестинившейся штыками. Толпа схлынула. Поздно вечером императрица устроила смотр оставшимся верным ей войскам. К главному подъезду дворца Терновский вывел развернутым строем две сотни казаков конвоя, рядом встал Гвардейский экипаж великого князя Кирилла и пехотный батальон. Сбоку прилепились два орудия на автомобильной платформе. Вот и все. А уже утром остались только две сотни казаков. Князь увел Гвардейский экипаж в Петроград присягать Государственной Думе. Пехотный батальон переметнулся на сторону местных восставших. Царица спустилась к конвою. Вместе помолились. Терновский успел позвонить домой: закрыть двери и окна, в случае стрельбы прятаться в подвале. Голос бодрый. Ольга отвечала спокойно. И тут телефон замолчал. Связь с дворцом прекратилась.

Мороз покрыл окна дома белым сказочным узором, через который было не видно происходящего вокруг. Истоппник, помогавший Вареньке с печами и камином в доме, уже три дня как не показывался.

— У-у-у, бесстыжий! — злилась она. — Магазин-то Лисицина на Оранжевой солдатике давеча разгромили, так он туда все бегал, вот и налился, видать.

— Это какое же сегодня число? — спохватилась вдруг Ольга.

— Да первое марта было с утра.

— Бойся мартовских ид!..

Каких таких ид надо бояться, Варенька не поняла. Ее страхи были вполне конкретные: в подвале жили мыши, и она не любила спускаться туда одна. Пришлось Ольге помогать. Пока, гремя ключами, открывали двери и таскали наверх поленья, в ее голове созрело решение выйти из дома. Ожидание беды казалось невыносимее самой беды. Закутавшись, она выбежала на улицу. Навстречу шли оживленные люди в военной форме с красными бантами и флагами. Много людей. Где-то гремела «Марсельеза». У Боткиных дома сидела одна Татьяна, дочь Евгения Сергеевича. «Папа велел паковать чемоданы. Он хочет, чтобы мы сегодня же уехали, — сходу сообщила она. — Еще он говорил, что восставшие солдаты в Петрограде расстреливают офицеров, которые не переходят на их сторону». Ольга почувствовала головокружение. «Танечка, стакан воды, пожалуйста!» — последнее, что сказала она, проваливаясь в темноту.

А уже через час ноги несли ее в сторону Александровского дворца. Давно не расчищенный парк был завален снегом. Перед входом во дворец казаки в тулупах грелись у костра. Сквозь шум ветра доносились обрывки родной кубанской речи, ржание лошадей, смех. Прильнув к ограде, Ольга стала ждать разъезд, показавшийся из-за деревьев.

— Нельзя ли повидать полковника Терновского? Скажите, его жена тут, — крикнула она, удивляясь силе и громкости своего голоса.

Ее услышали, оглядели одинокую фигуру, прижавшуюся к чугунным прутьям ограды. Один из казаков кивнул и направил коня в сторону дворца. Терновский выскочил в накинутаой шинели. Он повел ее мимо часового в боковую дверь, потом какими-то коридорами с тяжелым запахом махорки и мужского присутствия, держа за руку и говоря нежные любовные слова, которые она даже не слышала от волнения и шума, стучащего в голове. Наконец, в небольшой натопленной комнате усадил ее на кожаный диван и, встав перед ней на колени, с каким-то отчаянием стал целовать ей руки, склоненное к нему замерзшее лицо.

— Да. Да. Да, — бормотала Ольга. — С тобой. С тобой. Сейчас. Навсегда.

Дверь комнаты распахнулась, застывший от неожиданности офицер остановился на пороге:

— Тысяча извинений, господин полковник! К нам добрались верные казаки конвоя, расквартированного в Петрограде. Сотня почти в полном составе перешла на сторону Думы. Они там все толпятся вокруг Таврического дворца.

— Плохие новости, — поднялся с колен Терновский. — Не ожидал я измены от казаков. Не ожидал. Есть ли что-нибудь от Государя?

От Государя никаких вестей не поступало. Телефоны молчали. Телеграммы, посылаемые царицей, возвращались со словами «Место пребывания адресата не известно». Эта неизвестность изводила людей. Особенно тяжелым было положение женщины, которая томилась наверху — с больными детьми на руках, в изоляции, покинутая и преданная теми, кто еще день назад заверял ее в верности.

— Цезарь, бойся мартовских ид, — тихо сказала Ольга, и на этот раз ее поняли.

Уже дома, вспоминая мгновения прощания с мужем у будки с часовым, она чувствовала связанность и зависимость их жизней от страшных надвигающихся событий. И события последовали. История сорвалась. Жизни перевернулись. На третий день шум и пальба в воздух известили о чем-то важном. Варенька вызвалась сбегать узнать, что делается на улицах. Вернулась она быстро.

— Матросни полно, откуда их столько набралось-то? Кричат: «Николашка отрекся!» А кто теперь за царя, и не знают — то ли Михаил, то ли правительство какое-то временное, то ли советчики какие-то.

— Что же с ней теперь будет? — медленно перекрестилась Ольга.

Варенька догадалась, о ком шла речь и, вздохнув, просто развела руками. Сергей Константинович запретил жене бегать к дворцу, да и выходить из дому больше не хотелось. Снова потянулись часы ожидания. Телефон ожил к вечеру.

— Ложь! Все ложь! — взволнованно кричал Терновский. — Это была нестроевая команда, обслуживающая лошадей. Там не было кубанцев.

— Господи, Серезенька, ты о чем? — не поняла Ольга.

— Помнишь, при тебе пришло сообщение о переходе казаков конвоя на сторону восставшей солдатни? Так это все оказалось ложью. Как я счастлив, душа моя, что люди, которых я привел Государю, остались ему верны!

Радость его была такой искренней, что передалась и Ольге.

— Ну а ты-то сам как? Что у вас?

— Ждем Государя. Погоны не снимаем. Я давал присягу, душа моя, и буду ей верен!

Он хотел еще сказать что-то, но тут вмешался голос телефонистки, просящий освободить линию. Второго звонка из дворца Ольга, просидевшая всю ночь в кресле у телефона, не дождалась. Зато позвонила княжна Гедройц с сообщением о закрытии Лазарета. «Так что сидите пока дома, душенька! Новых раненых у нас нет, а тех, кто оставался, мы перевели в госпиталь. Там персонала хватает. Господи, спаси и помилуй!» — закончила она. Наутро Ольге пришлось выйти с Варенькой в город за продуктами. У Гостиного двора творилось невообразимое: солдаты в расстегнутых шинелях, без ремней, с заросшими грязными мордами, кто с винтовкой, кто без, бегали взад и вперед с ворованными сапогами, кусками сукна, с бутылками и разорванными пакетами, из которых сыпалось что-то съестное. Грязные сапожищи тут же затапывали обрonnenное в раскисший снег.

— Эх, барыня, гуляем! — обдав перегаром, навалилась на Ольгу разгоряченная морда.

— А ну, поди отседова! — завизжала Варенька, оттягивая Ольгу в сторону.

Морда, не ожидавшая такого бурного сопротивления, слегка отстала. Женщины кинулись бежать. Перевели дух только у Мариинской гимназии, из распахнутой двери которой доносились слова оратора, прерываемые криками и аплодисментами.

— Все про новую власть кричат. Навели бы лучше порядок в городе, — Ольга запахнула шубку, разорванную солдатом, желавшим «погулять» с барыней.

— Дождешься порядка от этих, как же! — Варенька, или Варвара Анисимовна Григорьева, дочка мелкого лавочника с Васильевского острова, подхватила Ольгу Федоровну под руку. Обе они знали, что нет больше «барыни» и «горничной». Есть подружки, прибитые к друг другу вихрем революции.

Вечером пришел Терновский. Зная, что творится в городе, принес немного еды. Попили чаю. Во дворце ждали отрекшегося Николая. Завтра-послезавтра должна была решиться судьба царской семьи. «Что же будет с нами?» — так и не задала вопрос Ольга. Что будет, то будет. Впервые за долгое время Терновские спали вместе. Утром, сняв со спинки стула китель мужа, она прижалась к нему лицом. Китель пропах потом и табаком. Так когда-то пахло от отца.

— Ну, вроде, собрался, — полковник успел побриться и привести себя в порядок: начищенные сапоги, подтянутый вид, хотя мешки под глазами выдавали напряжение прошедших ночей. Он надел китель, тщательно застегнув его на все пуговицы.

В гостиной Варенька хлопотала возле самовара.

— Хорошо с вами, барышни, никуда не хочется уходить, да надо.

Раздавшийся телефонный звонок принес вести из Александровского дворца. Временное правительство направило генерала Корнилова арестовать гражданку Романову.

— Ну что ж, этого следовало ожидать.

Не попив чаю (почему-то эта подробность была для Ольги особенно болезненной), Терновский торопливо ушел. Живым они его больше не видели. Из всех попыток восстановить картину происходящего в этот и последующие дни, Ольге удалось выяснить, что полковник присутствовал при прощании конвоя с прибывшим в Царское Село Государем. Она знала, что прощание это было тяжелым. Терновский рыдал. Присягать Временному правительству и надевать красный бант он отказался. Пьяная солдатня остановила его уже на выходе из парка, у того самого места, где возле ограды всего несколько дней назад стояла Ольга, пытаясь повидать мужа. С него сорвали погоны. Видимо, он сопротивлялся. Обезображенное тело провалялось несколько часов, пока кто-то из бывшего конвоя не признал полковника. Ночью тело перенесли в подвал дворца и позвонили Ольге. Теперь она уже не торопилась. Медленно оделась и вышла в ночной город. Вход в парк не охранялся. Она прошла знакомой дорогой к боковой двери, той самой, через которую неделю назад Терновский провел ее во дворец. В коридоре ее окликнул расхристаный человек с винтовкой.

— Кто такая? Куда прешь?

— Я-то? Я — кубанская казачка, дочь есаула Безладнова, вдова полковника Терновского. А вот ты-то кто? Не вижу твоего звания, — громко и надменно ответила Ольга, удивляясь уже не только силе своего голоса, но и отсутствию какого-либо страха перед не дающим пройти человеком.

— А вот я щас погляжу какое исподнее у кубанских казачек-то, — расхристанный хотел штыком задрать юбку на Ольге.

— Не смей прикасаться! — закричала та.

На крик выскочили несколько человек. Все с красными бантами и без погон. Одного она узнала. Это был офицер, видевший ее, когда она приходила к Терновскому. Узнал ее и он.

— Отставить, часовой!

Расхристанный нехотя повиновался. Офицер увел Ольгу в подвал, где, завернутое в шинель, лежало изуродованное тело ее мужа. Бывшие сослуживцы помогли перевезти тело на санях к часовне у Казанского кладбища. Там же его положили в гроб, отпели и похоронили.

Жизнь в доме на Магазиновой теплилась только на кухне. Варенька готовила непрехотливую еду и своим неумолчным щебетом развлекала Ольгу, обычно курящую возле печки. Спать ходили в ближнюю от кухни комнату, перетащив туда все теплые вещи. В город выходили редко. Однажды, вдохнув весеннего воздуха, Ольга удивилась странной устроенности мира: он продолжал существовать. Так же, как и в прошлом году, подтаивал снег на улицах, с крыш свешивались сосульки, из парка доносился грачиный гвалт. Правда, на стенах появились красные тряпки с расплывшимися белыми буквами, которые Ольга не хотела складывать в слова. Варенька уговаривала ее переехать в Питер. Там можно было скорее затеряться, а не торчать бельмом на глазу у распясавшейся солдатни в маленьком городе. Ольга медлила. С квартирой на Захарьевской были связаны не менее болезненные воспоминания. Но жизнь еще раз показала дальновидность простых девушек из народа. В апрельских поздних сумерках кто-то с улицы кинул горящую паклю в открытую форточку гостиной. На кухне, где сидели обитательницы, запахло горелым. С улицы донеслись крики и удаляющийся топот. Этот «кто-то» то ли прознал адрес покойного полковника, то ли просто не вынес вида

ухоженного особняка. Варенька бросилась в гостиную, где уже всю горели тяжелые портьеры, озаряя комнату зловещим светом. Ольга замерла в дверях, глядя на пламя, пожирающее поднятую крышку рояля. Почему первым всегда страдал ее любимый инструмент? Вот и тогда, много лет назад в Екатеринодаре, она слышала пьяные голоса, топот, видела первый свой рояль, осыпанный разбитыми стеклами. Маменька... Заплаканная Леночка...

— Варвара, говорю тебе, вернись враз! — закричала она, повторив интонацию маменьки в ту давнюю ночь.

Но Варенька была далека от сентиментальных воспоминаний барыни.

— Да я ж по краю пройду осторожно. Вон спальня целехонья стоит. Надо ж хоть какие драгоценности ваши спасти.

— Черт с ними, с драгоценностями! Надо уходить. Дышать совершенно нечем.

— Ну, уж нет! — Варенька быстро выхватила из бюро, стоящего в спальне, ящичек с драгоценностями и выскочила в прихожую, где ее ждала Ольга. — А деньги у меня на полочке в кувшине спрятаны. На кухне. — Так же поспешно было извлечено и то, что осталось от жалованья полковника. — Ну, все теперь. Айда отсюда! — Они выскочили на соседнюю улицу через черный ход.

В дверь уже стучали прикладами, и, когда дверь поддалась под неделикатными ударами и озлобленная кучка людей вломилась в задымленный дом, там никого не оказалось.

Народ толпился на загаженных платформах вокзала в ожидании поезда. Никто не знал время отправления. «Грустно, грустно, грустно», — думала Ольга, пробираясь за Варей сквозь толпу. Как быстро все изменилось! Сколько было связано с этим вокзалом, с Царским Селом! Все закончилось. Осталась могила на Казанском. Поезд подошел через час с небольшим. На счастье Ольги, ей удалось пробиться в вагон вслед за проворной Варенькой. Билеты никто не проверял, да и самого проводника нигде не было видно. Зато в проходе взгромоздилась толпа возбужденных гимназистов. Они восторженно говорили о том, что теперь, когда свергнут «Николашку и его шайку», война непременно закончится победой русских войск.

— Ишь ты, расшумелась молодежь, — хмыкнул пожилой господин непонятного сословия, притиснутый сбоку к Варень-

ке. — Дарданеллы им подавай с Константинополем! На меньшее не согласны, а того понимания, что солдат воевать больше не хочет, нет.

— Конечно, кому ж помирать-то охота? — быстро согласилась Варенька. — Скорее бы эта война закончилась, а то в лавках ни соли, ни спичек, а про хлеб уж и не говорю. Голод — не тетка. Если народ на рожон полезет, что правительство временное делать будет?

— А кто это правительство слушать-то будет? Оно ж временное, — Ольге не удалось разглядеть человека, говорящего за ее спиной. Голос молодой. Из простых. — Власть у рабочих теперь и крестьян, одетых в солдатские шинели.

Варенька повернулась к говорившему.

— Это что ж за власть такая у рабочих?

— А про Советы, барышня, слыхали? Нет? Так вот, почитайте, просветитесь на досуге!

«Наверное, он сунул ей листовку», — догадалась Ольга. Она уже видела эти бумажки, валяющиеся повсюду с призывами к революционным гражданам и гражданкам. Вот и Надька где-то сейчас разбрасывает такие листовки. Пришло ее время. Что-то там делается в Петрограде?

Площадь перед Царкосельским вокзалом была забита всевозможным людом. Какой-то человек произносил что-то пламенное с открытого кузова грузовика. Тут же гремел оркестр, заглушая его слова, толпились восторженные дамы в красных бантах, люди в папахах, солдатских скатках, в распахнутых шинелях с винтовками и без. Пытаясь пробраться сквозь толпу, гудели автомобили. Извозчиков было не видеть, ходят ли трамваи, никто сказать не мог. Прибывшие барышни решили пройти пешком по Загородному проспекту. Толпа постепенно редела, с Гороховой, позвякивая, повернул трамвай, который повез их по Литейному к Захарьевской. Осталось немного пройти пешком. Вот и Египетский дом с фараонами у дверей. Ивана Кузьмина в дворницкой не оказалось. Какая-то баба, с виду его жена, поджав губы, протянула Ольге ключи.

— А где муж-то? — зачем-то поинтересовалась Варенька.

— На митинге оне.

— Батюшки, это где ж у нас теперь дворники митингуют?

— Дак в Таврическом дворце. Тут недалеча. Все там с утра толкуются, ну и мой Ванька пошел ума набираться. Говорит, власть надо брать, а как ее брать, пусть люди научут. Надоело под барами-то жить, — дворничиха многозначительно поглядела на Ольгу.

Но та не обратила внимания на выразительный намек представителя угнетенного класса. Все ее мысли были уже там, в холодной квартире на втором этаже, куда она медленно поднималась по лестнице, не дождавшись Вареньки и не вытирая слез, стекающих по щекам. Она давно не плакала, даже когда хоронила мужа. На Казанском просто стояла, оцепенев от горя и ужаса. Здесь же оплакивала свою молодость и того, так и не пожившего, ушедшего вот в эту дверь, которую она пыталась сейчас открыть ключом. Руки не слушались. Замок, наконец, поддался. Тяжелая дверь открылась и впустила ее в прошлое.

Глава 10

«Вот она, Красная Дева революции!» — с восхищением думала Надька, глядя на хрупкую женщину, в страстном порыве склонившуюся с трибуны.

— Мы не будем сотрудничать с буржуазией! — маленький сжатый кулачок взметнулся в воздух. — Не будем укреплять буржуазный строй и помогать существовать ему годы, десятки годов на сгорбленных плечах трудящегося класса! Партия социалистов-революционеров пойдет во главе социальной революции, ее программа взорвет один из главных принципов буржуазного строя — частную собственность. Мы не дадим обывательски разбухшему правому крылу нашей партии увести нас от социалистических задач! — Последние слова Марии Спиридоновой заглушил шквал оваций. Надька подскочила со своего места и неистово захлопала в ладоши. Ветер революции долго кружил ее по подпольным квартирам, проходным дворам и булыжным мостовым, пока не прибил туда, где ей хотелось быть: к левым эсерам. В Петрограде, куда ее направила партия, она поселилась неподалеку от Сенной площади. В чужом городе Надька работала в паре с местной девицей, знающей места расквартирования казаков. Казаков в Питере было немного, все с Дона, но в Надьке они при-

знали свою и охотно с ней гутарили. Агитировала она бойко, бесстрашно рассовывая листовки и эсеровские газеты в заскорузлые казацкие лапищи. Не хотели станичники воевать, но и роль карателей была им не по душе. Тихий ропот доносился из казарм, сливался с шумом недовольных улиц. Так прошло полгода. Настал холодный и голодный февраль. В тот решающий день Надька с утра толкалась на Знаменской площади, куда из боковых улиц стекались многотысячные толпы с транспарантами, флагами и оркестрами. В разных концах площади проходили стихийные митинги. Ораторов жадно слушали, что-то кричали. Из медных труб, звенящих на морозе, неслась «Марсельеза». Надька с приставленной к ней девицей зорко следили за полицейскими, пытающимися установить кордоны. Вот и казаки. Ухоженные лошади неторопливо прорезали океан человеческих голов, тут же смыкающийся за их спинами. Надьке удалось протиснуться к казакам поближе, взглядеться в их лица. Озлобленной решительности на лицах не было: они, скорее, казались сочувствующими. Рядом с ней полицейский принялся отбирать флаг у какой-то бабы, надоевшей ему своими криками. Баба тянула флаг на себя, дубася полицейского кулаком.

— Это што ж такое делается, станичники, а? — завопила Надька. — Это за што ж он женщину бьет? У ей муж на фронте, дети малые дома голодные сидят.

Один из казаков, повернув лошадь в сторону полицейского, замахнулся на него нагайкой.

— А ну, геть!

Толпа заулюлюкала. Подоспевшие городовые, насилу отбив своего, побежали с площади. По всему стало видно, что разгона не будет. Да и разогнать такое скопление людей уже невозможно. Нужны пулеметы, но где их взять? «Армия с нами!» — пронеслось в толпе. В центре площади какой-то студент забрался на памятник Александру III. Его слова тонули в людском гомоне, но он продолжал что-то кричать и размахивать руками. Возле Надьки, словно в смерче, проносились гимназисты, студенты, восторженные девушки. Много рабочих. Здесь же солдатики с винтовками, матросы в черных бушлатах. «Началось!» — радостно застучало у нее в голове. Торчать на промерзших и продуваемых холодным северным ветром улицах ей не хотелось. Хотелось туда, где происходили главные события.

На следующее утро ее понесло в Таврический дворец. По Шпалерной шел нескончаемый людской поток. Автомобили, пытающиеся прорваться сквозь толпу, останавливали, солдаты вскакивали на подножки, стреляли в воздух. Тут же под конвоем вели куда-то городских. Все что-то кричали. Восторг переполнял сердца людей. Вот она — революция! Вот оно, могучее и священное! Рухнул деспотизм, народ разорвал свои цепи! Надьку щепочкой внесло в распахнутые ворота Таврического дворца, понесло дальше и дальше по залам, забитым человеческой массой. Пробраться вперед стало трудно. Где же здесь эсеры? Ей хотелось к своим. Лиц уже не видно, что говорят ораторы — не слышно. Ощетинившееся штыками скопище воняло грязными телами. Знакомых не было. Слушать одни и те же речи уже не хотелось. Кричат о власти. Что эти люди знают о власти? Где же ее партия? Надька вдруг почувствовала себя одинокой песчинкой в колышущейся икре человеческих голов. Захотелось на воздух. На улице глубоко вдохнула морозный воздух и закашлялась. Откуда-то несло горелым.

— Это где ж горит? — она схватила за рукав первого попавшегося гражданина с красным бантом на груди.

— Да Окружной жгут!

На Литейном у самого моста горел Окружной суд. Надьку понесло к пожарищу. Было что-то страшное и зловещее в том, как пламя безжалостно поглощало у всех на виду трехэтажное здание. Тушить огонь никто не собирался. Горели архивы. Ветер кружил по проспекту черный пепел, оседающий на снег под ногами многотысячной толпы. Толпа разворачивалась к мосту.

— Айда к Крестам, ребята! Пушай выпускают наших!

И снова Надька в людском потоке. С этими шагающими людьми ей не одиноко, с ними радостно! Они знают, что нужно делать. С моста несется гул.

— Эй, что там впереди? Нам не видать.

Кто-то уже взбирается на фонарь.

— Солдаты братаются с нашими.

— Никак с Выборгской стороны пришли?

— Они с нами пойдут, али как? Че там деецца?

— С нами. Встают в колонну.

Через полчаса у Крестов началась стрельба. Судя по всему, перепалка была недолгой: слышались крики «Ура!» Когда колонна дошла до тюрьмы, ворота ее были распахнуты. Оттуда поспешно выходили и рассыпались в разные стороны люди бандитской наружности.

— Божечки, ну и рожи! Это же уголовники! Балахвосты, — Надьке вспомнилось нянюшкино слово из далекого детства.

— Политические, должны же быть в Крестах политические. Вот они!

— Товарищи! Свобода!

Да, эти были свои. Бледные, худые. Лица счастливые. Надька принялась обнимать людей, выходящих из-за тяжелых окованных дверей. Тут же познакомились. Смеялись. Плакали. Кто-то запел «Смело, товарищи, в ногу!» Кто-то подхватил. И вот Надька уже шагает куда-то с теми, кто еще недавно ожидал приговора ненавистного царского режима в душных и вонючих камерах. Ты куда шагаешь, Надя? «Да кто его знает. Куда идут все мои товарищи, туда иду и я».

Атаман Бабыч в растерянности держит телеграмму из Петрограда. Трудно старику поверить в то, что написано там печатными буквами. Рушится его жизнь. «Я-то ладно, я свое пожил, а как им жить?» — он смотрит на вытянувшегося в ожидании приказаний сотника. У сотника два Георгия на груди, заработанные на войне, да ранение.

— А перечитай-ка, Гриша, что тут написано. У меня буквы перед глазами пляшут, где очки, не знаю.

Сотник вслух читает:

— От-ре-че-ние Николая Второго сос-то-ялось... Ввиду отречения Михаила... власть переходит в руки Временного правительства... Ну и дела у них там в Петрограде деются, Михаил Палыч! — он растерян не меньше атамана. Как казаку жить без царя? Кому нести службу? — Это кто ж такие «Временное правительство»? Шо за власть такая?

— Ты вот что, Гриш: про телеграмму эту молчи пока. Народ наш к такой вести готовить надо. Как бы беспорядки не начались. Шуточное дело: царь отрекся! Временные у власти. А кто они такие, знать не знаем.

Гриша-то смолчал, да телеграфист растрезвонил. Побежал к своим большевикам, те — по рабочим. Взбаламутили Екатеринодар, вывели людей на улицы. Газеты подхватили. Тогда уж все и узнали про революцию в столице. Бабич, как мог, пытался сохранить порядок в городе. И сохранил. Казаки не допустили анархии. Дело закончилось выборами Гражданского комитета. Впрочем, почему же «закончилось»? Все только начиналось. Помолившись, старый атаман подал в отставку с обращением к любезным его сердцу казакам «проникнуться духом величайшего смирения, следуя беспримерному в мировой истории примеру нашего доброго, кроткого царя». Узнав об отставке мужа, благодетельница Софья Иосифовна всплакнула. Вещи из дворца наказного атамана развезли по госпиталям. Город устроил Бабычам теплое прощание. Грустно было у Софьи Иосифовны на сердце. Одно радовало: много полезного сделала она для людей, пусть им все и останется. «А нам ничего не надо», — думала Софья Иосифовна. Скоротать свой век старики решили в Кисловодске, вдали от рокового ветра, унесшего все, ради чего они прожили долгие свои жизни. Откуда ж им было знать, что судьба настигнет их и там?

Леночка не успела проводить благодетельницу. В растерянности бродила она по саду вокруг дома бывшего наказного атамана. Оттуда выносили и грузили на подводы царские портреты. Кто-то растягивал и прибывал красную тряпку над входными дверями. Леночка подошла поближе. «Да здравствует свобода! Да здравствует республика! Ура! — прочитала она. — Господи, какая еще свобода? Казаки всегда были свободными!» У распахнутой двери валялся разбитый бюст Николая II, через который перешагивали деловые с виду люди.

— Вам, гражданка, нужно что? — поинтересовался мужичок во френче без погон, с виду не из местных. — Приходите на праздник Свободы в воскресенье.

— А что это за праздник такой? Как праздновать-то будем?

— Как праздновать-то? Да обыкновенно праздновать: выйдем революционным маршем на Красную улицу с флагами. Продемонстрируем поддержку Временному правительству. Будем ликовать! — его глазки ощупывали Леночкину ладную фигуру. — Вы сами из каких будете?

— Мой муж — казачий офицер.

— Ваш офицер уже присягнул новому правительству?

— Он был контужен на войне, до сих пор на лечении. И новую присягу не принимал.

— Пусть поторопится, а то не получит жалованья! Так ему и передайте!

Мужичка окликнули, он живо обернулся и, не простившись, исчез в дверях. Леночка разглядела прицепленный к его поясу браунинг и засаленные сзади галифе.

— Это что за господин со мной сейчас разговаривал? — спросила она человека с рыженькой бородкой, торчащей над шарфом, обмотанным вокруг шеи.

— Да это ж комиссар Симановский, представитель новой власти в Екатеринодаре! Вы, дамочка, заходите к нам через пару дней! Рассадим комитетчиков, займемся делами местного населения. — мотнув бородкой, человек торопливо засеменял по садовой дорожке в сторону центра города.

«Ну, побежал по делам местного населения!» — с какой-то нахлынувшей злобой подумала Леночка и всю обратную дорогу пыталась понять, откуда в ней поднялось это неведомое раньше чувство.

Зато дома ее ждала приятная новость: из Марьинской прикатила Капа с Федькой. Какие же это были дорогие гости! Располневшая Капитолина уточкой расхаживала по кухне, давая Дуське всевозможные указания по ведению хозяйства. Та терпеливо и любовно сносила сестринские придирки, рассовывая по кладовкам, привезенные мешочки и кадушки. С утра они собирались на рынок что-то продать, что-то прикупить. Девятилетний Федька степенно беседовал с Купленовым в гостиной, где Леночка накрывала на стол для вечернего чаепития. В ход пошел мамин сервиз, предназначенный для особо праздничных случаев. Чай пили не торопясь, переговорили о всех домашних делах, погоде и предстоящем севе, оттягивая главный разговор напоследок. Наконец, Купленов, примостив притихшую Тамарку на колене и глядя в упор на Капу, задал тревожащий его вопрос: «Так что там станичники-то? Присягнули новой власти, али решили обождать?» Капа не торопясь сплюнула на ложечку косточку от вишневого варенья, звякнула ложечкой о хрустальную розетку и так же глядя в упор, ответила:

— А казакам новое правительство не указ! Своего атамана выбрали. Гольтьба зашевелилась, в советы ихние записалась. Флаг Российский нашли, синюю и белую полосы оторвали и тряпку красную над избой повесили. Вот и все дела пока! Станичникам некогда: скоро сеять надо. Казаки покалеченные вертаются, рабочих рук не хватает. Ты мне лучше скажи, когда война эта проклятая кончится?

— Кончать пора, а когда — это уж новая власть решать будет. Хватит народ живьем на куски кромсать, да под пули гнать! Дома дел много!

Купленов нервно глотнул. Кадык дернулся на его похудевшей шее. Леночка забрала из его рук уснувшую дочь, пошла с ней в детскую и уложила в кроватку. Потом вернулась, села с мужем. Разговор за столом стих. Купленов курил, Капа с Дуськой перешептывались о своих делах. Старенькая Марья Игнатъевна задремала в кресле над раскрытой газетой.

— Поглядите-ка, — вдруг проснулась она. — Николаевскому проспекту вернули старое название! Вот тут написали «Красная улица».

— Дусь, — осклабилась Капа, — у них красный цвет теперь в моде: будешь бабонькам оборки красные к юбкам пришивать!

— Ты мне банкнотами плати, я тебе што хошь пришью! — повела бровями Дуська.

— А ведь мне сегодня мужичок один, паршивенький такой с виду, сказал, что ты, Алешенька, присягу должен новую дать, а то жалованья не получишь, — Леночка почему-то виновато посмотрела на мужа. — Он еще на праздник Свободы звал ликовать со всеми.

— Лико-о-ова-ать?.. Это где ж ты мужичка такого повстречала?

— У наказного атамана во дворе. Пришла с Бабычами проститься, да опоздала. Там уже новые командуют. Сад загадили, статуи царские побили. Сердце сжалось, на все глядя — так домой и ушла.

Посидели еще. Намаявшие в дороге Капа с Федькой ушли спать, за ними тихо побрела Марья Игнатъевна. Потом и Дуська заскучала, начала зевать, крестить рот после каждого зевка, наконец, отодвинув стул, с шумом поднялась и затопала по лестнице наверх. За столом остались двое. Я вижу их лица, обращенные

друг к другу, слышу, как в подставленное блюдечко капает вода из самоварного краника, как тикают нянюшкины ходики на кухне. Здесь время еще подвластно мне. Вот день переходит в вечер. Вечер тихо перерастает в ночь. Ночь накрывает собой город. Равнодушные звезды поблескивают через небесное решето.

— Надя, Надя, — зовет Симон, — ты когда-нибудь видела китов?

— Китов? Симон, ты что, совсем спятил? Где я могла видеть китов?

— Здесь их много.

— Ты-то сам где? Где много китов?

— Я плыву в океане.

— В каком-таким океане? Ты и плавать-то не умел никогда.

— Надя, я так скажу: сначала я точкой стоял на берегу и ничего, кроме океана не видел. Стоял долго, а потом взял и поплыл. И все. Не знаю как, но поплыл. И это оказалось совсем не трудно, а вокруг — киты. Удивительные существа!.. Как жаль, что ты их никогда не видела!..

Надька проснулась с недоумением на лице. «Что ты мне хотел сказать, Иона непутевый? — думала она. — Кит и тот тебя не проглотил!» Но даже недоумевать ей было некогда. Какая-то неуемная сила толкала ее вперед и вперед. Подскочить, плеснуть на лицо холодной воды из-под крана, натянуть чулки с дыркой (под юбкой все равно не видно), торопливо затянуться папироской натошак и бежать, бежать! Да, вот еще — ботики. Прекрасные, почти неношенные ботики, как раз по ноге, подарок партийной подруги, пришедшийся так кстати. Быстрый взгляд из-за занавески на улицу (нет ли там топтуна?). Черт, забыла! Нет больше подпольных квартир, уже два месяца, как все легальные. Надька морщит нос, подставив лицо апрельскому солнцу, заглянувшему ненадолго в грязное окно комнатки (вымыть, конечно, некогда) на первом этаже. Ну, все! Теперь уже точно — бежать! Ботики протопали по двум ступенькам вниз. Потом хлопнула тяжелая дверь. Впереди много дел: выборы в Союз казачьих войск. Надо растолковать казачкам программу эсеров: выход из войны, выборы в Учредительное собрание, справедливый передел земли. Пока ботики шлепают по булыжной мостовой и скользят по под-

мерзшим лужицам, в Надькиной голове крутится бесконечный спор с несогласными товарищами. Главные слова иногда вырываются наружу вместе с убедительным взмахом руки. Уж не похожа ли она на городскую сумасшедшую? Впрочем, дела нет никому. Угрюмые очереди пересекают ее путь. Кого здесь волнует передел земли? «Надо бы забежать в партийную столовую», — голод ненадолго прерывает внутренний монолог.

В столовой висит облако от папиросного дыма. Это большая комната в полуподвале с железными чайниками на длинном столе. Все свои. В последнее время сюда захаживают и большевики. Они заметно оживились после возвращения Ленина. Надька здороваается за руку, кивает, улыбается, показывая желтые прокуренные зубы. Здесь можно погрызть твердую баранку с жидким чайком и кусочком сахара. Вот она уже спорит с молодым товарищем, недавно вступившим в партию. Продолжать войну или прекратить немедленно?

— Признать поражение? — недоумевает молодой товарищ.

Надька уже готова наброситься на него со всем нерастраченным пылом эсерки с длительным опытом подпольной работы, но вдруг замирает неожиданно для себя самой. В облаке дыма проплывает Симон.

— Ну и где твои киты? — говорит она.

— Какие киты? — снова недоумевает молодой товарищ.

Что делать с навалившимся чувством одиночества? Зажмурившись, Надька машет головой. Так отгоняют назойливых слепней кобылы на лугу, а чтобы чувство это не увязалось за ней и дальше, она обрывает на полуслове молодого товарища и бросается прочь. Ботинки перебегают дорогу перед извозчиком и вскакивают на подножку трамвая.

— Все, Симон, мне некогда, уходи!

В весеннем Питерском небе плывут белые облака-киты. Грустное лицо Симона Юдовича смотрит из окна проезжающего мимо встречного трамвая.

— Мне не хватает, не хватает, не хватает тебя! — смахивает проступившие слезы Надька.

Не так уж и далеко друг от друга жили сестры, но в тот год судьбе была неугодна их встреча. Обе не писали в Екатеринодар, и Леночке ничего не оставалось, кроме ожидания весточки хотя

бы от одной из них. Пока Надька бегала по митингам и заседала в Советах, Ольга безвыходно сидела в Египетском доме, проживая деньги, вырученные от продажи спасенных драгоценностей. Между тем отголоски бурной жизни, происходящей в городе, доносились и до нее. Летом пришлось открыть окна, и гудение бесконечных шествий, выстрелы, нескладный шум оркестров заставили Ольгу задуматься о том, что же ей делать дальше. А что она могла? Играть на рояле и ходить за ранеными. После смерти мужа ни о какой музыке не могло быть и речи. Значит, оставалось второе. Верная Варенька принесла весть о лазарете для тяжелых раненых, открытом еще в пятнадцатом году в Зимнем дворце. Наверное, можно было бы найти что-нибудь поближе к дому, но в память о царской семье, ожидающей своей участи под домашним арестом, Ольге захотелось попасть именно в Зимний. Ей долго пришлось добираться до Дворцовой набережной: трамваи ходили, но к ним было не подступиться из-за людей, висящих гроздьями на подножках. По Литейному проспекту вразнобой шли какие-то военные со злыми лицами. Ольга уже видела такие лица в первые дни февральского разгула в Царском Селе. Ни одно шествие теперь не обходилось без транспарантов. Вот и здесь мимо нее на красном полотнище несли намалеванные вкривь и вкось слова «Долой контрреволюцию!» «Все-то у них “долой!”» — подумала Ольга. Дождавшись просвета в нестройной колонне, она перебежала дорогу и вышла на набережную, залитую теплым солнечным светом. Переливаясь и поблескивая, Нева с легким плеском билась о гранитные стены. «Красота спасет мир», — вспомнилась маменька, вытирающая восторженные слезы под запотевшим пенсне. Слова любимого писателя на пожелтевших листах. Где это все сейчас? Кому нужно? Никому. Ольга вздохнула и деловито засемила вдоль реки по направлению к Зимнему дворцу.

Вход в лазарет с Дворцовой набережной не охранялся, и она свободно прошла в приемный покой. Уже через час с ней побеседовал главный врач — сухонький человек в белом халате с маленькими крепкими ручками, какие бывают только у хирургов. Упоминания императрицы и княжны Гедройц было достаточно для того, чтобы он повел ее по роскошным залам дворца, превращенным в современный и прекрасный госпиталь для тяжело раненых.

— И все это — на средства императорской семьи! — доктор перехватил восхищенный взгляд Ольги. Царскосельский лазарет был очень скромным, а тут специальная противошумовая обивка на стенах и полах, ночное освещение, рентгеновский кабинет, первоклассные перевязочные, душевые и ванные комнаты. В операционные Ольге заглянуть не удалось.

— До сих пор много раненых? — они шли через ряды больничных кроватей, на которых лежали люди в бинтах. Между ними сновали санитарки и сестры милосердия.

— Новые прибыли совсем недавно, после июньского наступления. Характер повреждений всегда один и тот же: многочисленные шрапнельные и пулевые ранения. Контузии. Вы можете заступать с завтрашнего дня — в перевязочную, в распоряжение графини Бобринской.

На том и порешили. Так Ольга Федоровна Безладнова вернулась к знакомой рутине: снять присохший к ране бинт, обработать рану в случае нагноения, наложить новую повязку и закручивать в трубочки отстиранные бинты, если перевязывать было больше некого. Как-то к ней подошла графиня Бобринская, милая женщина с усталым лицом, муж которой служил в Петроградском гарнизоне. «Армия совсем разложилась, — графиня сделала большие глаза. — У них больше нет командиров. Слушают только каких-то людей из Советов или не слушают вообще никого. Я волнуюсь за мужа». Потеряв интерес ко всему происходящему за стенами госпиталя, Ольга не читала газет, не вела ни с кем разговоры на политические темы и равнодушно переживала очередную демонстрацию, перекрывающую ей путь на работу. Тем не менее, жизнь кипела в Петрограде. В городе шла борьба за власть. У одного из раненых, которого перевязывала Ольга, из кармана больничного халата выпала листовка «Вся власть Советам!»

— Ты за какую власть, сестрица, будешь? Я вижу ты своя, не из графьев тутошних.

Осколком гранаты ему срезало пол-лица, рана плохо заживала, перевязки были мучительными. Единственный глаз уставился на Ольгу в ожидании ответа.

— Голубчик, я и не знаю, что это за власть такая, — смутилась она. — А правительство Временное тебе что, уже не подходит?

— Видел я Керенского энтото. Приезжал к нам, на коленки вставал, землю целовал. И што? Погнали в наступление, как скот какой. Там меня и резануло. Обрыдела война эта, сестренка, сил больше у народа нет воевать!

— Ты уже отвоевался, касатик, — Ольга начала потихоньку скручивать бинт с его головы. Касатик дернулся и затих под ее руками.

Город был забит войсками, судя по всему, не желающими отправляться на фронт. Когда на улицах так много людей с оружием, поздно или рано, они начинают стрелять. Варенька рассказывала о каких-то большевиках, промышляющих у брата на заводе. «Все агитируют власть захватывать. Я Митьке нашему говорю, чтоб не лез, да разве он послушает?» Судя по всему, не слушался не только Митька.

Пулеметная пальба раздалась в душный июльский день. Приглушенные очереди проникали сквозь закрытые окна лазарета. Стреляли в центре города, скорее всего, на Невском. Встревоженные сестры с санитарками сбились в кучу у кабинета главного врача. Распоряжение было коротким:

— Ну-с! Наше дело открыть двери и принять всех раненых, кто бы это ни был.

На счастье раненых оказалось немного, и санитарные машины развезли их по городским больницам. Кто в кого стрелял, Ольга в тот день так и не узнала, но город снова как бы зазнобило: лавки, в которые она обычно забегала после работы, были закрыты, трамваи не ходили, какие-то подозрительные люди толпились в подворотнях. Встретившийся на лестнице дворник осклабился и не без злорадства сообщил, что под шумок обчистили соседскую с Терновскими квартиру.

— Кабы кто на вас, барыня, не навел в следующий раз-то? Мне за всеми не уследить. Делов невпроворот.

— А у меня и красть-то нечего, все спустила за зиму, — разочаровала его Ольга.

Дома она открыла окно. Где-то совсем рядом — видимо, на Шпалерной — грохнула пушка. Стекла задрожали, но удержались в раме. Ольга отпрянула от окна и быстро перекрестилась: «Смотри-ка, у них там все серьезно!» Варенька, единственный близкий человек в этом городе, жила теперь на Выборгской сто-

роне с семьей брата и время от времени навещала ее, принося всевозможные новости. Но и ей было неведомо, что родная сестра Ольги Федоровны находится рядом, в самой гуще событий, происходящих в Таврическом дворце, всего в нескольких минутах ходьбы от Египетского дома. А если бы и знала? Сложилось бы по-другому истории их жизней? Возможно... Но, так или иначе, уже надвигалось то, что изменило жизни всех.

Глава 11

Плешивый и картавый, он не произвел впечатления на Надьку. К тому же и слышно его было плохо. Доносилось только: «Пхोलитахиаат должен взять власть в свои хуки немедленно и закончить тем самым двоевластие и поддержку Вхеменного пхавительства!»

— Вот тебе и на! — возмущению Надьки не было предела. — На что нас толкают большевики? «Эсер Керенский возглавляет это правительство, эсер Чернов занимает там пост министра земледелия. Мы готовим земельную реформу, крестьянство на нашей стороне. К чему такая спешка и призывы к социалистической революции, когда для нее нет никаких предпосылок?»

Она сидит в первом ряду на балконе. Свободных мест в партере нет. Хорошо еще, что не пришлось стоять! В затылок ей дышат те, кому не досталось мест и на балконе. Душно. Хочется курить, надо бы найти товарищей с правом голоса. У Надьки на Всероссийском съезде рабочих и солдатских депутатов такого права нет. В перерыве она врывается в самую гущу разгоряченных эсеров. Обсуждение короткое и решительное:

— За такую резолюцию мы голосовать не будем!

В зале Надька пробивается к президиуму, находит глазами вспотевшую лысину, отблескивающую под светом люстры. Ленин тоже возбужден, его голова крутится во все стороны.

— Это соглашательство и тхусость, — доносится картавый голос.

«Ишь ты, недоволен решением съезда, — с легким злорадством думает Надька. Засунув руки в обвисшие карманы кофты, она гордо удаляется на балкон. — Посмотрим, на что способны эти большевики!»

Оказалось, на кое-что они способны. Ну, во-первых, занять особняк поспешно бежавшей балерины Кшесинской. Там же они разместили редакцию своей газеты «Правда». И полетели с маленького балкончика, висящего над пролетарскими массами, картавые призывы к вооруженному восстанию и свержению Временного правительства. Призывы падали в благодатную почву. Заводы на Выборгской стороне были полностью под влиянием большевиков, как и солдаты Пулеметного полка, расквартированного там же. О Кронштадтских матросах городу еще предстояло узнать. Мичман Раскольников привел их к Таврическому дворцу, где уже собралась толпа с транспарантами «Долой Временное правительство!» Смотрелось это все угрожающе. Надька, пришедшая на заседание фракции, не смогла пробиться к входу, зато ей было видно, как неизвестные люди схватили Чернова, пытающегося протиснуться сквозь толпу, и насильно усадили его в автомобиль.

— Министр Чернов арестован! — завопила она. — Это измена! — Волнение пробежало по морю человеческих голов. — Товарищи! Не допустите контрреволюции! — Многоголосый шум заглушил ее слова.

Какой-то человек во френче вскочил на капот автомобиля с арестованным не понятно кем Черновым.

— Троцкий! Это Троцкий! Молчите, дайте послушать!

Решительным взмахом руки Троцкий подал сигнал к молчанию. Толпа стихла в одно мгновение.

— Кто за насилие над Черновым, поднимите руку!

Надька не увидела ни одной поднятой руки.

— Гражданин Чернов, вы свободны! — Торжественно и многозначительно закончил Троцкий.

Он спрыгнул с капота и помог министру выбраться из автомобиля. Напряжение несколько спало, но толпа не расходилась. С Выборгской стороны, как всего несколько месяцев назад, стекались потоки новых и новых людей, но настроение их было другое. Из окна дворца, куда Надьке удалось-таки пробиться вслед за освобожденным Черновым, были видны озлобленные лица. Большевики сновали в этой толпе, а эсеры странным образом чего-то выжидали. Министров вообще не было видно. Они закрылись в кулуарах. По коридору мимо Надьки, поблескивая стеклами пенсне, в окружении большевиков несколько раз проходил Троцкий. «Интересно, где их Ленин? Что-то его не

видать. Если они задумали переворот, он должен быть где-нибудь поблизости, — Надька кожей чувствовала напряженность момента. — Только бы не пролилась пролетарская кровь!» Где-то к полночи захлопали двери.

— Безладнова! Вы слышали последние новости? — партийные товарищи окружили Надьку, — Большевики объявлены вне закона. Их мятеж подавлен. К Петрограду подошли верные Временному правительству войска.

Пролетарская кровь пролилась на следующий день. Юнкера громили дворец Кшесинской и типографию «Правды». Из партийной столовой Надька кинулась на Петроградскую сторону поглядеть на происходящее поближе. Не по душе ей были такие разгоны. Мальчишки, разносчики газет, кричали во все глотки о том, что Ленин признан немецким шпионом, завезенным в Россию в plombированном вагоне. На Троицком мосту казаки гнали нагайками бегущих людей. Надька выскочила из трамвая прямо под ноги лошади одного из казаков. Тот в остервенении хлестал по голове паренька. Втянув голову в плечи, паренек пытался увернуться от ударов. Из-под фуражки на его лицо обильно стекала кровь.

— Ты пошто мальчика забиваешь? — Надька схватила за уздцы заржавшую лошадь.

— Да жиденок сам под руку подвернулся, — вроде бы, даже смутился казак. Такие решительные дамочки ему попадались не часто.

Надька отпустила лошадь и подхватила паренька.

— Тебя как звать-то?

— Семеном.

— Ну давай, Семен, геть отсюдова пока до смерти не забили.

Вместе они добежали до Марсова поля. Потом Семен стал отставать. Оглянувшись, Надька увидела, как закатились его глаза, и он начал медленно оседать.

— Эй, ты что это? Умирать собрался? Так я не дам! — она подтащила обмякшее тело к скамейке, оглянулась в поисках помощи.

Вокруг на июльском солнце поблескивали осколки чьих-то разбитых очков, легкий ветерок шевелил раскиданные по земле клочья одежды. На кустах возле скамейки повис разорванный транспарант, тут же загустела лужи крови.

— У Летнего стоят санитарные машины. Собирают раненых. Давайте помогу. Вдвоем его дотащим, — какая-то девица, с виду гимназистка, помогла Надьке дотащить ставшее тяжелым тело молодого человека до санитарной машины у Летнего сада.

Голову ему забинтовали, привели в чувство, сунув под нос ватку с нашатырем.

— Ну а дальше лечи сама, барышня! У нас таких хватает. Этот еще ничего, сам справится! — дюжий фельдшер хлопнул перебинтованного паренька по плечу.

«И куда ж мне его девать, не бросать же на улице? — Надька с опасением поглядела на мальчика, у которого было явное сотрясение мозга. — Ладно, отвезу к себе, а там поглядим».

Так в жизни Надежды Безладновой появился Семен Гришковец. Не всем товарищам по партии была понятна любовь вечно задрипанной и горластой эсерки и ладного красавчика моложе ее на семнадцать лет. Она выхаживала его с преданностью несостоявшейся матери. Злые языки говорили, что Гришковец, которого она тут же обратила в свою веру, просто платит ей благодарностью за материнскую заботу. Откуда же им было знать, с какой страстью обрушился он на ее сухощавое тело, истосковавшееся по любви. Они предавались неожиданно нахлынувшему чувству в ее комнатенке под печальным взглядом приплывающего, неизвестно откуда, Симона Юдовича.

— Ну что ты делаешь, Надя? — говорил ей в ухо Симон. — Совсем стыд потеряла, кричишь, как драная коза. Соседи все слышат, что они скажут?

— Молчи, Симон. Ты просто ревнуешь, мне с тобой никогда не было так хорошо. Я и сама не знаю, что со мной. Люблю и все. А ведь зовут его почти так же, как и тебя. Вот уж чудны дела твои, Господи! Воистину чудны.

Она поворачивалась к своему юному возлюбленному и долго рассматривала его спящее лицо и тело в свете луны, пробивающемся сквозь те же немые оконные стекла.

По утрам Надька мчалась в партийную столовку узнать последние новости и прихватить для Семена пару кусков черного хлеба, смазанных маргарином. Город снова оказался на грани голода — и к чему это могло привести, всем было хоро-

шо известно. Эсерам, наконец, стало понятно, что они теряют влияние на рабочих, удачно перехваченное большевиками. Безладнову срочно отправили на Выборгскую сторону вести агитацию на заводе «Айваз». Как это водилось и раньше, она быстро сошлась с рабочими. В ней сразу распознавали свою, несмотря на всклокоченные лохмы и громкий пронзительный голос. Было в ее серых, открыто смотрящих глазах, что-то вызывающее доверие людей. После первой же сходки Надька провела, что у рабочих в ящиках для деталей припрятаны винтовки, присланные из Оружейного завода. Дело принимало серьезный оборот.

— Что происходит, товарищи? — строго вопрошала она на заседании партийного комитета. — Почему падает влияние эсеров на народные массы?

Ответы совершенно ее не удовлетворяли. Какое, к черту, Учредительное собрание, и сколько можно ждать его созыва, когда большевики готовят вооруженное восстание? Это же контрреволюция и узурпация власти!

— Нельзя дать революционной энергии раствориться в словах и обещаниях! — стучала кулаком по столу нетерпеливая эсерка. — Я человек дела! Дайте мне его!

— Вам бы, Безладнова, все бомбы метать, — пытались урезонить ее товарищи. — Пора научиться работать легально!

— Не готовы они к революции, — плакалась Надька на груди у Семена Гришковца, — бессильные какие-то. Сметут нас большевики, чует мое сердце.

Голова у Семена заживала, и он с большим интересом внимал сетованиям своей несуразной подружки.

— А перекинуться к большевикам нельзя? — как-то вполне дружелюбно предложил он.

— Ты что? — обалдела Надька, — это же ренегатство! Я не могу предать своих товарищей.

— Я тебя не понимаю, ты громишь их за бездеятельность, критикуешь каждое их решение. Ну что тебя держит в этой партии?

— Одно дело — полемика и совсем другое — предательство.

— Не предательство, а гибкость позиции, эволюция взглядов.

— Э-во-лю-ция?

Надька сломя голову кинулась в спор.

— Большевики перехватили лозунги, выстраданные годами нашей революционной практики. Кто вообще слышал что-нибудь о них в феврале? И вот, пожалуйста, они уже готовят свержение демократического коалиционного правительства!

Правда, их аресты и тюремный режим были ей не по душе, но, если уж это заговор с целью захвата власти — не обижайтесь, господа хорошие, посидите снова, как при царизме, да хотя бы в той же Петропавловской крепости! Семен молчал. Ему пора было возвращаться к прежней жизни, прерванной казацкой нагайкой на Троицком мосту. Попал он туда случайно. Уходить из убогой комнاتенки подруги ему не хотелось, но на Петроградской его ждали матушка с сестрой гимназисткой. Работу в текстильной лавке он, по всей видимости, потерял. Хозяина своего ненавидел и во сне часто видел, как горит хозяйское наворованное добро, а в том, что оно было наворовано, почему-то не сомневался. Революционные брошюры попадались ему еще в гимназии, которую, правда, закончить не пришлось. Читал он их с большим интересом, часто задумываясь над своей готовностью убивать за дело освобождения трудового народа. Ответа не знал. Надька захлестнула его своей вулканической энергией, но отлив начался скоро — как только затянулась рана на затылке.

Разделить свое одиночество Ольге было не с кем. Помогала только работа. Отработав день, она просилась остаться в лазарете еще и на ночную смену. Чаще всего ее отправляли домой. Обычно только две сестры дежурили по ночам, хотя этого было совершенно недостаточно. Но такова была заведенная кем-то традиция, и от нее не собирались отказываться. Днем, между перевязками, она выходила выкурить папироску на набережную, лениво провожала глазами проплывающие мимо баржи. Кто-то всегда суетился возле дверей в Зимний дворец. Летом сюда переехало Временное правительство, появились автомобили, привозящие деловых людей с портфелями, грузовики, в которые грузили какие-то ящики и увозили Бог знает куда.

«Разворовывают», — с тихим злорадством думала Ольга.

В августе та же графиня Бобринская поведала ей о наступлении на Петроград генерала Корнилова.

— У меня блеснул луч надежды, — шепнула она.

— Не знаю, графиня... Этот Корнилов арестовал Государыню в Царском. У меня надежды нет, — скривила рот в горькой улыбке Ольга.

Ей не было дела до того, что не поделили Корнилов с Керенским, но какое-то волнение вокруг себя она чувствовала, к тому же в Зимнем появились люди в черных бушлатах, загадившие мраморные лестницы дворца окурками и плевками. Вид женщин в военной форме, да еще и с винтовками в руках, стоящих у подъездов, вызывал у нее удивление. «Это что же, им больше некого поставить в охрану? — спрашивала она себя, проходя мимо неопрятных баб в фуражках и галифе, и сама отвечала. — Значит, нету». Зато город наводнили вооруженные мужики, с виду рабочие. На улицах появились уродливые броневики. Несколько раненых, идущих на поправку, запросились на выписку.

— Куда вы торопитесь? Вам еще лечиться и лечиться, — не выдержала Ольга, меняя повязку одному из них.

— Эх, сестрица! Придет Корнилов и всех нас тут перережет, — осклабился тот.

Но Корнилов не пришел, пришли осенние дожди. Курить на ветреной набережной стало холодно, и Ольга забегала время от времени под мраморную лестницу для пары торопливых затяжек папирсой. Возвращаясь на второй этаж, она довольно часто сталкивалась с человеком среднего роста в высоких сапогах и военном сюртуке без погон. Человек скользил равнодушным взглядом по ее лицу и проходил мимо. Она же хорошо его запомнила: широкие скулы, узкий рот, волосы, подстриженные «ежилом». «И это диктатор Керенский? — думала она, — Боже! Дай мне пережить все это!» В сентябре Варенька наведалься в Царское Село и привезла Ольге записочку от Тани Боткиной: «Папа со всей семьей отправился в Тобольск». Прочитав, Ольга тихо заплакала. Она догадалась, о какой семье шла речь.

После ухода Семена Надька развернула бурную деятельность. Первым делом она записалась в рабочую милицию на том же «Айвазе», где кинулась учиться разбирать, собирать и сма-

зывать пулемет. Обыкновенная винтовка ее, конечно же, не устраивала. Странная это была осень. Временное правительство срочно выпускало из тюрем большевиков, которые были туда посажены этим же правительством всего каких-то два месяца назад. Страх перед Корниловым и контрреволюцией заставил эсеров объединиться со своими бывшими противниками. Понимала ли Надька, что рабочая милиция станет Красной гвардией? Не знаю. Стремительный ход революции снова захлестнул ее. Скорее всего, тогда, осенью 1917 года ей было невдомек, что эсеры помогут привести к власти диктатора, готового расправиться с ними в первый же подходящий момент. Я часто думаю, что бы изменилось, если бы понимала. И не нахожу ответа.

Так или иначе, но промозглым октябрьским днем, подвязав лохмы платком, Надька Безладнова, ударившись коленкой, забралась в кузов грузовика, куда рабочие «Айваза» уже погрузили два пулемета. Ее продуло на ветру, пока грузовик добирался с Выборгской стороны до Смольного института благородных девиц. Приехав и разгрузившись, айвазовцы с грохотом потянули пулеметы по бесконечным и темным коридорам Смольного.

— Куды ставить-то? — справлялись они у каждого встречного. Никто не знал.

— А вы у товарища Троцкого спросите! — надоумил кто-то.

«Это ж надо, Троцкий уже здесь, — удивилась Надька, зная, что тот был летом арестован, — когда ж он успел освободиться?»

— Я поищу, — быстро предложила она. — Обождите здесь, у окошка.

И отправилась дальше по коридору, открывая двери и заглядывая во все комнаты. Занятые какими-то своими, не совсем понятными делами, люди не обращали на нее ни малейшего внимания.

— А где здесь Военно-революционный комитет? — спросила она идущего навстречу человека, обмотанного пулеметными лентами.

— А кого вам там надо?

— Товарища Троцкого.

— Так это на третий этаж. Лестница в конце коридора.

За дверью с приколотой картонкой «Военно-революционный комитет» творилось столпотворение. Надька остановилась в нерешительности. Кого здесь только не было: солдаты, рабочие, дворники, прислуга, студенты, гимназистки. Люди, сидящие за столом, что-то записывали. Протолкнувшись поближе, Надька увидела Троцкого, склоненного над картой города. До нее, наконец, дошло, что здесь делали все эти люди. Они приносили сведения о размещении и передвижении юнкеров. Юнкеров! «Вот тебе и Корнилов! Вот тебе и немцы в Риге! — задохнулась Надька. — Обман, какой обман! Это же снова вооруженное восстание, а не защита города от контрреволюции! Я в этом принимать участия не буду!» — развернувшись и хлопнув дверью, она поспешно вылетела из комнаты. Но что сказать людям, ожидающим ее внизу с пулеметами? «Нужно срочно позвонить в Таврический дворец», — пришла в голову спасительная мысль. Снова потолкавшись в коридорах, она нашла комнату с барышней, давшей ей сделать телефонный звонок.

— Вы поступаете в распоряжение Военно-революционного комитета, — строго приказал голос старшего товарища по партии. — В случае победы большевиков, мы войдем в коалиционное правительство. В случае поражения — примем удар вместе с ними.

Надька молча нашла свои пулеметы.

— А мы уже знаем, к кому пристать, тока вас и ждали, — радостно встретили ее айвазовцы. — Пулеметная бригада размещается на чердаках. Дык мы к ним.

Промозглость чердака Смольного института, вдобавок к поездке в кузове грузовика на холодном ветру, сделали свое дело. Через два дня Надьку отвезли в близлежащую больницу, где она провалялась с плевритом, пропустив событие под названием «Великая Октябрьская социалистическая революция». Зато ее сестра Ольга оказалась в гуще событий.

Зимний дворец давно уже походил на запущенную казарму. Вся галерея от вестибюля до Главной лестницы была завалена оружием. На матрасах и грязных одеялах, разбросанных на полу в парадных залах, спали юнкера. Тут же валялись окурки впе-

ремежку с огрызками, пустые бутылки с названиями редких вин, позаимствованные из дворцовых погребов. На подоконниках стояли пулеметы. Привыкшие к тяжелому духу лазарета, медсестры предпочитали обходить эти залы из-за висящего в воздухе табачного дыма и запаха давно немытых тел. Двадцать пятого октября никто из персонала не покинул госпиталь. Пронесся слух, что мосты сведут на всю ночь, а дворец атакуют. Точного представления о том, кто атакует, у Ольги не было. Ясно, что враги — какая разница кто. Она уже насмотрелась на их разгоряченные физиономии на улицах, наслушалась их разговоров в трамваях, с отвращением начиталась каких-то призывов в безграмотно написанных листовках. Из окон лазарета ей были видны ряды женского батальона, выстроенные на Дворцовом мосту, беготня юнкеров, подкативший к набережной броневик. День прошел в хлопотах: переодевали и выпускали из госпиталя ходячих больных, решали, что делать с лежачими, распределяли их по городским больницам. Закончив с перевязками, Ольга вдруг заметила, что у нее дрожат руки. «Не смей, не смей бояться, даже, если это твой последний день жизни!» В подвернувшуюся склянку она плеснула спирта из пузатой бутылки, запила остатками воды из горлышка графина. Кажется, помогло. После вечерней молитвы все разошлись по постам, включили ночной свет. Обстрел начался около двух часов ночи со стороны Петропавловской крепости.

— Шрапнелью лупят, — сказал кто-то опытный.

Посыпались стекла, застрекотал пулемет. Ольга медленно перекрестилась, не сдвинувшись со стула, на котором сидела. Часа через два послышался топот многочисленных ног. Бежали вверх по Иорданской лестнице. Какие-то люди с оружием в руках заполняли залы с ранеными. Кажется, кто-то кричал. Ольга поднялась со своего места и, как сомнамбула, побрела к выходу. За дверью стоял часовой в черном бушлате, опоясанный пулеметными лентами.

— Никому выходить не разрешено, — рявкнул он, не глядя на Ольгу.

— Матросик, дай прикурить! — неожиданно для себя самой сказала она, вытащив припасенную папиросу.

— Нету у меня, сестрица, — он словно вдруг увидел ее апостольник с красным крестом над бездонными тоскующими глазами. — Там, внизу у братвы спроси!

Братва толпилась в вестибюле. Последнее, что видела Ольга в Зимнем дворце, было перекошенное бледное лицо старого швейцара, что-то говорящее небритому человеку с винтовкой. Никем не замеченная, она вышла на набережную. Было ветрено, холодно. Пальто осталось там, куда возвращаться не хотелось.

— Безладнова! Ольга Федоровна! — окликнул ее кто-то. — Лицо графини Бобринской показалось в окне автомобиля. — Садитесь скорее! Муж прислал за мной авто. Попробуем выбраться отсюда.

Машину останавливали несколько раз. Шофер предъявлял какой-то мандат, им разрешали ехать дальше. Ольга вернулась домой под утро.

Часть вторая

Глава 1

Ванька Колесниченко знать не знал, что он блажен, посетив сей мир в его минуты роковые. То ли по общей своей необразованности, то ли по причине растянутости роковых минут в долгие годы, за которые он успел вымахать из щуплого мальчика в статного хлопца с корявыми от поденной работы руками-лапищами. В первую мировую призваться он не успел, родившись аккурат под новый 1900 год, зато поспел к ее окончанию, перешедшему неизвестно как в войну новую, запалившую его родные места, сорвавшую и понесшую его, как вызревшие семена ковыля в ветреный день по степи. Революция подбирала таких охапками. В конце ноября 17-го года прошел он шестнадцать верст в стоптанных опорках по подмерзшей дороге до соседнего села, где, по слухам, установилась новая власть. В просторной избе с красной, полинявшей от дождей тряпкой, развесившейся у входа, человек по имени Мартынов выписал ему бумагу «Мандат. Иван Колесниченко назначается членом батрацкого совета депутатов».

Дома Ванька аккуратно развернул бумажный листок, смятый от лежания в кармане.

— Гляди, Мань! — старшая на два года сестра Маня неторопливо вытерла мокрые руки о передник и по складам нараспев прочитала мандат. Ее курносое мужиковатое лицо осталось беспристрастным.

— Ты это, Ваня, сховай бумажку-то куда-нибудь.

— Дык куда?

Ванька пристально глянул вокруг.

— В сундук? Там мышь пожрет враз.

— Да хоть за образа. Все дедунь не достанет, а то найдет, скрутит на сигарки. Он тут давеча горевал, что нет у нас газетки или бумаги какой, ему курить страсть как охота.

Ваня подумал, потом засомневался.

— У Мартынова в хате образов не было. Бородатый мужик — вроде из господ — на картинке висел. Прямо на стене. А углы пустые. Я точно разглядел.

— Чудной ты. Власть батрацкая, а мужик на картинке из господ. Ну, гляди сам.

Маня потеряла всякий интерес к мандату. Дел у нее хватало — и сложенный листок опять поместился в кармане старой поддевки.

Дел у всех было много. В деревне старики да мальцы, да бабы. Лошадей и то на фронт забрали. Остались одни забракованные. Правда, к осени то тут, то там появились беглые с фронтов. Дезертиров прятали, околоточным ввали в глаза, да те и сами не усердствовали, искали лениво, не лазили по сараям и погребам.

Соседка Нюрка цокнула пальцем по оконному стеклу, зато пала по крыльцу и, дернув дверь в хату, затараторила, рыская глазами по углам.

— Керосина лишней капли не найдется? Ванька далече ходил: может, принес?

Вот ведь какая — ничего лучше придумать не могла. Из всех окон видать было: Ванька с пустыми руками пришел.

— Ну откуда, Нюр? Ты же знаешь, мы сами фитили да лучину жгем.

Керосин в деревне на вес золота, и не столько в лампах жгли его, сколько травили вшей, принесенных с фронта дезертирами. Год назад Колесниченки впустили одного, постелили на полу. Тот переночевал и дальше пошел пробираться к своим, а вши тифозные от него по всему дому расплозились. Все и переболели. Остались Иван, да сестра его Маня, ну и дед старый, а родители один за другим так и умерли.

Детство у них было обыкновенное. Сначала первые шаги по деревянным лавкам, беготня босыми ногами по земляному полу и пыльному двору, потом по росистым лугам, по вонючей жиже коровников. В церковь с грязными ногами батюшка не пускал. Их мыли прямо у колодца, поливая холодной водой из ведра. Этот же батюшка учил деревенских грамоте. Азь, Буки, Веди. «Я знаю буквы, дети». Глагол, Добро, Есть, Живете, Зело. «Живите, трудясь усердно!». Дети и жили трудясь. По-другому там никто не жил. Что Ванька помнил из детства? Поля, плетни, высокое небо в звездах, низкое небо в тучах. Маня умела собак заговаривать. С ней было не страшно ходить в соседнюю деревню. На всех прохожих чужие собаки кидались, а на них — нет. Коровы

у нее больше всех молока давали, куры неслись белыми отборными яйцами, герань на окнах цвела круглый год, а женихов не было. Все на войну ушли, остались завалищие, никому не нужные. А и хорошо! Брат с сестрой ладили. Зачем им еще кто-то? Ванька умел читать по складам, свою фамилию писал раскорякой, а больше — кому что знать надо было? Лет с пятнадцати соседи стали звать его подсобить: то телку зарезать, то свинью забить. Телок резать поначалу было жалко. Они смотрели на своих убийц человеческими глазами, полными молчаливой мольбы. «Вот ведь животное, а смерти боится, — думал молодой Ванька. — Вишь, как дрожь ее пронимает: словно знает, что ей не жить». Скотину резали умеючи и быстро. Ванька подставлял ведра, куда стекала кровь. Свиной он никогда не жалел и не выносил их предсмертных воплей. Скоро он научился этому делу сам, забыв о прежнем чувстве жалости. Поест в деревне любили. Сало, огурцы с помидорами, арбузы с дынями солили на зиму, набивая доверху кадушки в погребах. Летом сушили грибы, развешивая гирляндами вокруг печей. К праздникам гнали горилку. Гуляли шумно. Много ели и пили, горланили песни, миловались и дрались.

Годам к шестнадцати Ванька вытянулся и раздался в плечах. Ежиком полезла щетина над губой. Особенно хороши были голубые глаза под темной, нависшей на брови челкой. Курносый нос картошечкой ладно сидел между румяных щек. В штанах росло и наливалось хозяйство, на которое поглядывали рано овдовевшие бабоньки. Девственности его лишила буднично и по соседски все та же Нюрка. Выросший в мире откровенном и незащитимом, Ванька с детства видел спаривания животных и сызмальства был свидетелем родительских утех. В распахнутое лоно Нюрки он вошел требовательно и грубо. Нюрка вскрикнула и обхватила его босыми ногами. Кончил Ванька быстро, натянул штаны и, сплюнув, вышел из соседской избы на двор, оставив распластанную Нюрку на полу. Та подобралась и затаила на него обиду на всю жизнь. Только никому до ее обид дела не было, а Ванька невзирая на свою молодость, стал первым парнем на деревне, никого из баб, впрочем, не любя и не жалея. Вернувшиеся с войны мужики прыткость молодого ёбара заметили и, хотя были увечные, навалились как-то на него всем скопом и побили, пообещав в следующий раз «яйца-то оторвать».

Отлежавшись на печке под причитания Мани, Ванька встал, обул опорки и пошел в соседнее село, где по слухам установилась новая власть.

Через полгода под громогласный лай деревенских собак объявился Мартынов. Постучав и не дождавшись ответа, он пнул дверь Ванькиной хаты. Коротко скрипнув, дверь распахнулась. Перед испуганной Маней встали три человека с винтовками через плечо.

— Иван где? — спросил Мартынов.

— Дык в конюшне он, навоз сгребает.

Чужаки оглядели хату быстрым неприязненным взглядом.

— Это что же, гражданка, в бога веруете? — увидев икону в красном углу, ехидно спросил один из них.

— С виду он был исхудалый, по-городскому одетый и в круглых очках.

— Дык это... мы все тут веруем. Христиане... — от волнения Маня затеребила полотенце, которым хотела накрыть тесто в кадшке, да не успела. Так и стояла у печи, с которой на прищельцев подслеповато и с любопытством взирал дедуня.

— А не будет ли у вас до нас бумаги какой-никакой, люди добрые? — вдруг спросил он, не обращая внимания на оторопевшую от ужаса внучку.

— Бумаги нет, а дело есть. Излишки будем забирать, — Мартынов не настроен был на длинный разговор.

— Каки-таки излишки? — не поняла Маня.

— А всякие. Продуктовые. Люди в городе с голоду помирают. Куска хлеба и того нет. Вам рабоче-крестьянская власть землю дала, и вы тут жируете, как несознательный элемент.

— Какой еще элемент? — снова не поняла Маня.

— Да что с ней разговаривать, — оборвал Мартынова человек в очках. — Пусть ведет к Колесниченко.

Ванька уже и сам пришел, потоптался на крыльце, раздумывая, смывать весеннюю налипшую грязь с сапог или так идти. Увидел следы от чужих ног и, как был, перешагнул через порог. Мартынов первый поздоровался и пожал ему руку. Двое других сказались то ли комиссарами продовольствия, то ли еще кем-то — точно Ванька не разобрал.

— Ну, рассказывай, какие у вас тут хозяйства кулацкие. Кто в деревне хлеб новой власти не сдает, в ямах гноит? — начал Мартынов, сев на лавку под образа.

— Дык мы разверстанные нормы всегда выполняли еще при Временном правительстве, — заюлил Ванька. — А как посеем, новый урожай пожнем, дык и советской власти излишки все, как есть, сдадим.

— Ты это брось, — Мартынов упер руки в расставленные колени, — поведешь по дворам. — Он ощетинился и словно бы оскалился. — Подводы снарядишь. Излишки хлеба изымать с товарищами комиссарами будем и чтоб мне без контрреволюции! Понял? Как не понять.

К ночи обошли все дворы. Где-то их провожали воем, где-то волчьими взглядами. Мартынов выписывал мандаты о сдаче хлеба, а сам втыкался медвежьими глазами в лица недовольных, словно хотел их запомнить для судебного дня. Запрягли недавно ожеребившуюся кобылу, погрузили на телегу мешки с зерном и поехали на станцию. Там разгрузились, поставили исхудалого комиссара в очках сторожить добро до прихода поезда, и втроем вернулись в село за остатками. Ванька уговаривал Мартынова заночевать в его хате, но тот переживал за комиссара в очках, как бы чего с ним не случилось: винтовкой управляться он умел, но был подслеповат. В кромешной ночной темноте они слышали погоню, но нападавших не разглядели. Мартынов и второй комиссар успели сделать по выстрелу. Получив удар по голове, Ванька свалился и очнулся только на рассвете. Теплые губы жеребенка трогали его лицо. Запряженная в пустую телегу кобыла паслась неподалеку, отыскивая в поле молодую повылазившую на кочках травку. Приподнявшись на локтях, Ванька увидел растянувшееся тело Мартынова. Немного в стороне с расквашенной башкой лежал второй комиссар. Ванька встал на ноги и, шатаясь, зашагал к станции.

Дорога, по которой он шел, оживала под лучами восходящего солнца. На проснувшийся мир он смотрел из-под челки, слипшейся от грязи и крови, — и мир этот искажился: в нем осталось место только жажде выживания. Ваньке хотелось скорее забыть распластанные тела убитых, запах оттаявшей лужи крови вокруг

головы комиссара продовольствия. Через два часа он дошел до станции и растолкал спящего на лавке комиссара в очках. Увидев Ванькину голову, тот все понял:

— Убили? Ранили?

— Убили. Ночью напали, когда мы уже на станцию вертались. Темень была, хоть глаз выколи.

Комиссар отер голодную слюну, набежавшую за ночь изо рта:

— Вот что, мне в уезд позвонить надо, в чека.

Двоим они пошли будить начальника станции. Сидя под дверью, Ванька слышал с трудом доходившие до него слова:

— Это Орлов. Передайте, Орлов говорит... Лично... Да... Жду... Докладываю...

Слова замолкли на какое-то время. А может, их заглушил шум в Ванькиных ушах. Мимо него прошел начальник станции с перекошенным лицом. Наверное, ему был лучше слышен телефонный разговор. Или у Ваньки перекошилось в глазах все — не только лицо начальника станции. Ему хотелось домой, к своим, но туда было нельзя. Там его убьют. Куда же теперь? Никто не знал.

К вечеру пришла бронедрезина с пулеметом, из которой высадилось девять чужих человек со злобно-решительными лицами. Они погрузили пулемет на конфискованную телегу, туда же уселись сами с Орловым и Ванькой. К ночи доехали до села. Ночь была звездная, с высокой круглой луной и без единого облачка на небе. Разместились в Ванькиной хате. С жадностью съели содержимое чугунка, поставленного Маней на стол, разделили краюху хлеба. Потом покурили дедуниной махорки и ушли. Маня только и успела всплеснуть руками да перевязать тряпицей Ванькину голову. Уже стало светать, когда в деревне раздались первые выстрелы. Коротко тьякнул пулемет. Маня встала на колени перед образами.

— Тикать отсель надо, — сказал дедуня с печки.

— Дык куда тикать, дедуня? А на кого хозяйство оставить?

— Все бросай, беги на станцию. Тебе тут не жить. Убьют тебя и Ваньку убьют.

Маня перекрестилась в последний раз, поднялась с колен. Побросала что-то на лавку, затынула в узелок и, поцеловав дедуню, выскользнула за дверь.

Бронзовые часы остановились на камине в гостиной, словно не желая отмерять новое время. В тихой задумчивости Ольга прошла по всей квартире, когда-то принадлежавшей Терновскому. Вот спальня. Вот небольшой кабинет мужа с рядами книжных полок. Вот наугад выбранная книга — «История французской революции». Чья это рука открыла ей страницу, начинающуюся со слов: «Якобинцы расставляли гильотины»? Захлопнуть. Поставить на место и никогда больше не открывать. Вот снова гостиная с пробивающимся сквозь шторы рассветом. Зеркало. «Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?» Белее — да. Лицо в зеркале вытянутое и бледное. Вдруг вспомнились слова маменьки: «Жить. Надо жить». И нянюшка тут же рядом с маменькой — гладит Оленьку по голове слегка подрагивающей рукой: «Живи, Олюшка, не гневи Бога!»

— Нету у меня никого, кроме вас, — заплакала Ольга.

«Што ты, девонька, всегда найдется человек, которому еще хуже, чем тебе, а он не ропщет, живет, как Бог даст. Вот и ты живи!»

И Ольга осталась жить.

Город изменился до неузнаваемости. Он покрылся желтым заплывающим шелухой снегом, примерзшими к стенам листовками. На перекрестках, где жгли костры люди в распахнутых шинелях, бойко шла торговля добром, награбленным за ночь. Все привыкли к выстрелам, к очередям за хлебом и грабежам. Одно время Ольга подумывала о переезде в усадьбу Терновских под Воронежем, но где-то ближе к Новому году неведомо откуда ей пришло извещение, подписанное еще комиссией Временного правительства, о пожаре, уничтожившем усадьбу и всех ее обитателей. Ни о каком разбирательстве, конечно, не могло быть и речи.

Денег у Ольги практически не было. Иногда прибегала Варенька, выхватывала какие-то вещи из шкафов и бежала на угол продавать спекулянтам. Она же покупала кое-какие продукты.

— И что тут сидеть? Чего дожидаться? — Варенька уговаривала Ольгу переехать на Выборгскую сторону и устроиться к ней на «Невку»¹. — Карточки продовольственные получите, а то тут скоро с голоду помрете.

— А что ж я буду делать на «Невке» твоей? Я ничего не умею, — сомневалась Ольга, понимая, впрочем, правильность Варенькиных доводов.

— Да, Господи! В прядильщицы не возьмут, так в контору пойдете наряды закрывать или еще что не пыльное делать.

Поначалу Ольга пыталась сама найти работу. Тщетно искала она что-нибудь подходящее в газетных объявлениях, ходила по больницам, предлагая свои услуги. Ей казалось, что работать в городе никто не хотел, а может, это просто ее внешность не подходила к требованиям новых хозяев жизни. Было в ней что-то от скорбной курсистки, аккуратно переставляющей ножки в старых ботиночках через ямы и рытвины на улицах, заваленных отходами человеческой жизнедеятельности. Однажды, привлеченная шумом, она остановилась перед окнами какого-то кабака. Там гуляли с размахом. Таких людей ей еще не приходилось видеть: размалеванные кокотки в ворованном шмотье, матросня, увешанная оружием.

— Господи, спаси и помилуй! — в ужасе отшатнулась Ольга.

— Куда же вы, дамочка! Заходите, не пожалеее. У нас тут есть чумила. Занюхаемся вместе, а? — крикнул ей вслед какой-то пьяный мужик.

Дамочка прибавила шагу и почти добежала до своего дома на Захарьевской.

У парадной дворник Иван нехотя долбил ломом лед. На лице его не читалось ничего, кроме отвращения к тому, что он делал. Оторвавшись от своего занятия, он проводил Ольгу злобным взглядом. Ничего хорошего это не предвещало. И точно: на следующий день дворник вломился в ее квартиру с какими-то похожими на него людьми.

— Мы тут это... домовый комитет. Проверяем наличие... — начал он, потрясая какой-то бумагой.

¹ Прядильный комбинат «Красная нить».

Ольга не успела разобрать наличие чего собирался проверить дворник, как люди в грязной обуви уже затопали по квартире. Один из них достал линейку и стал что-то замерять, прикладывая ее к стенам. Другой записывал какие-то цифры в тетрадку. Судя по выражению лица, в его уме происходила напряженная работа.

— Две семьи поселим тока так, товарищ председатель, — человек с тетрадкой зашептался о чем-то с дворником.

— Уплотнять вас будем, гражданка Терновская, — счастливо вскинулся тот. — Две семьи вселим-с! Не все вам в хоромах-то наслаждаться! Так что вещички свои перенесете туда-с. — Он ткнул кривым пальцем в сторону кухонной кладовки, где хранилась всякая утварь. Там с трудом могла поместиться однобокая кушетка из гостиной.

Они еще пошептались, не глядя на Ольгу. Человек с линейкой все вертелся неподалеку, не в силах оторвать глаз от бронзовых часов, стоявших на каминной полке.

— Это мы у вас, гражданочка, конфискуем, на правах революционного победившего народа, — наконец решился он.

Ольга не шелохнулась. Ценных вещей в квартире давно не было, сломавшиеся часы оставались там, как напоминание об ушедшей жизни. Завернувшись в теплый платок, она молчала.

Ну, покедова, гражданочка. Готовьтесь тут потесниться ...

Входная дверь хлопнула вслед за «уплотнителями». Оставаться в Египетском доме не имело никакого смысла. «Куда же идти? — раздумывала Ольга. Ехать в Екатеринодар к сестре не хотелось. — Значит, придется перебраться к Вареньке, а там видно будет».

Глава 2

Нетерпение съедало Надькину душу, пока ее тело, лежащее на больничной койке, сотрясалось от кашля. Провалилась она с месяц, а когда смогла подняться на слабые дрожащие ноги, тут же потребовала вернуть ее в революционный строй. Никто не возражал. Глотнув холодного воздуха за дверями больницы, она снова зашла в кашле. Сил на революцию оказалось не много. Пришлось кое-как добираться домой. Кто знает, выжила бы она

в голодном и холодном городе, если бы не соседи. Две тетки из квартиры напротив, услышав Надькин лающий кашель, принесли ей немного сухарей и пучок каких-то трав для заварки в кипятке. Через день Надька запросила свежих газет. Начитавшись новостей, она взволнованно заходила по комнате. Итак, власть у большевиков. Съезд своей партии она пропустила, провалявшись с плевритом. «Как некстати! Черт бы побрал эту болезнь!» — сердилась на себя Надька. Ясно, что у эсеров нет единого мнения по отношению к происходящему. Ясно, что левое крыло успешно откололось. Ясно, что Спиридонова поддерживает большевиков. А что думает она сама, эсерка Безладнова, о диктатуре пролетариата? Россия, все-таки, страна крестьянская, пролетариат малочислен. После свержения монархии все кричали о демократии. Временное правительство потому и называлось «Временным», что готовило передачу власти учредилке. И вот, пожалуйста — диктатура пролетариата! А как же народовластие? Всероссийские выборы? Что-то тут не то. У нее начинала болеть голова. Хотелось курить. Сердобольные соседки не покупали ей папиросы, а кроме них никто не навещал убогую Надькину квартирку. Симон Юдович и тот перестал являться по ночам. Горькая мысль об одиночестве иногда закрадывалась в ее распухшую от тревог за партию голову. Надо было выбираться из дому — и как можно скорей. И она выбралась в Таврический дворец перед самым Новым годом. О транспорте не могло быть и речи. Вид неосвещенного города, покрытого густым туманом, поразил даже Надьку, всегда равнодушную к окружающему ландшафту. Ее сутулая и тощая фигура в пальто с чужого плеча, неуверенно перебиралась через неубранные завалы снега на тротуарах. Холодно было настолько, что шерстяной платок, обмотанный вокруг Надькиной головы, покрылся инеем, когда она добралась до Шпалерной улицы.

В Таврическом дворце не топили, но стены хранили тепло дыхания тысяч людей, по-прежнему приходящих сюда каждый день.

— Безладнова! Вот и прекрасно, что вы появились, — обрадовались партийные товарищи. — Болели? Сейчас болеть нельзя. Сейчас решающий для партии момент: готовимся к открытию Учредительного собрания. Расстановку сил понимаете?

Именно этого Надежда Безладнова не понимала.

— Так мы поддерживаем большевиков или нет? Какой наш лозунг? — Надька припомнила строгий голос в черной телефонной трубке, приказывающий принять участие в восстании 25 октября, и вопросительно уставилась на товарищей.

— «Вся власть Учредительному собранию!» И никакого другого лозунга, Безладнова, понимаете?

Опять это «понимаете».

— Так, — кивнула она, — а какое тогда отношение к Советам?

И тут же на нее посыпалось:

— Учредительное собрание и большевики не могут сосуществовать вместе ни одной минуты! — выкрикнувший это человек передернул плечами и нервно заходил по комнате. — Или «Вся власть Учредительному собранию!», и тогда падут большевики, или «Вся власть Советам!», и тогда падет Учредительное собрание. Или — или.

Надьке смертельно захотелось закурить. Кто-то дал ей папиросу. Затянувшись, она с наслаждением выдохнула дым.

— А что, силы у нас реальные? Извините, товарищи, месяц была не у дел. Отстала от ситуации.

— Конечно, большевики в Питере господа положения, но у нас есть основания считать, что на фабриках и заводах идет процесс отрезвления. Мы можем рассчитывать на колонны демонстрантов из всех рабочих районов к Таврическому дворцу для приветствия учредилочки.

Надька не имела ни малейшего представления о процессе «отрезвления» среди рабочих, но ей хотелось в это верить. Крестьянство — это да. Эсеры были и остаются «мужицкой» партией, хотя в накуренной комнате не было ни одного мужика. Все господа в смятых сюртуках и несвежих сорочках. Одна из соратниц с кругами под глазами от бессонных ночей возбужденно затараторила:

— Если колонны пропустят, мы будем окружены живою стеной от любой попытки разгона. Если не пропустят, если будут разгонять вооруженной силой, если прольется кровь безоружных, то потерпят ли это самые крепкие революционные воинские части, первыми выступившие против царя в феврале? Преображенцы и Семеновцы приняли резолюции в нашу пользу.

На последних словах соратница для большей убедительности хлопнула рукой по стопке бумаг, лежащих перед ней на столе, словно именно там и была написана эта самая резолюция. Она еще что-то хотела сказать, но ее прервал человек с бородкой и в круглых очках. Его шея была замотана шарфом — видимо, он недавно сорвал голос.

— Питер, конечно, на стороне большевиков, но гуца страны за нас. Результаты голосования налицо. Нельзя позволить большевикам присвоить наши лозунги, — просипел он и закашлял в шарф. Товарищи налили ему воду в стакане.

— Броневой дивизион высказался за Учредительное собрание, — добавил кто-то...

— Нет-нет! Только мирная демонстрация! Если нас начнут разгонять силой, вся Россия увидит, на что способен Ленин и его компания.

Возбужденный разговор не умолкал. Надьке было предложено тут же принять участие в подготовке текстов прокламаций к открытию учредиловки. Ощувив необходимость своей жизни, она с готовностью согласилась и раздумывала над тем, где же найти человека, отдавшего ей приказание оставаться в Смольном в ту достопамятную ночь.

Она увидела его тридцать первого декабря в той же самой комнате, накуренной даже больше, чем всегда. Соратники забежали сюда с поздравлениями и пожеланиями победы в наступающем году. Все торопливо обнимались, чокались кружками с жидким чаем и заедали черным хлебом, щедро смазанными красной зернистой икрой. Нелепость угощения вызывала удивление и смех.

— Это откуда ж такая барская закуска? — спросил человек, с которым так хотелось поговорить Безладновой.

— Товарищам удалось доставить из Астрахани бочку с икрой. Вот мы и пируем.

— А я уж подумал, не экспроприрована ли она, грешным делом, у какого-нибудь «Донона»! И ведь какой чертовски приятный вкус у этого буржуазного лакомства! Водочка бы тоже хорошо сейчас пошла. Для согрева...

Надьке удалось пробраться поближе к его большой фигуре, которой было жарко в тесной и накуренной комнате. Ей были видны икринки, застрявшие в его усах, мясистую улыбку. «Для согрева... Фигляр», — подумала она.

— Это вы бросьте, Штейнберг! Работы по горло. Нам нужны трезвые головы.

И все разом зашумели о повестке дня и прочих партийных делах. Поговорить со Штейнбергом не удалось, но до Надьки долетали обрывки фраз его разговора с охрипшим товарищем. Выходило, что большевикам можно доверять: ведь они захватили власть именно для того, чтобы обеспечить работу Учредительного собрания. Охрипший товарищ Ленину не верил и говорил о необходимости вооруженной защиты Таврического дворца от красногвардейцев.

— Бросьте, партия приняла решение отказаться от террора в борьбе с большевиками. Вы не желаете подчиниться партийной дисциплине? — наседал Штейнберг.

— Оставьте демагогию! — не сдавался охрипший товарищ. — Вы со Спиридоновой не хотите видеть того, что происходит в реальности. По приказу Крыленко уже арестованы депутаты учредиловки...

— Арестованы кадеты, буржуазная контрреволюция, — прервал его Штейнберг.

— Так вам этого мало?

Слушая их, Надька не знала, что и думать. «Время покажет», — решила она. И время показало.

Она шла в колонне рабочих «Айваза». Ветер раздувал ее космы, выбившиеся из-под платка, трепал транспарант «Привет лучшим гражданам Земли Русской!» над головами демонстрантов. На холоде не пели, но возбужденное приподнятое настроение кружило по растянувшимся рядам. Шествие уже заворачивало с Кирочной на Таврическую, когда в морозном воздухе слышались хлопки выстрелов.

— Это где стреляют? — к Надьке подбежал эсер-дружинник, — а нам оружие было не велено брать.

По колонне прокатился ропот. Первые ряды встали.

— На Литейной, должно быть.

— Гляди-ка, впереди матросы в цепи стоят. Вроде, как за слон. Они што ж, не пропустят нас?

— Товарищи! Не поддавайтесь на провокации, — напрягая голос, крикнула Надька. — Наше шествие мирное. Айвазовцы, где ваши организаторы? Подойдите сюда!

К ней подошли несколько человек.

— Безладнова. Член партии социалистов-революционеров с 1904 года, — представилась она. — Пройдемте к заслону с просьбой пропустить колонну к Таврическому дворцу.

Пока разговаривали с матросами, перегородившими проход на Таврическую улицу, на остановившиеся передние ряды стали налегать люди, подошедшие с Кирочной. В толпе пронесся слух о стрельбе на Литейном проспекте. Раздались голоса:

— Где это видано? По своим палят!

— Мы — мирная демонстрация! Матросики, открывая заслон! Пушай своих! Холодно тут стоят!

Для Надьки замерзшие люди в бескозырках были на одно лицо, но кое-кто из них припомнил странную дамочку с двумя пулеметами в Смольном накануне вооруженного восстания. Уж такая у нее была запоминающаяся внешность! Колонну пропустили. Перед воротами Таврического дворца шумела огромная толпа. До открытия первого заседания оставалось больше часа, но как пробиться к входу? Прямо за воротами, на расчищенной площадке стояли легкие орудия и пулеметы. Надька пробралась к своим, к самой ограде. Здесь говорили о том, что преображенцы и семеновцы не вышли поддержать эсеров.

— Как так?

— Да так. Броневой дивизион тоже не вышел. Постарались рабочие-ремонтники: за ночь превратили боевые машины в груды застывшего железа.

— Вот вам и большевики во всей своей красе!

— Подождите, товарищи, с выводами! На разгон это пока еще не похоже.

— Не похоже? А открыть стрельбу по мирной колонне на Литейном, это что? Говорят, есть жертвы.

— Мы не знаем, кто давал приказ стрелять.

— У меня самые дурные предчувствия...

— Спокойно! Будем пробираться ко входу.

Войти удалось только через боковую дверь. Делегатов пропускали по одному, отбирая личное оружие у тех, у кого оно было. Зато коридоры дворца напоминали военный лагерь: вооруженная охрана у каждой двери. В зале гудеж, какие-то похабные выкрики, смех... Добиться тишины практически невозможно. Шумит галерка, набитая людьми в шинелях и бушлатах. «Да мы

тут все на прицеле! — Надька ищет глазами Ленина. — Вот он!» Ленин сидел, откинувшись на стуле в правительственной ложе, демонстрируя скуку и пренебрежение к происходящему. Вот кто-то торопливо семенит к нему через проход. Вроде похож на Троцкого. Тоже брюнет, тоже в пенсне. Склоняется над лысой головой. Шепчутся. Брюнет кивает, так же торопливо отскакивает и взбирается на трибуну. Начинает говорить. Зал немного затихает. «Так это Свердлов», — думает Надька. Ей не приходилось видеть его раньше. Свердлов выдвигает Спиридонову в председатели Учредительного собрания. У правых эсеров есть своя кандидатура: Чернов. Кто-то объявляет голосование. Надька без права голоса. Она может лишь помочь подсчитывать поднятые руки. За Чернова почти на сто голосов больше. Да где же Спиридонова? Спиридонова появляется после короткого перерыва и усаживается рядом с Лениным.

— Это надо же! У левых с большевиками прямо брак по согласию, — говорит кто-то рядом с Надькой.

У той снова раскалывается голова. Мария Александровна — ее идеал. Святая и благородная. Надо разобраться в том, что происходит. Кто же прав? Чернов или Спиридонова?

А между тем, Чернов на трибуне рвет жилы, пытается перекричать зал. Он говорит о необходимости скорейшего решения земельного вопроса, о заключении справедливого демократического мира. В зале продолжают орать после каждого его слова. Слышится клацанье затворов. «Да что же им не так?» — Надька поднимается со своего места и смотрит на ревущие задние ряды.

— Учредительное собрание должно иметь полноту власти. Но оно не желает узурпировать народную волю. Оно готово все свои основные решения передать на проверочное всеобщее голосование народа, на плебисцит. При таких условиях всякий, кто против него, стремится к захвату власти, к деспотической опеке над народом, — голос Чернова пытается прорваться к орущей толпе.

Тщетно. Спиридонова с Лениным демонстративно покидают зал. За ними уходят левые эсеры и кто-то из большевиков. Чернов платком вытирает с лица пот, пьет воду из поданного ему стакана. Он проиграл. Народ не хочет предложенной ему власти. Так чего же хочет народ? Да разогнать все это сборище к черту!

Но есть же важный насущный вопрос, который может быть безотлагательно решен. В конце концов, партия эсеров обещала дать крестьянам землю. Осталось только принять закон, но для начала его надо сформулировать, потом обсудить, потом учесть все поправки, потом проголосовать.

— Может, на сегодня хватит? Разойдемся по домам.

Чернов понимает, что расходиться нельзя. Неизвестно, что ждет их на следующий день.

— Работаем, товарищи! У нас мало времени, — его карманные часы показывают четыре утра.

Но кто это там колотит прикладом в дверь? Матрос Железняк с командой братвы:

— Я прошу немедленно покинуть зал заседания. Караул устал.

А ведь могли перестрелять прямо в зале! Не перестреляли. Не пришло еще это время. Да и позднее в залах не стреляли. Арестовывали, пытали, ссылали, убивали в местах, как им казалось, более для этого подходящих. У Надьки, задремавшей в заднем ряду под монотонные обсуждения бесконечных формулировок, тяжелых предчувствий еще нет, но есть страстное желание понять и решить, к кому примкнуть: оставаться с Черновым или перекинуться к левым, поддержавшим Ленина и большевиков. Ленин ей неприятен, но с ним ушла Спиридонова. Не потому ли так просто и быстро покончили с учредилкой? Что же тут, все-таки, произошло?

На следующий день Безладнова понеслась в Тенишевское училище на митинг левых эсеров. Было многолюдно. Пробриться в первые ряды не удалось. Прислонившись к колонне, она слушала выступления своих бывших товарищей по партии. «Вот ведь как интересно, — думала Надька, — они так же убедительны сейчас, говоря о Советах и диктатуре пролетариата, как были убедительны год назад, говоря о необходимости созыва Учредительного собрания. Что это? Изменение тактики или измена идеалам?» Спиридонову ждали, но она задерживалась. Кто-то стал кричать с места, поднялся галдеж. Обстановка накалилась. Хотела что-то крикнуть и Надька, но закашлялась, глотнув висящего в воздухе табачного дыма вперемешку с застоявшимися запахами. Ей пришлось выскочить на улицу и долго с надрывом каш-

лгать у входной двери. На Моховой было безлюдно. По середине улицы, объезжая рытвины, пробирался автомобиль. Чуть не доехав до училища, он заглох. Из него вышли двое: невысокая женщина в подпоясанном солдатским ремнем пальто и мужчина в до-революционной шубе. Они оживленно разговаривали. «Спиридонова!» — замерла Надька, прислушиваясь к доносящимся словам.

— Их методы мне так же чужды, как и вам, но за ними пошли массы, выведенные из застоя, а это дорогого стоит.

Мужчина что-то ответил. Спиридонова усмехнулась, слегка закинув голову.

— Ну, это мы еще посмотрим! Я-то уверена, что на следующей стадии социальной революции большевики обанкротятся.

— Нам надо завоевать крестьянство, — откликнулся мужчина, в котором Надька узнала Штейнберга. Придержав дверь, он пропустил вперед Спиридонову. Надька ринулась за ними в зал.

Выступление своего лидера левые приняли громом оваций. Стоящая на трибуне хрупкая женщина в пенсне и с копной небрежно заколотых волос напоминала Надьке вещунью светлого царства социализма, призывающую «собрать все революционные силы в единое целое, в сплошной ком единой социальной энергии» во имя построения этого самого светлого царства. Бесконечные и безрезультатные разговоры о народовластии наскучили Надьке. Наконец, она почувствовала себя частью «кома социальной энергии», разрушающего и, как ей тогда казалось, созидającego новое справедливое общество. Сомнения отпали. Выбор был сделан: Надежда Безладнова заявила о переходе в партию левых эсеров. И снова ветер революции подхватил и понес ее дальше и дальше в неизведанное страшное пространство, раскинувшееся в неизбывном страшном времени.

Отступление 2

Симфония смерти

Но что это?

Галерка, тише — тише!

Театр уж полон, в ложах — свищет,
в партере стелется поземка.

Выводят дирижера. Он в тулупе.

Ему развязывают руки.
Оркестр — все в яме. Состав наполовину пуст.
У первой скрипки слева флюс.
Смычком туда-сюда она поводит.
Стоящий у дверного косяка,
тоскливых глаз с нее не сводит.
— Так что дают?
— Играют музыку революции.
— Кто автор?
— Он уже на Пряжке.
— Чего бы нам хлебнуть из фляжки?
— Гляди, у виолончелистки ляжки.
Ишь, как сжимает инструмент.
— А ну, покажь твой документ.
— Да я ж, как ты, я свой же, брат!
Вот тебе крест, а вот мандат.
У нас ить тоже оркестр есть духовой.
— Где это у вас?
— Да на Гороховой.
Сначала марши отыграет,
а элемент потом карает.
Под трубы эти духовые
отвозим трупы на Пороховые.
На сцене девка в неглиже.
— Так это ж Катька! Надо же!
— Эх, эх! Попляши!
Ножки больно хороши!
— Какие шрамы
у этой дамы!
— В бинокли дайте поглядеть.
Сейчас Петруха будет петь.
Петруха растянул гармонь:
— Эх, яблочко, да с голубикою.
Подходи, буржуй, глазик выколю!
— Петруха, Катьку распатроне!
— Эй, в оркестровой яме! Кончайте какофонию.
Давай сюда революционную симфонию.
Валторны взвыли, и запел гобой.
На сцену вышла матросня гурьбой.

За плечами ружьца.
Свергли братцы самодержца.
Тему развили кларнеты.
Перебиты все кадеты.
Перепутались регистры.
Арестованы министры.
— Эх, эх! Без креста!
Тра-та-та!
— Это что звучит, орган?
Собирайте чемодан.
Запирайте этажи.
Скоро будут грабежи.
Это вам советска власть —
кровушки напьемся всласть!
— Свобода! Свобода!
А ну двинь рояль с прохода!
Злоба, классовая злоба
доведед нас всех до гроба.
Эй, буржуй, гаси огни.
Будет бойня впереди!

Глава 3

Мне досталась только одна старая фотография Ольги с поперечной трещиной посередине. На ней она сестра милосердия в начале мировой войны. Лицо в обрамлении апостольника. Красный Крест на переднике. Что с ней стало через пять лет? Сохранилась ли милая улыбка, нежный овал лица? Не знаю. Привыкшая к мягкой южной погоде, как пережила она ту промозглую зиму с завывающим ветром в подворотнях, трупами лошадей на улицах, вокруг которых копошились люди с топорами? Как ее абсолютный слух свыкся с похабенью частушек, разнужданностью революционных плясок под надрывные звуки гармошки? Из своего настоящего я вижу город той голодной зимы, открывшей череду страшных зим, город застывший, оледеневший, с выбитыми окнами, загаженными подъездами, трупами, объединенными крысами. И все же они выжили: город и женщина, заброшенная туда по прихоти моего воображения.

Вопреки предсказаниям Вареньки, Ольгу не взяли на работу в прядильный комбинат. Остаток зимы она тихо просидела в комнатке на Выборгской, но, как только выглянуло робкое мартовское солнце, принялась обходить оживающий город в поисках работы. Но то ли разруха, то ли ее «контрреволюционная» внешность не способствовали успеху. Как всегда, помогли знакомства. Откуда-то Варенькин брат прознал, что на Карповке открывают старую мебельную фабрику. Вроде бы уже даже набрали мастеров в какой-то цех.

— Им что же, не хватает мебели? — удивилась Ольга.

— Может, за зиму всё спустили на дрова, и большевикам сидеть не на чем, — подмигнула Варенька.

Поездка на Петроградскую сторону заняла полдня, но зато из окна ползущего трамвая Ольге был виден оттаивающий город и стайки голубей, промышлявших у дверей продуктовых лавок. Это шевеление жизни, смешавшееся с грохотом и позвякиванием допотопного транспорта, ей было приятно, и она с удовольствием жмурилась, когда на поворотах трамвая луч солнца преломлялся и освещал ее лицо.

Запущенное здание из красного кирпича, выходящее торцом на покрытую бурым льдом Карповку, оказалось бывшей фабрикой Мельцера. Обойдя сваленные во дворе доски, Ольга прошла в цех, где деловито сновали какие-то люди и пахло древесиной. Ее отправили к пожилому мастеру в помятом картузе и с огрызком карандаша, торчащим из-за уха. Прищурив глаз, он цепко оглядел Ольгу.

— Могу предложить только место уборщицы, — и, увидев, как вспыхнуло от радости ее лицо, добавил, — будете выносить во двор стружку, сгребать опилки и вообще, следить за чистотой в цехе.

«Как все оказывается просто. Главное, не усложнять», — Ольга ходила по цеху в сапогах и фартуке. Заплетенные в косу волосы надежно покоились под красной косынкой. В первый же день Кузьмич, тот самый мастер, что взял ее на работу, ткнул корявым пальцем на выбившиеся из-под платка золотистые пряди Ольгиных волос, отросших за зиму. «Только русалок мне тут не хватало. Штоб возле станков без косынки не крутилась! И вообще...» Не совсем поняв, что он имел в виду под этим «вообще», Ольга поджала губы. Работать она принялась с неистовством,

опустив глаза или глядя поперх голов, поворачивающихся в ее сторону. К концу смены она уставала, но усталость эта, вытеснявшая все мысли из головы, была ей нужна.

Как же мне описать ее жизнь? Как описать скрежет рельсов под колесами трамвая, давку на остановках, поездки на другой конец города, угрюмые очереди в заводские лавки, обувь со сбитыми каблуками, изношенные платья? То ли это бедность, то ли уже нищета. Было ли ей легче от того, что так жили все? Тогда как описать чувство неприкаянности и одиночества, непринадлежности к происходящему вокруг? Может, лучше написать о древесном запахе закрученной стружки, легком шелесте рубанков, радостном воробьином чириканье на фабричном дворе, танцующих пылинках, попавших в солнечный луч? Да, не забыть, что на деревьях, кое-где стоящих вдоль Карповки, появились первые зеленые клейкие листочки. Те самые. И что? Разве не читала она листовку «Социалистическое отечество в опасности»? Не собирала вместе с Варенькой ее брата на фронт под Псков? Не следила за продвижением немцев к Петрограду? Разве не замирало ее сердце при словах «Дон» и «Кубань»? Разве не ждала она вестей оттуда от оставшихся там родных? Не каменела, услышав в очередях про расстрелы на Гороховой? Не крестила лоб на церкви без крестов? Так как же она это все пережила? Как продолжила задуманную какой-то высшей силой ее маленькую жизнь на фоне выпавшего ей времени? Не знаю — только смотрю на лицо в обрамлении белого апостольника...

За Кузьмичем приехали на грузовике, вкатившимся прямо во двор фабрики. Старику разбили лицо, картуз его упал на свежeweмытый пол мастерской. Лысая голова беспомощно мотнулась, по бороде потекла струйка крови. В цеху стало тихо. Замерли станки. Ольга почувствовала мелкую дрожь, пробирающую ее до костей. Еще никогда при ней не избивали человека. Она видела истерзанное тело мужа, но оно было уже мертвым. Люди в кожанках пошли вдоль станков. Кажется, они хватали всех, кто попался им под руку. Один из них остановился напротив Ольги.

— Кто такая? — спросил глухой голос.

Она видела только плохо начищенные сапоги.

— Безладнова. Уборщица.

— Из дворян?

— Из казаков.

— Да што с ней разговаривать? — еще один голос рядом. Громкий и звонкий, отдающий эхом в ушах. — Бери ее, контру! Свили тут гнездо...

Ольга подняла глаза на бледное, измученное каким-то недугом, лицо мужчины. Он был молод, непонятного происхождения. Скорее всего, из недоучившихся студентов... Хотя, кто его знает... Да и какое это имеет сейчас значение?

— Гришковец, ты идешь? Некогда. И так задержались тут, — окликнули его со двора.

Лицо, принадлежащее Гришковцу, усмехнулось и исчезло. Что там было дальше, Ольга плохо помнила. Кузьмича и еще нескольких фабричных никто больше не видел. По слухам, они вступили в сговор с бежавшим за границу хозяином фабрики. К удивлению и радости оставшихся работников, мастерские не закрыли, а прислали каких-то людей из Петроградского совета. Срочно был избран какой-то комитет. Кто-то даже заговорил о самоуправлении. Денег, между тем, никому не платили, хотя и раздали талоны на хлеб и пшено.

В один из понедельников на воротах фабрики появилась листовка о национализации предприятия. Глухо перекинувшись несколькими словами, люди разошлись по местам. Стружки не было. Подвоз досок прекратился, как только мастерские встали. Особо делать было нечего, и Ольга вышла во двор то ли затануться раз-другой папироской, то ли просто так. Людей в кожанках она видела уже не раз. Обычно они перемещались по городу в грузовиках. Этот въехал во двор фабрики в автомобиле, да еще и сам за рулем. Грохнув дверцей, он выбрался наружу, прихватив с сиденья портфель. Кожа его куртки была новенькой и поскрипывала при каждом движении. Новенькими и хорошо начищенными были и сапоги. Даже с виду пустой портфель сверкал новенькими медными замочками. Росту человек был невысокого, но выправка выдавала в нем бывшего военного. Ольга с интересом посмотрела ему вслед. Такие люди просто так не навешиваются. И точно. Какой-то человек из комитета уже повел «поскрипывающую кожанку» по фабрике.

— Там у нас раньше была резная мастерская, а тама лакировочная.

«Давай-давай, Вергилий, — не без злорадства думала Ольга, гася папиросу о трухлявую стену, — покажи товарищу всю мер-

зость запустения, хотя, может, он и не такое видал». Тут она не угадала. На войне Пустырев побывал недолго, был ранен и комиссован уже в конце четырнадцатого года, многого повидать не успел — правда, разруху наблюдал. Из окна автомобиля. Короче, принадлежал к партийной большевистской элите, которой предстояло заняться восстановлением разваленной империи. Попал он в эти ряды по знакомству с Троцким, даже принимал участие в захвате Петроградского телеграфа в достопамятную ночь 25 октября. В Москву его не взяли, а оставили на хозяйственном фронте в Питере. Объезжая вверенные ему объекты, он во все вникал с рвением дилетанта, боясь показаться неучем. Что Пустырев знал о деревообрабатывающей промышленности? Ровным счетом ничего. Но женщину, рассматривавшую его насмешливо и высокомерно, он приметил.

Через несколько дней после визита Пустырева на воротах бывшей фабрики Мельцера появилась кучая табличка «Второй Государственный деревообрабатывающий завод». Пояснений, почему завод второй и где же находится завод первый, никто никому не дал, зато по цехам стали расхаживать какие-то новые люди, один из которых подошел во дворе к курящей Ольге со строгим замечанием: «А вас, гражданка уборщица, попрошу на этой территории больше не курить!» Ольга удивилась, а потом подумала, что, в сущности, это правильно. Когда у ворот встала охрана, а вход разрешили только по пропускам, все поняли, что завод будет заниматься не табуретками, а вещами посерьезней.

Разгрузкой первого самолета руководил сам Пустырев. Раненую птицу оставили во дворе. С нее сняли обломанный винт, долго обмеряли, чесали затылки и что-то обсуждали.

— Эх, Кузьмича нету, — коротко вздохнул кто-то возле Ольги, но тут же отпрянул, испугавшись своих слов.

Тем не менее, завод ожил: завезли бревна, заскрежетали станки, снова запахло древесиной. Ольге пришлось разгребать горы опилок и выносить мешки стружки. Наконец, новый винт прикрепили к носу птички, самолет завели. Пропеллер с грохотом завертелся, подняв во дворе пыль и распугав ворон на Карповке. С удивлением Ольга заметила, что радуется вместе со всеми и даже следит за Пустыревым, забравшимся в кабину самолета. Тот успел перехватить ее взгляд и улыбнулся в ответ.

Планы у Пустырева были большие. Почему бы ни заняться, помимо ремонта, еще и строительством самолетов? Троцкий одобрил. Нужны были специалисты и деньги. Еще ему нужна была Ольга. Зачем? Он и сам толком не знал. Скорее всего, он был влюблен. Разве не поэтому ему хотелось ее видеть, следить за изменениями выражения ее лица, оборачиваться вслед. Пустырев рано женился. Его семейная жизнь не задалась с самого начала. Ни о чем не задумываясь, он погуливал каждый раз, когда представлялась такая возможность. Через два года жена ушла к другому. В госпитале его уже никто не навещал. Водоворот революции закружил Пустырева, как и всех вокруг. На какое-то время женщины даже перестали его волновать — пока он не увидел Ольгу. Красивая? Да. Но его внимание всегда привлекали яркие, слегка вульгарные особы. Этого не было в Ольге. Почему же тогда ему так хотелось заполучить именно ее? Конечно, Пустырев понимал, что шансов у него не так уж и много, но, прочитав безграмотный донос, написанный на белогвардейку Безладнову, решил, что время пришло.

— Вы меня звали? — Ольга скромно топталась в дверях директорского кабинета.

Пустырев протянул донос. Пока она читала, он скользил глазами по тонкой фигуре в обвисшем и нелепом платье с чужого плеча, склоненной хрупкой шее. Ольга подняла голову с надменным, давно забытым выражением:

— Тут еще не все. Я — вдова убитого полковника царской армии Сергея Терновского. Сама из Кубанских казаков, дворянка.

И словно давая ему разглядеть себя во всей красе проступившей гордости, смахнула с головы красную косынку, рассыпав русые волосы.

Желание подчинить себе это хрупкое, гордое и в то же время слабое тело навалилось на Пустырева. Тело не только не сопротивлялось, но и ответило ему. Когда проступили черты запрокинутого лица, с искажившей губы усмешкой победительницы, он понял: «твой, до конца жизни — твой!»

На Выборгскую сторону Ольга больше не вернулась, на заводе не показывалась. Пустырев отвез ее в только что полученную квартиру на Каменноостровском проспекте в угловом с Ло-

пухинской улицей доме. Квартира оказалась огромной, с высокими потолками, украшенными лепниной, анфиладой комнат и наборным паркетом. Еще там была мраморная ванна и просторная кухня с кафельным полом черно-белыми шашечками.

— Тебе нужно взять мою фамилию и придется. Не бойся, он тебя не тронет, — Пустырев придержал за ошейник, подошедшего к Ольге пса. — Это Карай. Тибетская овчарка. Твой надежный охранник, когда меня не будет дома.

Дома его не было практически все время. Жизнь Ольги Безладновой приняла неожиданный поворот. Ей самой трудно было поверить в то, что она стала женой большевистского функционера. «Кто ты теперь?» — спрашивала она свое отражение в чужом зеркале, висящем в прихожей. Зеркало молчало, зато Варенька, с радостью переехавшая на Каменноостровский, по первому же зову своей бывшей хозяйки, не замолкала ни на минуту, с любопытством заглядывая во все укромные уголки громадной квартиры. «Ну, хоромы так хоромы! А балкон-то, Господи Иисусе, какой! Красотища!»

Весенний ветерок, впущенный в открытую балконную дверь, влетел в гостиную, шелохнул тяжелые портьеры. Солнечные блики заиграли на паркете, пробежали по стенам, высветили развешанные картины. Самая большая из них, почти в человеческий рост, выступила из полумрака.

— Это кто ж такие? — спросила присмирившая вдруг Варенька.

Двое детей, тихо и скорбно смотрели на нее с портрета. Белокурая девочка с бантом в распущенных волосах, опиралась рукой на колено мальчика постарше в матроске.

— Должно быть, дети бывших жильцов, — пожала плечами Ольга.

— А жильцы-то кто?

— Ну, почему я знаю, Варя! Инженер какой-то. Иностранец. Дай Бог, уехал. — Ольга на какую-то секунду остановилась, у нее перехватило дыхание, — и детей вот этих увез.

Варенька понимающе кивнула и быстро перекрестилась.

Пустырев, примчавшийся к обеду на Паккарде, долго мылся в ванной, громко фыркая и разговаривая с Караем, следовавшим за ним по пятам. Потом съел с аппетитом несколько вареных картофелин, поданных Варенькой в тарелках с вензелями. Тер-

пеливо и вежливо прослушав новости возрождения деревообрабатывающей промышленности, Ольга дождалась жидкого чая, и помешивая сахарин в тонком стакане, неожиданно спросила:

— Пустырев, я все хотела узнать, а кто тут жил до нас, в этой квартире?

— Оль, ну-у-у, я точно не знаю. Кто-то из Мельцеров. Я, знаешь, получил ордер на эту площадь, когда она уже пустовала. Думаю, все съехали сразу после революции.

Какая-то неискренность прозвучала в его голосе. Ольга пристально взглянула в лицо человека, сидящего с ней за одним столом, с которым она спала в одной постели и о котором ничего не хотела знать. Ей не верилось в счастливое спасение семейства, оставившего повсюду следы своего пребывания. Тогда что же с ними случилось? Неужели расстреляли? А детей? Пустырев почувствовал неловкость под ее взглядом.

— Совсем забыл! Я же тебе что-то принес, — он стремительно вышел из-за стола. Карай зацокал когтями, последовав за хозяином.

Ольга прислушалась к легкой возне в коридоре и шагам возвращавшегося Пустырева.

— Смотри-ка, что у меня есть.

На его протянутой ладони лежал оранжевый апельсин.

«Боже мой, — подумала Ольга, глядя на сказочного гостя. — Откуда ты взялся? Кажется, когда-то давно Леночка твердила что-то про апельсиновые деревья». Ей не хотелось, чтобы Пустырев увидел ее проступившие слезы, но он заметил.

— Ну вот, хотел порадовать, а только расстроил. Что ты, Олюшка?

— Это я так... Как же мы съедим сей прекрасный фрукт?

Съели его самым обыкновенным образом, разломив на дольки и высасывая горьковатый сок. Зернышки Варенька зарыла в цветочный горшок, а кожуру засушила и добавляла в стаканы с кипятком. Получалось нечто ароматное.

Глава 4

Марья Игнатьевна заметно сдала за последние два года. Хотя руки ее дрожали, привычка раскладывать пасьянсы и читать по утрам газеты осталась неизменной. Она по-прежнему расче-

сывала на прямой пробор седые волосы, заплетала их в тугую ко-су, которую закалывала на затылке гребнем, подаренным сыном. Сухая и жилистая, напившись кофею, сидела она у окна гостиной, шелестя свежими газетами. Не было с ней больше Екатерины Ивановны, не с кем было обсудить последние новости, приходилось одной бормотать да креститься на образа. Вечерами, стоя на коленях в спальне, она долго и сосредоточенно молилась. Как было не молиться? Сволота лезла со всех сторон. Не то, чтобы шибко умная, всем нутром чуяла она угрозу главным заповедям своей уже немолодой жизни: нельзя грабить и убивать, и все тут. Дальше она и слушать не хотела тех, кто расписывал грядущее царство равенства и братства. А говорунов было много. Улицы Екатеринодара забили беженцы и дезертиры. С удивлением оглядывала Марья Игнатьевна расхристанных казаков, ринувшихся с войны, на которую с почестями и оркестрами провожали их гордые и степенные отцы города. Все вокруг кричали, за кого-то голосовали. Купленов мрачно шевелил желваками, когда заводился разговор о большевиках. В доме на Екатерининской признавали только Кубанскую Раду и ее выборного атамана. В первое же утро наступившего 1918 года Купленов подался к капитану Покровскому, собиравшему казаков для защиты Кубани от прущих со стороны Новороссийска красных. Покровский этот, взявший в плен австрийских летчиков вместе с их аэропланом, был живой легендой со времен Первой мировой. Но и он смог собрать человек семьсот. Не густо. Марья Игнатьевна сглатывала слезы, глядя на любимого сына. Только-только пришел в себя от контузии. Головой нет-нет да и дернет, от волнения не всегда внятно слово скажет, а туда же — в защитники, снова шашкой махать. Жена вторым дитем беременна. Лапушка. Животик выпирает: должно быть, мальчонка. Жалко ее! А как его не пускать? За ноги хватать? Не удержишь! Дело-то святое. Поплакали. Дуська вывернула заначку. Собрали Купленова в дорогу. Скорбно проводили. Припал Алешенька к жене, поцеловал крепко в губы, клюнул матушку в пробор на седой голове. Дуська икону с угла сняла. Благословили. На проводы пришел сын почтмейстера, вернувшийся из немецкого плена. То ли он надыхался чем-то в неволе, то ли уж сильно по дому тосковал, только заметно ослаб грудь. Совсем чахоточным на вид стал. Вояка из него никакой. Купленов наказал ему приглядывать за женщинами и помогать во всем.

Из Новороссийска красные двигались к Екатеринодару по железной дороге. Захватывая узловыe станции, они сцепляли длинные составы. Гнездили пулеметы на крышах вагонов, орудия вкатывали на открытые платформы. Расправы с теми, кто не признал Советскую власть были скорыми и кровавыми. Толком никто не ведал, сколько их надвигалось из кромешной тьмы. В ночь накануне похода Петровский выстроил защитников Екатеринодара. Пешая сотня на правом фланге, левее — пулеметная команда, еще левее — две пушки. Из станицы Пашковской подошли старики-казаки с берданками. Петровский поставил над ними Купленова. Тот обошел дидов и прослезился. «Вот и все, — думал он, стараясь запомнить их лица и имена, — что дало нам Кубанское войско для защиты родной земли». По расхлябанным и давно нечищенным мостовым повел Покровский свой отряд к вокзалу. Проходя мимо родного дома на Екатерининской, Купленов в последний раз взглянул на темные окна. «Как они там без меня? Спят, поди», — его сердце екнуло и оборвалось. Больше думать об этом было некогда. На вокзале быстро погрузились по вагонам и уже утром прибыли к Чибийскому мосту, за которым укрепились красные. Высадились в утреннем тумане. Отогнали состав и залегли в редкую стрелковую цепь. Странная тишина повисла над разъездом. Наконец, утреннее солнце пробилось сквозь пелену. В бинокль Купленов пытался разглядеть позицию противника. Казацкие бараньи папахи, или ему это показалось? Точно, казаки. С красными? Неужели придется стрелять в своих? Кто-то из дидов не выдержал и крикнул:

— Эй, вы там хто ш такие?

В ответ сначала медленно, потом быстрее стали подниматься залегшие пластуны, кое-кто из них повтыкал винтовки в землю штыком вниз.

— А ну, геть досюдова! — кричит тот же дед.

Человек двести пластунов подошли к Купленовской цепи. Начали разговоры. Кто такие? То да се. Угостились табачком. Потянуло куревом и отсыревшим сукном. Увидев Купленова, пластунский урядник приложил руку к папахе и доложил:

— Так и так, ваше благородие, большевики захватили станицу, «сгорнызовали» казаков и насильно отправили прикрывать их фланг.

— Насильно, говоришь, — сощурился Купленов. — Это что за казаки такие, которых красная сволота «сгорнызовала» против своих? А?

Неловко мужикам. Глаза в сторону отводят. Подоспевший капитан Покровский велел сдавать оружие. Доверия нет. Тут дела серьезные пойдут.

И дела пошли.

Высоко в небе хлопнула шрапнель. «Вот оно», — промелькнуло у Купленова. Он до тошноты помнил этот звук, успел вжать голову в плечи, повалиться ничком. Свои ответили. С левого фланга, злобно захлебываясь, затакал пулемет. Рядом со свистом шлепнулся снаряд, потом рвануло, обдав припавшего Купленова камнями и землей. Подняв голову, он увидел одного из дидов, лежащего на дне воронки. Подполз к нему поближе, перевернул безжизненное тело. «Ах ты ж, Господи!» — закрыл мертвому глаза, а откуда-то сверху уже голос Покровского: «В атаку!» Ярость подняла Купленова и понесла вперед к железнодорожной насыпи. За его спиной бежали другие люди, кричали «Ура!». Впереди, куда всех несла эта же самая сила, шел бой. Выстрелов почти не было слышно. Дрались врукопашную. Купленов никого не убил, хотя убить хотел. Большевики, не ожидавшие такого напора, побросав орудия, отступили. Победа показалась Купленову легкой. Отдышавшись, он увидел: нет, своих полегло немало. Вот у пулемета, что бил слева, лежит откинувшийся стрелок. Купленов подошел поближе. Мать честная! Из-под кубанки выбилась светлая коса. Женщина!

— Это наша Зиночка Бархаш! Галицию прошла, Зимний защищала... Вишь, где смерть ее прихватила!

И снова ярость затрясла Купленова. Он помог ординарцу Зиночки перенести ее тело к железной дороге. К вечеру ожидали поезд из Екатеринодара. Суматоха понемногу улеглась, стали подводить пленных.

— В-вы кто такой? — перед Купленовым стоял юнкер с руками, связанными сзади.

— Я юнкер Середневский, командующий...

Не дослушав, выстрелом в упор Купленов застрелил Середневского. Тот упал навзничь.

— Ю-юнкер он! С-сукин с-сын! — отпихнув ногой тело, Купленов пошел искать своих дидов.

Было самое время менять берданки на брошенные большевиками трехлинейки. За его спиной раздавались выстрелы. По другому на гражданской войне не бывает. И быть не может.

Первый успех удалось развить. Большевиков отогнали от города. Отряду Покровского достался целый арсенал от бежавших красных: винтовки, пулеметы, орудия со снарядами. Пришло и пополнение. В Екатеринодаре ликовали. Но ситуация изменилась довольно скоро. Красные перешли в наступление.

Телеграфист в аппаратной отмотал с бобины ленту с текстом и понес расшифровку наркому Антонову-Овсеенко.

— Тише, товарищи! Тише!

У бывшего подпоручика Антонова длинное лицо, волосы до плеч, подслеповатые глаза за кругляшками очков. Близоруко шурясь, он читает: «Приказываю во чтобы то ни стало взять Ростов» — и подпись «Председатель Совнаркома Ленин».

Заскрипели половицы под ногами наркома. Он заходил туда-сюда по горнице. Горница как горница, прокуренная и вонючая, забитая немытыми мужиками. Называется красиво: штаб Верховного главнокомандующего Южного революционного фронта. Приказы надо выполнять — этому Антонова научили еще в школе юнкеров. И вот уже бывший прапорщик, а нынче командующий войсками Рудольф Фердинандович Сиверс, наморщив молодой свой лоб, читает расшифровку «Приказываю сегодня взять Ростов. Антонов».

Попробовать, конечно, можно. Силы-то накоплены немалые: десять тысяч штыков, три тысячи сабель, латышские стрелки, Красная гвардия из Питера, верные части Северного фронта, опоясанные пулеметными лентами матросы, два тяжелых бронепоезда, артиллерия. Но не это главное. Возвращаются с фронтов казаки. Гришкам Мелиховым, да Степанам Астаховым «ваши благородия» давно уже опостытели. Им пахать охота, а большевики пуцай землю у помещиков отымают. Чем казаку плохо? Да ничем. Пока. Не поднял атаман Каледин Дон. Сто сорок семь штыков — и все. Застрелился от позора. Это у них так принято было, у благородиев: как позор — так стреляться. Если и вспом-

нит Антонов-Овсеенко через двадцать лет донского атамана, то только ему позавидует. У него такой возможности не будет. Получит пулю в затылок от неизвестной руки в подвале Бутырок. Может, последняя вспышка сознания осветит растерзанное тело генерала Ренненкампа, убитого по его приказу, а может, кроме подвальной стены в кровавых подтеках так ничего он и не увидит. Не вспомнит... Не раскается...

Но пока до этого дело дойдет, красные возьмут Ростов с третьей попытки, когда город практически будет оставлен белыми. Застучит телеграфный ключ, понесется сообщение:

«Петроград. Смольный. Совнарком. Ленину.

Двадцать четвертого февраля 1918 года к вечеру Ростов занят революционными войсками.

Нарком Антонов.

Командующий войсками Сиверс».

А оттуда прилетит радостный ответ:

«Наш горячий привет всем беззаветным борцам за социализм».

Что красному хорошо, то белому плохо. Так и сшибутся две силы, готовые с одинаковой ненавистью уничтожать друг друга.

— Уходить надо, господа! — у генерала Корнилова слезы на глазах: то ли от ветра, то ли от бессонных ночей, то ли еще от чего... — Вернемся, если будет на то Божья милость.

Господа офицеры перекрестились. Четыре тысячи штыков и сабель, обозы с беженцами, лазареты с ранеными. Цвет русской армии: пожилые генералы, юные офицеры с чернильными звездочками, нарисованными на погонах, медсестры и врачи, не оставившие изувеченных в боях. Генералов растерзают, юнцам вырежут кровавые звезды на плечах, раненых кого пристроят к жалостливым местным, кого подлечат, а кого закопают в промерзлую землю. Но это все случится позднее. Пока они просто бредут. Куда? Скорее всего в никуда. Ну, на Кубань. Но там тоже казаки. Послушают ли Корнилова? Значит, Крестовый поход. Усилие бывает спасительным, даже если кажется бессмысленным. Прикрывать отход добровольцев в Ростове остался офицерский батальон Кутепова и студенческий батальон генерала

Маркова. Они ушли на следующий день догонять колонну. Сиверс не спешил с выполнением приказа и вошел в оставленный Ростов только на следующий день.

— Господин полковник, — дама с измученным лицом и ободранной лисой на плечах вцепилась в стремя Кутепова, — позвольте спросить вас кое о чем, остановитесь на минутку!

Кутепов натянул поводья, слегка наклонился к даме.

— Извольте, сударыня!

— Куда мы все идем? У меня там на телеге везут больного мужа. Он не может сам идти, — дама всхлипнула.

— Не спрашивайте меня, куда и зачем. Спросите тех, кто идет с вами! — Кутепов козырнул и слегка пришпорил коня.

Кого же спрашивать? Словно в первый раз дама всмотрелась в лица идущих людей. Гимназисты, юнкера. Мальчики безусые. Девочки в платочках. Лица сосредоточенные. Тянут на руках орудийные упряжки, лошадям помогают. Тяжесть-то какая! И никто не жалуется. Голодные. Таких под ружье не загоняют, такие сами идут. Добровольно. Дама зябко передернула плечами и засемила к своему обозу. Кутепов же отыскал Деникина:

— Люди устали, надо бы передохнуть.

Посланные вперед казаки договорились с местными о пропуске колонны через станицу Аксайскую. Устроились там на ночлег. Прикупили у станичников яиц да молока. Те и рады. Красные будут просто грабить, еще и церквушку загадят. Белые же пока отогрелись в хатах, отоспались. К ним присоединился кое-кто из местных. Через два дня колонна переправилась через Дон. И дальше, дальше покатило в зиму и метель шествие обреченных.

У Купленова тоска на сердце. Снова вымершее село, мычат недоенные коровы, валяются трупы. В исподниках да босиком. Зимой сапоги на вес золота. Живых раздевали перед расстрелом, с мертвых стягивали. Кажется, один еще шевелится, но над ним уже склонились казаки:

— Ну што тут муздыхаться-то? Добить, да и все!

Добивают взмахом шашки, не сходя с коня. Не об этом он мечтал, когда юнкерское казачье училище заканчивал, клятву

Государю давал, по Екатеринодару гулял, выправкой своей любовался в зеркальных витринах магазинов. Забыть, забыть перекошенные лица, изрубленные безрукие безголовые тела, сваленные в кучи, растасканные голодным зверьем, расклеванные вороньем. Вспомнился ему солнечный довоенный день, фотоателье на Красной улице, групповой портрет офицеров, сидящих меж нарисованных пальм. А ведь кроме него, никого в живых не осталось. Кто в Галиции, кто на Кавказе, кто в Пруссии лежит. Все за отчизну убиты, как казаку и положено. А он за что ляжет? Каин убил родного брата. Видать, уж так повелось с незапамятных времен. Вообще же человек незлобивый, Купленов устал принимать на себя волну захлестывавшей его ненависти. Ну что казакам эти обещания, раздаваемые «товарисчами»? — недоумевал он. Иногородних-то — безземельных пришлых — они переманили, тут дело ясное. Но свои-то только с фронта вернулись, только дома оклемались. Казаку в самый раз пахать да сеять, да порядок у себя в куренях навести, чтоб голытьба не грабила, не таскала чужое добро. Так нет — увязались с красными! Откуда же ему было знать, что казачкам, особо отличившимся в борьбе с «кадетами», обещана была бесплатная помещичья земля. Не все устояли. Вот давеча отряд Купленова попал под искусный артиллерийский обстрел. Кто-то ровненько и старательно бил шрапнелью по окопавшимся дидам. Батарею-таки накрыли к ночи. Оказалось, командовал капитан.

— Ты это что ж, с-сукин с-сын, по своим бьешь? — не удержался Купленов.

— Так взяли насильно. Я-то хотел в добровольческую. Извините, братцы. Профессиональная привычка.

Пристрелить на этот раз рука у Купленова не поднялась. Приняли капитана в отряд. К красным пока не утек. Только под Екатеринодаром дела идут все хуже и хуже. Город обложен большевиками со всех сторон. Отряд Покровского разбит, вестей о блуждающей армии Корнилова у него нет. Где эти добровольцы и когда доберутся до Кубани «бис их знае». Тяжелое решение об отводе из города тех, кто еще месяц назад его защитил и праздновал победу, принято. Вместе с Покровским из Екатеринодара должен уйти Купленов.

Я знаю, что эти двое видят друг друга в последний раз. Все слова сказаны. Поэтому они молча сидят на кухне. В глубокой тишине спящего дома тикают нянюшкины ходики. Совсем мало времени жизни отмерено Купленову. О чем он думает? Ни о чем. Просто смотрит на родное лицо напротив. Предчувствие тяготит сильнее знания. Мне не хочется, чтобы она плакала. Ожидание разлуки тяготит сильнее разлуки. Или нет, разлука, все-таки, сильнее. О чем думает жена, глядя в последний раз на мужа? Ни о чем. Просто смотрит на родное лицо напротив. Вместе им уже не состариться. Не он вырастит сына, родившегося после его ухода, не он похоронит ее через много лет после их разлуки. Что там станет с их душами? Да откуда же мне знать?

Глава 5

Дуська ворвалась в дом с разорванным подолом и грудями, вываливающимися из кофты. Лицо зарвано, кровоподтек на скуле.

— Господи! — всплеснула руками Марья Игнатьевна, — это кто ж тебя так изуродовал, ластонька ты моя?

— Мужики чужи. Поганци. Насилу вирвалася.

Пока ее передевали и успокаивали, в дверь тихонько стукнули условным стуком. На пороге стоял сын почтмейстера:

— Все дома? Ну, слава Богу! А вот побачить не хотите? — В руках у него была какая-то бумага. — Только что со столба сорвал.

— Да что там такое? Читай голубчик, я все равно не вижу ничего, — Марья Игнатьевна, с трудом разогнувшись, взяла на руки готовую разреветься Тamarку.

— Это, милые мои дамы, декрет о социализации девиц от шестнадцати до двадцати пяти лет.

— Как это? — не поняла Елена. — Это что значит?

— Шо значит? А хапають и тягнуть, — встала Дуська.

Леночка схватилась за живот. Знакомая боль прокатилась по всему телу, потянула ее книзу.

— Я, кажется, рожаю, — только и успела сказать она.

Все засуетились. Сын почтмейстера особенно мешал, путаясь у всех под ногами.

— Сбегать за доктором? — как-то жалостливо предложил он. — Я обещал Купленову помогать Елене Федоровне.

— Вот этого не надо. Постараемся обойтись своими силами. Вам из дому выходить ни в коем случае нельзя. Лучше помогите Евдокии нагреть воды, — живо откликнулась Марья Игнатьевна.

Все и вправду обошлось. Роды были быстрыми и не тяжелыми. Мальчишка вышел крепенький, со сжатыми кулачками. Как и полагается в таких случаях, он плачем известил мир о своем появлении. Леночка усмотрела в нем сходство с дедом, которого, кроме нее, никто из ныне живущих в доме, не видел. Спорить не стали. Казак он и есть казак. Нарекли его Константином и тут же стали звать Котиком.

Екатеринодар вздрогнул и в ужасе затих. Маленький Париж, разбитной и веселый до войны, озабоченный и суровый в военные годы, пропитался жертвенной кровью, пролитой влетевшими в город бандами Сорокина. Тяжелораненые, оставленные в госпиталях, были уничтожены первыми. Заодно с ними перестреляли врачей и сестер милосердия. Тела свозили «на гной» в камыши. Воды реки Кубани покраснели от крови. Но все было мало. Из Москвы летели телеграммы «Расстреливать. Расстреливать и расстреливать». Стреляли. Кололи. Рубили. Закапывали живыми. Насиловали. Издевались. Врывались в дома и грабили. Глумились. Почтмейстера пристрелили прямо на почте. Его жену закололи на улице. Сын спрятался в погребе на кухне дома Безладновых. Погреб накрыли ковриком и поставили сверху стул, на который села с грудным младенцем на руках Леночка. Их не тронули. На этот раз пронесло. После ухода карателей Дуська долго отмывала заляпанные кровавой грязью полы, потом неистово молилась на образа вместе с Марьей Игнатьевной. Чуть живого сына почтмейстера вытащили из убежища и дали выпить горилки.

— А погребок-то наш опять пригодился...

Усмешечка скосила уголки Леночкиных губ. Ей вспомнился рыжий Симон Юдович, которого они прятали от погромщиков. Память оживила заплаканное лицо сестры, испуганную маменьку, ладную фигуру Купленова на пороге их дома. «Какое прекрасное это было время! — вдруг поняла она. — А сейчас? Что сейчас? Что с нами со всеми будет?»

Как Бог даст, так и будет. А как же еще?

Корнилов с боями прорывался к Екатеринодару, не зная, что город уже у красных. За добровольцами все так же тянулись обозы с ранеными и беженцами. Снарядов не хватало. Патронов почти не было. Обреченность усилий становилась все более очевидной. С самого начала это было безумием. А ведь говорили ему, советовали, предупреждали: уходить, мол, надо в степи на зимовники, накопить там сил, переждать. Нет, поперлись на Кубань, чуть ли не с хоругвями и с крестами на погонах. А бывший военфельдшер Сорокин разбил кубанцев и ворвался в Екатеринодар. Корнилов сжал рот в тонкую полоску, когда ему об этом доложили. Ну-с... Какие будут приказания? На этот раз решение было принято без колебаний:

— Искать Покровского. Найти и объединить наши силы.

Тоска по дому и оставленной семье мучила Купленова. Можно было бы отправить своих в Марьинскую к Еременкам, но от Капы давно ничего не слышать. А если там красные? Нет, лучше оставаться в городе, где все-таки можно затеряться. Ну, не брать же беременную жену с собой в обоз! Хотя кого тут только нет... Вон грузный Родзянко в сапогах со сношенными каблуками, тяжело отдуваясь, помогает толкать повозку с ранеными. Купленов не мог подавить презрения, глядя на холеное лицо бывшего председателя Государственной думы. А вон с двустолвкой на плече шагает главный редактор «Кубанского края» господин Рындин. Еще один вояка! Матушка, бывало, почитывала его статейки. А вот и свое начальство в бурках и бараньих папах — члены Рады и Краевого правительства. Разве можно их не презирать? Одно слово — «члены»! Уж как поначалу-то были против Покровского! Не казак. Картузник и выскочка, а только он и смог со всей своей бешеной энергией поднять кубанцев против красной сволоты. Вон они — кубанцы! Чем не тарасы бульбы? Кое-кто из купленовских дидов съехал до дому, но зато многие ушли и от комиссаров, пополняя Кубанскую армию, которую Покровский уводил от наседавшего Сорокина в горные аулы. Чеченцы недорого продали Купленову доброго коня. Сейчас он верхом ждал, когда пройдут обозы с банковской казной, в спешке вывезенной из Екатеринодара, чтобы со своим отрядом прикрыть отход колонны. Прошли юнкера, за ними — черкесы с полумесяцем на зе-

ленных повязках. Купленов чувствовал тепло, идущее от земли, жадно вдыхал весенний дух, наполнивший горы, видел внизу голубую ленту родной Кубани. Должно быть, так остро и проникновенно человек может чувствовать только на излете своей жизни. Его конь, прядая ушами, чутко прислушивался к затихающему шуму уходящей колонны. Короткий свист — сигнал подан. Пора трогаться. Откуда-то издалека долетел звук канонады. Что это? Уж не корниловские ли добровольцы прорываются с боем к Покровскому? Разве может такое быть? У всех уже и надежда угасла. Опять короткий свист. Подъехала разведка. Вполголоса донесли: «Там на дорожи лежит мертвый прапор. Особи нету на ньому, побитий так, не зрозуміємо, хто такий». Подъехать к телу не смогли. Засвистели пули. Сорокинцы! Купленов решил не ввязываться в перестрелку и увел своих догонять колонну.

На рассвете красные преградили путь кубанцам огнем из орудий и атакой с флангов. Завязался бой. Дрались отчаянно, но к полудню все резервы были исчерпаны. У пулемета, отгнавшего красных от Купленова, засевшего с горсткой людей за валунами, кончились патроны. У него самого оставался наган с двумя пулям. Он сел, прижавшись спиной к выступающей скалистой стене. Стена была теплая, нагретая весенним солнцем. Ни облачка на небе, только в безмерной его вышине парил орел, высматривая добычу. Откуда-то понесло дымом. Скорее всего, горел соседний аул. У Купленова громко стучала кровь в висках. Почему-то он знал, что сейчас его убьют. Стрельба стихла. «Окружают, суки! Хотят брать живыми». Страха не было. Было сожаление оставить этот мир, красота которого так полно и ясно предстала перед ним в одно мгновение.

— А ну, пан пидосавул, глянь хто там? — подполз к нему ординарец.

Осторожно приподнявшись, Купленов разглядел в бинокль чей-то разъезд. Человек пятнадцать. Красные?

— Та це ж донци! — крикнул кто-то из своих. — Ну на решти то!

— Бра-а-а-тцы! Подсобите!

Братцы подсобили. Их неожиданное появление вызвало сумятицу у красных. Они отступили. Радость, охватившая Купленова, вытеснила промелькнувшее ожидание смерти. Дрогнула чья-

то рука, отсрочила последнюю дату в Книге судеб. Жив и, слава Богу. А вот прапорщику не повезло. Пытался пробраться к кубанцам с письмом от Деникина, да большевики его перехватили. Били. Измывались. Кто-то из штабных, склонившись над трупом у обочины, догадался разорвать воротник шинели, куда прапорщик зашил письмо. Так по письму и опознали. Вырыли могилу и похоронили бедолагу.

На следующий день Покровский привел две сотни казаков на представление Корнилову. Они сошлись. Оба невысокие. Один совсем молодой, стройный и подтянутый, в черкеске с новенькими полковничьими погонами — запоздалое, но щедрое признание кубанского правительства. Другой — с калмыцким, битым степными ветрами и морозами лицом, в серой солдатской шинели и мерлушковой папахе. Корнилов коротко приветствовал гостей. Голос громкий, уверенный, радостно отозвавшийся в сердцах казаков. А вот разговор с генералами вышел трудный. Покровский, хоть и сробел немного поначалу, держался твердо:

— Кубанские власти хотят иметь собственную армию во главе со своими командирами, — и глазищи прищурил, чтобы все поняли, кто будет армию эту возглавлять.

Все поняли. Но и Корнилов был не из слабаков:

— Одна армия — один командующий. Иного положения не допускаю.

Покровский стал настаивать на своем. Не привыкший к прекословиям, генерал Алексеев вспылил:

— Полноте, полковник! Извините, не знаю, как вас и величать. Войска тут не при чем. Мы знаем хорошо, как относятся они к этому вопросу. Просто вам не хочется поступиться своим самолюбием.

Делать было нечего. Кубанское правительство настаивало на слиянии двух армий. Пришлось поступиться. Так большевики получили то, к чему не были готовы: совместное наступление кубанцев и добровольцев.

В сакле тихо выла старуха. Не выдержав напора ее горя, Купленов вышел во двор. «Зверье, зверье, — руки тряслись так, что он не смог скрутить самокрутку. Помогла Вавочка Грекова —

сестричка милосердная. Скрутила тоненькими пальчиками с обломанными ноготками, прикурила. Ненависть, подступившая к гортани, не давала затянуться горьковатым махорочным дымом. — Зачем они вырезали весь аул? Стариков и мальчишек? У чеченов же кровная месть. Будут мстить, пока живы. И я буду мстить. П-пока жив. П-пока жив. Какое звериное время!»

— И я, — то ли прочитала его мысли Вавочка, то ли разобрала его бормотание. Легонько поднялась и исчезла, словно растворилась в вечерней дымке.

И точно, уже на рассвете следующего дня из соседнего аула пришел отряд чеченов вместе с имамом. Коротко и торжественно они поклялись служить Корнилову. С Аллахом так с Аллахом! Под священное знамя борьбы принял пополнение Лавр Георгиевич. А священное знамя борьбы может развиваться только в наступлениях. Что гнало этого человека вперед? Отчаяние или какой-то непостижимый расчет? Степные ветры, снежные заносы, ледяные дожди, оттаявшие потопаы с гор не могли остановить его. Шел сам, и шли, шли за ним люди. С изматывающими боями, с невозможными потерями. Ходили в штывы, когда не было патронов, отбивали склады с боеприпасами, тонули на переправах, замерзали на подводах. И продолжали, продолжали свой обреченный ход. Штурм Екатеринодара был чистым безумием. Там и не переправиться-то было, у скалистых берегов, да еще под шквальным огнем противника. Сказал ли ему кто-нибудь об этом на военном совете? Но, даже если и произойдет это чудо — большевики сдадут город, как же его удержать? И вот уже первые жертвы: милая девочка, прошедшая без жалоб весь Ледяной поход в рваненьких сапожках с чужой ноги, Вавочка Гаврилова, а с ней подруга-гимназистка. Убиты шрапнелью. Жалко девочек. Да что там девочки! Половина армии потеряна в боях за этот город. Корнилов осунулся лицом, скулы выступили под запавшими глазами.

Молча выслушал всех своих штабных. Походил по комнате, заложив руки за спину. Наконец сказал:

— Штурмовать Екатеринодар будем на рассвете. Я сам буду руководить штурмом. Конечно, мы все можем при этом погибнуть, но, по-моему, лучше погибнуть с честью. Отступление теперь тоже равносильно гибели: без снарядов и патронов это будет медленная агония.

Погибли не все. Погиб сам Корнилов от меткого попадания случайного (а может быть, и нет) снаряда. Генерал Деникин, принявший командование армией, дал приказ об отступлении. Тайно, обманными маневрами выводил он остатки армии из-под Екатеринодара.

— Кудуть теперича идтить? По домам, штоль?

— Тудуть! Расея большая. Авось и для нас где место отыщется.

И снова потянулись повозки, зашлепали сапоги по апрельской грязи, а уже набухли почки на деревьях, вот-вот травка брызнет на непаханных полях, соловьиные трели заполняют паузы между обстрелами. Тяжело отходить с обозами, полными ранеными — на себе их не потащишь. Оставляя, прощались навсегда, зная, что пощады от красных не будет. Мертвых хоронить не успевали. Шли и шли.

И все же это не был провал. Напилась благодатная кубанская земля, пропиталась кровью, пущенной большевистскими Советами. А там и Дон поднялся. Смекнули казаки, что это за власть такая, повалили под знамена Добровольческой армии. Размахнулась Гражданская война во всю ширь земли русской. На этом необъятном просторе не нашлось места главному моему герою. Настало время, отсроченное ненадолго чьей-то рукой в той самой Книге.

Купленов знал, что умирает. Это было последнее земное знание, данное живому. Россия, жена, дети стремительно удалялись, оставляя его в одиночестве предсмертия. Упав на спину, он нелепо задергал ногами, но был не в силах пошевелить рукой. Душа покидала тело. Он увидел его сверху: развороченный живот с вываливающимися кишками, откинута в последнем усилии нога. Когда прекратились головокружение и шум в ушах, он вдруг ясно увидел жабу, раскинувшуюся так же, как он, и так же дергающую лапками от ударов палкой по желтому брюшку. Купленов усмехнулся пробежавшей по лицу судорогой, представив, как Всевышний, склонившись над ним, как он сам когда-то в детстве над жабой, с интересом рассматривает его и ждет последнего вздоха. Впрочем, рассматривание развороченных животов Ему давно надоело, и Он уже рав-

нодушно взирал на безжалостное самоуничтожение сотворенных Им по образу и подобию Своему людей. Еще немного — и то, что оставалось от Алексея Купленова приняла и поглотила вязкая апрельская жижа.

Глава 6

Лежа на оттоманке, Надька слушала шаги в комнате этажом выше. Ветхий дом, в котором она поселилась на окраине Москвы, напоминал ей скрипучую беседку. Вот кто-то нетерпеливый, перескакивая через ступеньки, пронесся наверх по лестнице мимо ее двери. Потом жалобно заскрипели половицы в коридоре под шагами какой-то девы. Почему девы? Надьке было слышно цоканье женских не подбитых каблучков: должно быть, отвалились набойки. Поворот ключа в замке. Сердитый хлопок двери. Теперь шаги не только сверху, но и справа. Уснуть совершенно невозможно. Еще и жара. Пришлось, в который раз встать, подойти к окну и вдохнуть ночной воздух. Хорошо, хоть пыль оседает за ночь. Воздух свежий. Пахнет цветами из палисадника. Вот пролетка подъехала. Донеслись голоса и смех. Снова шаги и скрип половиц. Интересно, что этот человек наверху делает? Почему не может уgomониться и все расхаживает из угла в угол? Болят зубы? Или сочиняет статью в газету? Почему сразу статью, да еще в газету? Может, стихи сочиняет. Надька хмыкнула. Что-то надломилось в ней после переезда в Москву. Еще месяц назад она непременно постучала бы в дверь этажом выше и познакомилась бы с этим неугомонным человеком. Сейчас не хочется. Хочется прислушиваться к своему одиночеству. Дневная беготня по партийным поручениям притупляла это чувство, ночью оно возвращалось.

«Это все от легкой жизни. От легкой жизни!» — с нахлынувшим недовольством Надька, поджав ноги, снова улеглась на оттоманку. В Питере было не до жиру. Все изголодались, ходили злые, охваченные каким-то жертвенным экстазом. Потом кинулись в Москву подальше от дурных фронтовых новостей, ожидая прихода то ли англичан, то ли немцев, то ли и тех и других вместе. Отправилась туда и Надька вслед за руководством левых эсеров. Большевики остро нуждались в кадрах для заполнения

пустоты в создаваемых ими Совнаркомах. Эсеры, которым было обещано разделение власти, спешно направляли туда же своих людей. Надежде Безладновой, прожившей много лет во Франции, предстояло работать в Совнаркоме по иностранным делам.

Николаевский вокзал был забит солдатней, стонущей с фронта Брестским миром. Все грязные, завшивленные, расхлябанные. В поезд еле втиснулись. Спасибо партийному товарищу: пробрался в вагон, открыл окно и втянул туда Надьку прямо с платформы. Так, прижатая к окну, она и просидела всю дорогу, слушая солдатский мат и повизгивания гармошки. А когда уже подъезжали к Бологому, в предвечернем тусклом свете увидела повешенного на семафоре человека в железнодорожной форме. Машинально перекрестилась. Что подумала? Революционное насилие она признавала. Тактику террора одобряла, сама в эти игры играла, или мечтала играть, но повешенный на семафоре человек был простым железнодорожником. Кому нужна была эта показательная расправа? Разнузданному быдлу в поездах? Надька в тоске посмотрела еще раз на людей в шинелях. Батюшка ее, есаул Безладнов, приказал бы их выпороть да разогнать к чертовой матери. С такой армией не навоюешь. Довоевались. Обратили войну империалистическую в войну гражданскую. «А что делать дальше?» — вечный вопрос русской интеллигенции промелькнул в горьких Надькиных мыслях. Не зная ответа, она закрыла глаза и подремала всю оставшуюся дорогу.

Москва встретила ее сутолокой, толпой мужиков с мешками, баб со связками сумок и орущими детьми. Все вызывало удивление: съестные лавчонки с бородатými продавцами в жилетках, люди в лаптях, калошах, в каких-то обмотках. И тут же толсто-мордые граждане в хромовых сапогах и с портфелями под мышкой. Буржуи, да и только! Кое-где виднелся еще не сбитый царский орел, поблескивали куполами церкви. То там, то здесь попадались дома со стенами покрытыми, словно оспой, следами уличных боев. За распахнутыми воротами виднелись запущенные садики, грязные двory, облупленные флигели. По улицам то и дело проносились мотоциклы, автомобили, грузовики, сновали пролетки с запряженными в них захудалыми лошаденка-

ми. Втиснувшись с партийными товарищами в трамвай, Надька покатила мимо Кремлевских стен, мимо часовых с винтовками у ворот и ладных военных, марширующих строем.

— Это кто ж такие бравые?

— Латыши. Эти не расхлябанные. Надежные. Во всяком случае, нейтральные. По-русски плохо понимают, пропаганде не поддаются.

В Марьино добирались долго. Трамвай тащился не меньше двух часов, надолго замирая на остановках. Дом, в котором их разместили, был чем-то вроде коммуны, давшей приют социалистам всех мастей. Надька редко здесь бывала, все чаще оставаясь ночевать в центре города, поближе к месту работы.

Вот уже ее новые туфельки стучат каблучками по мраморной лестнице доходного дома Первого Российского страхового общества, где разместился Комиссариат по иностранным делам. Насмотревшись на московских гражданок, Надька влетела в первую попавшуюся парикмахерскую, где лохмы эсерки с длительным партийным стажем обстригли и уложили в революционную стрижку. Маменька бы порадовалась, глядя на ее новую юбку и белую блузку. Барышня, да и только, хотя все куплено по дешевке в магазине на Кузнецком мосту. «Государственные служащие должны выглядеть прилично!» Это требование наркома Чичерина Надька приняла с пониманием, заметив, к большому своему изумлению, что с удовольствием поглядывает на себя во все попадающиеся зеркала. Кажется, она себе нравилась. Ей вообще все нравилось в Комиссариате: добротная мебель, оставшаяся от буржуазных времен, пальмы в кадках, треск пишущих машинок под высокими потолками с лепниной. Довольно скоро она научилась печатать вслепую и заправски щелкала кареткой допотопной «Короны». Через месяц ее уже нельзя было отличить от других барышень, печатающих какие-то отчеты на серой бумаге, с вечной папиросой в накрашенных губах. Интересное это было время: становление нового государства, рождение его международной политики. Важные секретные документы выстукивались наманикюрными пальчиками барышень. Барышни эти были проверенными партийными кадрами, которым доверяли, но, конечно же, далеко не все. И все же кое-что Надьке стало известно.

Давненько не попадались ей в руки французские газеты, а тут — целые статьи в пересказе каких-то неведомых агентов. Стучит Надька на машинке, как дятел в лесу клювом по дереву, буквочки ложатся в ровные ряды — и так страница за страницей. И на этих страницах вырисовывается картина полного недоверия бывших союзников к новому революционному правительству, которое они просто называют прогерманским. Вот тебе и на! Значит, это вовсе не клевета, распущенная Керенским, и большевики, доставленные в Россию через линию фронта в plombированном вагоне, могли-таки договориться о чем-то с немцами.

— О чем-то! — Надька возмущенно ткнула потухшую папиросу в пепельницу. — Не случайно Брестский мир так ненавистен эсерам. Здесь изменой несет с первого же пункта договора.

Или вот, пожалуйста, выясняется, что немцы перебрасывают воинские части с востока на Западный фронт. Франция в ужасе. А тут еще барышня за соседним столиком фыркает: «Везет же немцам!» Подробностей Надьке разузнать не удалось, барышня служебную тайну не разгласила, но в газетах появились сообщения о поставках в Германию украинских продуктов. «А в Питере люди мрут с голодухи, — негодовала Надька, — Украинская рада поддерживает немецкую буржуазию, а мы поддержим украинский пролетариат в борьбе с этой буржуазной радой, да заодно и с немцами». Казалось, искры сыплются из-под ее пальцев, стучащих по допотопной машинке. Из этих искр непременно должно возгореться пламя. Непременно! Конечно, а как же еще? Партийные товарищи всё приняли к сведению и активно готовились к съезду Советов для решительного боя с Брестским миром, отдавшего немцам Украину и Прибалтику.

Короткие, покрытые черными волосками пальцы Блюмкина цепко держали косушку водки.

— Выпьем с горя, где же кружка? — он навалился плечом на Надьку, накрывшую ладонью свою рюмку.

— Не хотите? Тогда я налью себе.

Сидящие за столом партийные товарищи возмущенно загудели:

— Наливай всем, Яков.

— Ну ладно, гулять так гулять! За что выпьем? За мировую революцию?

Водка забулькала, пролилась мимо нескольких подставленных граненых стопок. Все загалдели разом. Выпили. Закусили кусочками сала, разложенными в кружок на тарелках с вензелями. Кто-то потянулся к дымящемуся котелку, выхватил оттуда картошечку и, смеясь, подул на пальцы — горячая! За мировую революцию Надька решила выпить со всеми. Блюмкин плеснул ей щедрой короткопалой рукой, проследил, как она разом заглотнула водку, закинув голову на длинной шее, и, крикнув по-мужски, стукнула доньшком рюмки о стол. Гуляли весело. Провожали группу товарищей для организации партизанской работы на Украине, оккупированной немцами.

— Передайте нашим украинским братьям: мы с ними!

Водку быстро допили. На столе появилась пузатая бутылка самогонки. Блюмкин схватил очищенную луковицу, обмакнул ее в солонку, скривившись, захрустел зубами, обдав Надьку густым луковичным духом. «Да что ж он такой вонючий-то!» — отшатнулась она.

— Брезгуешь? А ты не брезгуй! Я знаешь, кто такой? Один росчерк моего пера — и фью! Был человек — и нету!

Блюмкин заметно распарился. Пот проступил крапинками на его высоком лбу. Глаза, устремленные на Надьку, маслились, как куски селедки, которой он закусывал.

— Блюмкин, осторожней с товарищем Безладновой! Она у нас с характером своенравным. Казачка!

Нехорошее выражение появилось на лице Блюмкина, но быстро исчезло.

— А вот, гражданка казачка, представитель недобитого класса, это ты слышала? — и совершенно неожиданно для сидящих за столом вдруг заорал:

Что ж, бери меня хваткой мерзкой!
Бритвой ветра перья обрей.
Пусть исчезну,
чужой и заморский,
под неистовства всех декаблей...

Партийные товарищи слегка притихли. Блюмкин тяжело поднялся, развернувшись к Надьке. Всем стал виден наган, выпивший под его кожанкой.

Я не твой, снеговая уродина.
Глубже
в перья, душа, уложись...

Надька оценивающе взглянула на разбушевавшегося дурошлепа: коротконогий с толстыми ляжками, но широкоплечий, с залысинами, а с виду лет двадцать, не больше. Это что же, он про нее «снеговая уродина»?

— Маяковский! Наш поэт! Революционный. Слыхали про такого? Или белоказакам он не знаком? — пьяное похабство слышалось в голосе Блюмкина.

К своему стыду про Маяковского она не слыхала. Выручили, как всегда, партийные товарищи:

— Разворачивайтесь в марше! Словесной не место кляузе! — вовремя откликнулся кто-то.

Терпеть оскорбления от пьяного мальца Надька не собиралась.

— Это я-то белоказачка? Да ты еще под стол пешком ходил, когда я начала борьбу за революцию. Сопли подотри сначала, снеговая уродина! Он думает, если наган нацепил, так уже и командовать здесь будет.

Ее громкий резкий голос перекрыл шум застолья. Того и гляди, мог разгореться скандал, но Блюмкин неожиданно обмяк и рухнул на стул, уронив голову. Напустил слюней, всхрапнул. Кто-то подхватил его под руки и отволоч от стола.

— Не сердитесь, Безладнова. Яков работает в ЧК. Человек он наш, надежный. Перебрал маленько — с кем не бывает?

Вечер был испорчен и Надьке пришлось опрокинуть еще один стопарик, чтобы отвлечься от неприятного привкуса скандала. Немного успокоившись, она поняла, что задело ее не столько обвинение в принадлежности к белоказакам, — видимо, кто-то из близких Блюмкина пострадал от их рук, — сколько то, что она не знала, кто такой этот Маяковский.

— Слышь, — она толкнула локтем в бок, сидящего рядом партийного товарища, — почитай еще Маяковского этого... ну, который: «Левой! Левой!»

И тот почитал:

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огромив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.
Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!

— Ух ты! — Надька опрокинула еще стопочку. Как сильно за душу берет. Губами... А она, кроме казачьих песен, ничего не знает. Зато как дома, бывало, пели!

— За туманом нича-а-го не видно, — затащила вдруг она. — Только видно дуба зеленова. Под тем ду-у-бом криница стояла, с той криницы девка воду набирала...

За столом снова притихли. Кто-то загрустил, подпер щеку кулаком, подпел. Надька довела до конца. Замолчала. Тут все опять заговорили разом, побежали кипятить чайник, принесли бублики, появилась банка с засахарившимся медом. Это какое ж богатство! Весело пили чай. Потом прощались с товарищами, желали им успеха в трудном революционном деле — главном деле их жизни. Проснулся Блюмкин и подсел к столу, как ни в чем не бывало — впрочем, подальше от Надьки, смутно припоминая какой-то ее выпад, кажется, в ответ на его грубость. В любом случае, она показалась ему совершенно непривлекательной и не стоящей всех попыток ухаживаний. За окном уже рассветало. Впереди маячил новый рабочий день. Надька поднялась и, позевывая, отправилась в свою комнату. Там, не раздеваясь, она рухнула на оттоманку, поджав, как всегда, ноги, прикрыла усталые от недосыпа глаза. Те же самые неугомонные шаги наверху не дали ей уснуть. «Ну уж нет!» — злая энергия подняла ее с места и отправила на второй этаж — туда, где жил человек, не спящий по ночам. Дверь мгновенно открылась, словно кто-то давно ожидал этого громкого и требовательного стука. На пороге, испуганно моргая, стоял Гришковец. Неожиданность сменилась радостью, а радость обернулась в сложное чувство, которое можно обозначить, как воскрешение любви. Вос-

кресла она у Надьки, а уж что там было у Семена, сказать не берусь. Скорее всего, вихрь старой любви закружил и его, и ему ничего не оставалось, как покорно отдаться этой стихии.

Наговориться им удалось уже в трамвае, ползущем с окраины до Большой Лубянки. Гришковец не столько возмужал, сколько состарился. Лицо его скукожилось и показалось Надьке каким-то исплуканным. Даже словом не упомянув его неожиданное исчезновение из ее жизни в Питере, она по-детски радовалась встрече и всю дорогу приставала к нему с расспросами. Он отвечал сухо и неохотно. Сотрудник ЧК. Большевик. Блюмкина знает. Парень он бедовый, ожидать от него можно чего угодно. Расстрелы-то? А как же еще прикажешь поступать с врагами революции? И только после этих слов, а вернее, глядя в осунувшееся лицо своего возлюбленного, Надька поняла, почему тот не спал ночами, часами вышагивая в сапогах по скрипучим половицам своей комнатухи. «Видать, покойники мерещатся, — подумала она. — Слабый он для такого дела. И чего в ЧК полез?» На Лубянке Гришковец соскочил с трамвая, неловко подвернув ногу, смутился своей неуклюжести и отвернулся от Надьки, машущей ему из окна. У той сердце сжалось от жалости. Трамвай звякнул и медленно пополз дальше.

На этот раз Ленин был совсем другой. В Большом театре шел съезд Советов. Примадонна Спиридонова появилась в окружении соратников в черном платье с портфелем под мышкой и в какой-то легкомысленной шляпке. В спертom воздухе, наполненном дыханием тысячи людей, висело плотное табачное облако. На сцене все герои драмы, сидящие за длинным столом. Это президиум. В оркестровой яме — журналисты. Когда Ленин склоняется и что-то торопливо пишет на листках бумаги, Надьке с балкона виден его лысый череп. Вот он быстро поднимает голову, что-то говорит на ухо собеседнику, подскакивает со своего места и меряет мелкими шажками пространство сцены. Иногда засовывает руку в карман, чаще — в вырез черной жилетки. В Таврическом дворце это был сонный и скучающий человек, здесь — сжатая пружина. Всем известно, что левые эсеры собираются дать Ленину бой. К этому бою он готов. Вот, пожалуйста, на сцену выскакивает эсер Камков:

— Политика Совета народных комиссаров губительна для мировой революции. Ленин и большевики, поддерживающие его, будут сметены, если они и дальше пойдут по этому пути.

Надька видит, как Ленин пишет что-то на клочке бумаги. Записку передают председателю президиума Свердлову. Зал отвечает гулом голосов. Камков кричит, пытаясь перекрыть шум. Надьке плохо слышны его слова, но их хорошо слышит немецкий посол Мирбах, сидящий в боковой ложе. Кажется, Камков угрожает. Всем виден висящий у него на поясе наган. Партийным товарищам больше не сидится на своих местах.

— Да здравствует восстание на Украине! — кричат они.

— Долой немецких оккупантов! — это уже кричит Надька вместе со всеми.

— Немедленно разорвать предательский Брестский мир! — на трибуне Спиридонова. Ее кулачок гневно сотрясает воздух. — Долой соглашателей! Да здравствует борющаяся Украина!

В этом шуме невозмутим только Мирбах в монокле, демонстративно читающий газету. Свердлов что было силы трясет колокольчиком, но на него никто не обращает внимание. Не начнется ли драка эсеров с большевиками? Еще немного и начнется. Вот уже кто-то кого-то взял за грудки.

— Тихо! Говорит Ленин! Ничего не слышно! Тише, товарищи!

Стремительно выйдя к рампе, Ленин картаво говорит что-то убедительное о необходимости передышки, которую дает, пусть позорный, но мир. Без этого мира советская власть рухнет. Стихнувший было шум поднимается с новой силой. Ленин оборачивается к Свердлову:

— Закрывайте заседание!

И Свердлов закрывает.

Занавес.

В душной толчее Надька медленно продвигалась к выходу. «Что это было? — думала она. — Разрыв с большевиками? Чем это закончится? Почему она ничего не знает? Может ей кто-нибудь объяснить, что происходит?» Вокруг все возбуждены, слышатся взаимные упреки большевиков и эсеров. На ее вопросы ни у кого нет ответов. Ладно, утро вечера мудренее. Ехать

домой на окраину города не имело смысла. Пришлось остаться ночевать на плюшевом диване в комиссариате по иностранным делам. Не спалось. В тягучей полудреме ей виделось то лицо Гришковца, то лицо Мирбаха с моноклем, слышался надрывный звон колокольчика, которым Свердлов пытался утихомирить съезд.

Июльская духота просачивалась в открытые окна. Ближе к утру над городом пронеслась гроза. Стало прохладнее, но еще тревожнее. И снова нетерпение сжигало Надьку изнутри. Она понеслась в Большой театр задолго до открытия заседания, назначенного на четыре часа дня. Там уже было полно народу. Потолкалась среди своих. Выяснила, что две недели назад ЦК признал необходимым возвращение к террору, как главной тактике революционной борьбы. «Как же так, — недоумевала эсерка с длительным стажем, — почему мне об этом ничего не известно? Почему не довели до низов?» Время шло, но заседание все не начиналось. «Да что там у них происходит?» Часам к четырем появилась Спиридонова и члены ЦК с невозмутимыми лицами. Рассхаркались с большевиками и уселись в президиуме. Ленина нигде не видно. Надька нашла место в партере поближе к сцене. Почему ее одолевают плохие предчувствия? Она озирается в беспокойстве. Вроде бы ничего необычного не происходит. Вот к рампе подходит Петерс и будничным голосом просит фракцию большевиков собраться в доме напротив театра. Большевики потихоньку покидают зал. «Что же им такое приспичило обсудить? Не позже и не раньше», — Надька перебирается в первый ряд. Отсюда сцена как на ладони. Нет, все-таки, что-то происходит. В оркестровой яме ни одного журналиста, а в кулисах красноармейцы с винтовками. Лицо у Надьки вытягивается. Она поднимается с места. Да. Этих людей с винтовками она уже видела. Это латышские стрелки, но в зале одни левые эсеры, человек триста, может, четыреста. Выйти из зала им не разрешают.

— Это что? — кричит она. — Измена? Большевики арестовывают депутатов, избранных народом?

Спиридонова выбегает к рампе с браунингом в руке:

— Да здравствует восстание!

Зал отвечает:

— Да здравствует восстание!

«Какое еще восстание? — недоумевает Надька. — Неужели против большевиков?»

Крики постепенно стихают. Со сцены кто-то говорит о покушении на немецкого посла Мирбаха.

— Убили?

— Кажется. В любом случае Брестский мир сорван. Ура, товарищи!

Кто-то восторженно запел Интернационал. К его голосу присоединились другие. Спела и Надька, но не воодушевленно, прислушиваясь к выстрелам с улицы (а стреляли там довольно часто). Потом забухала артиллерия. Действительно, восстание. Тогда почему здесь бездействие? Промедление — смерть восстания. Мысль хорошая, главное, своевременная. Это у нее нет пистолета, а многие товарищи вооружены. Можно хотя бы попытаться прорваться наружу. Никто не пытается. Поют песни. Спиридонова сидит как ни в чем не бывало. А кто же тогда руководит восстанием? К двенадцати ночи пение стало стихать. В зале заметно подустали. Пора было и на отдых. Улеглись на диванах, в креслах, прямо на полу, стацив в кучу ковры. В литерной ложе устроили Спиридонову. Сморилась и Надька. Она уснула на стуле у выхода, уткнувшись головой в пыльную портьеру.

Пока все спали, за стенами театра шел бой между отрядом эсера Попова и красноармейцами. Выиграли большевики с Лениным благодаря латышским стрелкам, поддержавшим договор, отдавший их родину немцам. Утром седьмого июля дверь, возле которой спала Надька, распахнулась под ударом чьей-то ноги. Человек в кожанке и крагах торопливо прошел мимо нее. Троцкий! Он снова появился в жизни Надьки в решающий момент. Вот он уже на сцене вытирает носовым платком потное лицо и пенсне, поднимает руку. Зал проснулся, зашумел. Люди спешат к сцене, пропускают вперед Спиридонову. Все измучены ожиданием и неизвестностью.

— Товарищ Троцкий! — отчетливо и гневно выговаривает Мария Александровна. — Мы требуем немедленного освобождения! Немедленного прекращения огня! Это насилие и нарушение наших прав!

— О каких правах идет речь? — картинно возмущается Троцкий. — Здесь действует только один закон — закон борьбы за власть!

— Но мы еще и депутаты, избранные народом!

— Нет! Вы члены партии, поднявшей мятеж против советской власти, и поэтому арестованы.

Диалог явно не складывался. Покричали еще. Троцкий удался так же поспешно, как и появился. Надьку охватила безнадежность. «Мы здесь просто заложники, — думает она. — Знать бы, что происходит за этими стенами. К тому же ужасно хочется есть: второй день не жрамши! Хорошо еще выводят в сортир! Но почему никто не совершает ни одной попытки вырваться отсюда? Какая удивительная покорность!»

В последнем отчаянном порыве она бросается на сцену и, прижимая руки к груди, кричит:

— Товарищи! Почему мы не предпринимаем попыток вырваться отсюда? Нас триста человек, у многих есть оружие. Можно же, в конце концов, попытаться хотя бы распропагандировать охрану.

Ей видна Спиридонова, склонившая голову к сидящему с ней товарищу. Должно быть, спрашивает, кто такая. «Мария Александровна, милая, дорогая красная дева, поддержите!» — с последней надеждой эсерка Безладнова пытается поймать ускользающий взгляд Спиридоновой. Та поднимается со своего места.

— Не поддавайтесь на провокации! Это попытка расколоть нашу фракцию. ЦК призывает оставаться на местах и сохранять выдержку.

В зале слышится одобрителный гудеж. Поруганная Надька спускается со сцены. Все кончено. Это партия пораженцев. Только и остается, что сохранять выдержку. Когда Надька плакала в последний раз? Много лет назад в Париже над мертвым тельцем сына. А вот опять слезы потекли по щекам. Она их даже не стесняется, не вытирает. Похороны так похороны.

Эсерам пришлось сохранять выдержку еще два дня. Девятого июля двери наконец распахнулись, и люди с винтовками хлынули в зал Большого театра. Спиридонова первой отдала свой браунинг, за ней последовали остальные. Измученная, голодная Надька встрепенулась, разглядев в вооруженной толпе Гришковца.

— Ты что тут делаешь? — удивился тот.

— Так я тут со всеми нашими.

— Делегат?

— Нет, приглашенная.

— Вот, блядь, пригласили! Вечно ты влезешь по самую эту, куда не следует!

Он сердился, а Надька с любовью разглядывала его лицо, по которому ручьем лился пот. «Чего они кожанки все напялили по такой жаре?» — подумалось ей с приглушенной материнской нежностью. Гришковец опасливо вынул из кармана тряпицу и сунул Надьке в руку.

— Пожуй пока. Сейчас я бумагу принесу. Заполнишь. На вопросы отвечай с умом.

В тряпице оказался кусок хлеба и хвост воблы. В листке, принесенном Гришковцом для заполнения, стоял вопрос об отношении к убийству посла Мирбаха. Надька обтерла рыбные руки о тряпицу и наморщила нос:

— Так я ничего против не имею. Гнида он в монокле. Капиталист и душегуб.

— А ты знаешь, кто его кокнул? — хмыкнул Гришковец.

— Да откуда? Сидим тут взаперти третьи сутки.

— Да Блюмкин твой.

— Вот пострел, везде поспел!

Надька заржала так, что на нее зашикали соседи. Даже в напряженной обстановке она оставалась такой несуразной в своей мятой одежде, с нечесаными отросшими лохмами и счастливой по непонятным причинам рожей.

— Ну, ты это, — нахмурился ее спаситель, — пиши: «осуждаю»!

Послушно послунявив карандаш, она так и написала. Остальные ответы заполнила уже сама без подсказки любимого, который отойдя в сторону, тихо говорил с людьми, тоже одетыми в кожанки. К войне с Германией революционная Россия не готова, в партии эсеров с 1904 года, в настоящее время на работе в Комиссариате по иностранным делам. Кажись, все. Вокруг нее партийные товарищи сосредоточенно работали над заполнением анкет.

— Сема, а кому мы ответы пишем-то? Кто их читать будет? ЧК?

Подошедший к ней Гришковец, быстро просмотрел ее листок. Потом, глядя поверх склоненных над анкетами голов, громко сказал, как отчеканил:

— Вашим делом будет заниматься Следственная комиссия, гражданка Безладнова, поскольку вы принимали участие в антиправительственном мятеже.

И тут Надька задумалась. Оказывается, просидев взаперти трое суток, она принимала участие в мятеже. События происходили где-то за стенами Большого театра, но она о них ничего не знала. Но также ничего не знали и все сидящие вокруг нее товарищи. В чем их вина? Дело к ночи. Неужели четвертую ночь здесь маяться? И, как назло, Гришковец с ее анкетой куда-то пропал.

Но Гришковец не пропал. Он узнал, что ночью к Большому театру подгонят грузовики для перевозки арестованных левых эсеров в Малый театр. По указанию Свердлова съезд Советов должен был возобновить работу на следующий день в уже очищенном от всех несогласных помещении. Это был самый подходящий момент для спасения Надьки. Он просто незаметно вывел ее из театра, когда началась суматоха с погрузкой арестованных. До дома на окраине она добралась к утру. Там было непривычно тихо. Удивившись непонятной тишине, Надька проспала весь день, а проснувшись, кинулась на второй этаж в комнату, где жил Гришковец. Комната была пуста. Он снова исчез. На этот раз надолго.

Глава 7

Бежавший из родных мест Ванька пристроился при походной кухне у красных, и скоро его вытянувшийся не по летам длинный костяк оброс заметным количеством молодой плоти — а все потому, что вопросы бытия его не интересовали, и, размышляя о том, что бы такое съесть, он никогда не задумывался над тем, зачем была дана ему жизнь. В то время мало кто над этим задумывался. Шли годы беспощадного взаимного уничтожения, названного Гражданской войной. Простые люди и к смерти относятся просто: Бог дал, Бог взял. Тетку-повариху, приютившую Ваньку, убило прямым попаданием снаряда в полевую кухню. Сгребая лопатой то, что какое-то время назад принадлежало человеческому

роду, жило и просто существовало, Ванька удивлялся тому, как мало от всего этого осталось. Земля в том месте была мягкая, податливая. Оставшиеся в живых после обстрела с легкостью вырыли яму, вместившую всех погибших. Командир отряда выстрелил в воздух из нагана над свежей могилой и приказал остальным бегать патроны для осуществления революционной мести. Увидев Ваньку с лопатой, он подозвал его к себе.

— Кто такой? Почему без винтовки?

— Дык не дали мне, — смутился Ванька, — я при кухне ошивался. Клавдии помогал...

— Вижу, ряшку наел. Кашу варить умеешь?

— Ну!

— Ладно, оставайся при кухне! Будешь кормить бойцов. И без контрреволюции тут, а то шлепну враз!

Как оставаться при кухне, когда кухни нет? Была, вот тут стояла, а теперь яма одна осталась. В брюхе урчит, последний раз вчера ел. Ребята голодные к хутору наладились — тащить что ни попадя. Сколько их? Ванька прикинул на глаз. Может, сто... Почесал затылок... А, может, двести? В арифметике он был не силен, но на остальное, хоть и не жрамши, силы еще были. Выловил кобылу, бегающую по развороченному полю, взгромоздился — и тоже на хутор, а там уже красноармейцы гоняются за кудахчущими курами. Выловили пяток рябых, свернули им шеи и на радостях проглядели летящих прямо на них казаков. Ванька успел схорониться в крапиве за плетнем. Лежал там и трясся от охватившего его страха. Из крапивы ему были слышны ржанье лошадей, свист сабель да короткие вскрики. Казаки рубили молча. Когда убойная сила отработала и унеслась в неизвестном направлении, Ванька осторожно выбрался на улицу. Хоть и много к тому времени повидал он мертвяков, на этот раз нутро его не приняло развернувшейся картины. Выдавив из себя слизь, за неимением внутри ничего более к такому случаю подходящего, он уселся в придорожную пыль. Хутор казался пустынным под висящим высоко в небе летним солнцем, даже собаки не брехали. У плетня в траве жужжал шмель, проворно ползали муравьи. Этой живности все было нипочем. Тут же роились отвратительные зеленые мухи. Они назойливо трогали хоботками потное Ванькино лицо, а когда тот начинал отмахиваться и трясти головой, недовольно

отлетали и рассаживались на кровавое месиво, оставленное казаками. Ветер сгонял налетевшие на солнце облака, шевелил солому на крышах хуторских хат. Вокруг не было видно ни одной живой души. Если бы Ванька знал что-нибудь про время и умел красиво выразиться, он бы сказал, что оно остановилось. Но вот оно пошло снова, солнце перевалило на вторую половину неба. Ванька поднялся и побрел подалее от страшного места. Куда? Да он и сам не знал. Ноги опять привели его на железнодорожную станцию. На платформе толкались мешочники, сутками поджидавшие поездов, плакали дети, держась за материнские подолы, лениво зевали бродячие псы. Присев рядом с бабкой с подвязанной щекой, он задремал под ее жалобный вой.

— Батюшки, за що ж мени таке? — горестно причитала она, держась за щеку и не забывая опасливо поглядывать на худого и грязного юношу, уснувшего рядом с ней.

В коротком сне Ванька увидел лежащего на печи дедуню с открытым шамкающим ртом. «Должно быть, помирает», — успел подумать он и проснулся. Потом, поглядев на мир вокруг себя пустыми глазами, не испытал ни жалости, ни сочувствия к тесно обступившим его людям. Сидеть с ними было скучно, и он побрел по путям к семафору, где пыхтел и отдувался черный паровоз. «Ну ты и зверюга! Большо-о-й. И колесы красные. Силищи-то сколько! И чего ты тут стоишь? Ехай давай куда-нибудь!» — начал он разговор. Паровоз молчал, от него несло жаром и незнакомыми запахами.

— Ну что зенки пялишь, нравится машина?

Незлое лицо человека улыбалось сверху задравшему голову Ваньке. Тот тоже расплылся в ответ.

— Силен красавец! Пыхти-и-ит!

— Пыхти-и-ит! — передразнил человек. — Ты откуда такой молодой и красивый мне попался? Деревенский поди?

— Станичник.

— Из казаков, што ль?

— Иногородний. Оголодал совсем.

— Кочегаром ко мне пойдешь?

— А шо делать, дяденька?

— Дяденька у тебя в станице, а я помощник машиниста. Понял?

Ванька кивнул и полез в кабину по лесенке, так и не убрав улыбку с лица. В кабине было жарко, особенно ступням в прохуdivшихся опорках. Ни одной штуки, что были в кабине, ему раньше видеть не приходилось. Улыбка убралась, и лицо его вытянулось в испуганном недоумении. Эту перемену сразу заметил помощник машиниста.

— Не робей, парень! Тебе много знать не надо. Лопату в руках держал?

— А то как же!

— Вот и будешь кидать уголь из тендера в лоток. Потихоньку освоишь науку. Рычаги у тебя подходящие.

— Чего подходящее? — не понял Ваня — впрочем, как и не понял, откуда куда кидать уголь.

— Ручищи большие. И с виду не слабак. А наш кочегар-то заболел, понимаешь. Перед поездкой стал харкать углем с кровью, а тут бригаду собрать надо срочно. Щас машинист подойдет, выедем на поезд. Ты бронепоезд-то видал когда?

Бронепоезд Ване Колесниченко видеть еще не приходилось, как и многое другое из стремительно накатывавшего на него будущего. Пока же судьба пристроила его к паровозу и помощнику машиниста Савельеву. Савельев был человек, не озлобленный войной: дал Ваньке пару сухарей из своего мешочка и попить теплой воды из подвешенного на крюке чайника. Подоспевшему машинисту обувка нового кочегара не понравилась. Порывшись в железном сундучке, он вытащил пару изношенных ботинок. Ботинки оказались Ваньке малы — он их обул, примяв задники. Припекать с полу стало меньше. Работа оказалась не так уж и проста. Уголь — не мягкая податливая земля, которую копать не хочу. Ванька взмок, поднимая вихри черной пыли кувалдой, пока отбивал глыбы в тендере и подгребал тяжелые куски к лотку. Хорошо хоть в рукавицах орудовал, а то натер бы волдыри даже на свои привычные к работе ладони.

— Ну все, погоди пока! — Савельев с важным видом пошуровал несколько лопат в топку, коротко лязгнув, захлопнул дверцы и подмигнул новоиспеченному кочегару.

Покрытое угольной пылью и потом лицо расплылось в ответ.

— На-ка вот, утрись!

Пока Ванька утирался ветошью и счастливо поблескивал голубыми глазами, паровоз дал длинный гудок, вздрогнул и тронулся с места. Машинист снова перекинулся непонятными словами с помощником. Савельев посчитал своим долгом пояснить кое-что кочегару:

— Щас встанем под колонку, зальем воду, потом заедем под платформы и айда!

Повиснув на ступеньке, Ванька следил за маневрами паровоза, послушного уверенным движениям машиниста. Когда поток вспененной воды обрушился из колонки в открытый люк тендера, душа его наполнилась восторгом, который он постарался затаить, считая проявление подобных чувств несолидным. Напившись, паровоз зафыркал — совсем как мерин соседки Нюрки на водопое, только громче. «Как не комплект? — с простодушным удивлением говорил с кем-то Савельев. — У нас новый кочегар уже на тендере поработал. Вань, а ну поди-ка сюда!» Ванька высунулся в окошко показаться неизвестному человеку в железнодорожной форме. Тот закивал: «Тебя как звать-то?»

— Колесниченко Иван Андреевич, тыща девятисотого года рождения, — отрапортовал он, поняв важность момента.

— Когда вернешься, зайди в депо. Так и запишем.

Железнодорожник быстро потерял интерес к новому кочегару. Его ждали другие дела. Ваньку ждала встреча с бронепоездом, готовым к прицепу. После паровоза ни один механизм уже не мог его впечатлить. Начать разговор с вагонами, обшитыми сталью, из которых торчали черные кругляшки дул, ему не захотелось, да и о чем говорить с машиной, приспособленной для убийства людей? Вокруг бронированных платформ суетились люди в военной форме. По команде человека в кожаной куртке они полезли по лестницам в башенки, оставив часовых с винтовками у дверей вагонов. Сам этот человек проворно забрался в паровозную будку и за руку поздоровался с машинистом и помощником. Увидев нового кочегара, представился:

— Коренев, командир бронепоезда «Свобода или смерть!»

Крепкий с виду, коренастый и молодой, с белесыми выгоревшими волосами, торчащими из-под кожаной фуражки, он понравился Ваньке. Такой, не разобравшись, «шлепать» не будет. Глаза смотрят открыто, рука сильная. Поговорив о чем-то с ма-

шинистом, Коренев также стремительно спустился вниз по лесенке, козырнув на прощание. Дальше Ваньке было некогда. На него со всей силой навалилась тяжелая работа кочегара. Он с третьего раза приноровился раскидывать уголь веером, узнал премудрости шуровки: сперва большие куски в углы топки, потом ровный слой угля по середке. Савельев велел ему смотреть в маленькие окошки на топочных дверцах, чтобы знать какого цвета пламя. Ванька-то и не подозревал, что оно может быть светлым или без цвета совсем. В деревенской печке без разницы, там огонь горит или нет, а тут целая наука: светлое — значит мало горения. Надо кидать больше, чтобы паровоз тянул.

— А ну как уголь кончится? Шо делать тадыть?

— Шо делать да шо делать! Воблой топить! — огрызнулся помощник, но помягчел, увидев оторопь на чумазом лице. Парень-то приглянулся ему с самого начала. Иначе бы он его не взял в поездку.

— Думаешь, я всегда углем топил? Вот как встанем, пилу возьмешь и пойдешь с ремонтниками лес пилить на дрова... Если будет он, этот лес...

Машинист был еще строже. Поначалу совсем не обращал на нового кочегара внимания, но ближе к ночи, заметив его усердие, ткнул пальцем в манометр.

— Что это такое, знаешь?

Ванька оперся на ручку лопаты и сосредоточенно наморщил лоб:

— Вроде как часы такие, тока без гирек.

— Это прибор, измеряющий давление. Видишь стрелку? Стоит почти на двенадцати. Значит, подъем возьмем, — и машинист нажал ручку гудка вниз.

Паровоз издал длинный протяжный гудок, известивший мир о его неутомимом беге в наступившей ночи. Куда же он бежит? За окошком будки проносится чужой пейзаж. Все дальше и дальше Ваня Колесниченко от своего хутора. И хорошо: никто его там не ждет, а если кто когда-то и ждал, то позабыл или умер.

Улеглась угольная пыль, притомился от тяжелой работы кочегар, сел на приступку, подтянув длинные ноги, руки ветошью обтер и угодился вареной картофелиной в кожуру. Только водой запил, как Савельев зовет к окну:

— Гляди, стрелку прошли, впереди светлый сигнал семафора — путь на станцию открыт. Там нас отцепят. Дальше бронепаровоз подгонят, все как положено. Он, Ваня, помощнее нашей «Овечки» будет!

Ваня в темноту, конечно, смотрит. Глаза жмурит и опять тащит, но ничего не видит. Никакого семафора. Вот как будто вдали красный огонек замигал, а машинист уже крутанул назад колесо реверса и кричит так, что жилы вздулись на его шее:

— Закрывайся, мать твою так!

Паровоз три раза коротко свистнул, оповещая о беде.

— Да что там у них? — подскочил помощник, дернул какой-то рычаг на себя, закрутил колесо. — Стокер встал. Вода пошла!

— Гляди, чтобы предохранительные краны не сорвало!

Паровоз заскрежетал, словно жалуясь на плохое с собой обращение, лязгнул и, выпустив пар, окутавший кабину, послушно встал. Где-то сзади передернулись тяжелые, обитые железом, вагоны.

А по рупору уже голос Коренева спрашивает, что и как. Доложите.

— Станция закрылась. На подходе светлый был, а потом красный замигал. Не пойму, что у них там. Экстренно встали. Говорил ведь, что платформу впереди паровоза поставить надо. А если там путь разобран?

— Понял, сейчас вышлю команду проверить.

Чьи-то ноги затопали по железнодорожной насыпи, замигали фонари, послышались голоса. Ванька тоже спустился по лесенке, вдохнул горячий воздух и резкий запах креозота. Вставленный в лоб паровоза прожектор светил ровным немигающим светом. Вдруг откуда-то в стороне завспыхивали огоньки и градом застучало по железному боку паровоза.

— Ложись, братва! Эй, в будке! Отключай прожектор!

Ванька скатился с насыпи. Приподняв голову, он хотел посмотреть на машиниста и Савельева в будке, но тут над ним со свистом пролетел снаряд, потом еще другой. Сверху посыпалась земля, камни, обломки шпал. Бронепоезд ухнул в ответ. Застрекотали пулеметы. Знакомый страх вдавил Ваньку в землю. «Матушка Заступница! Заступница усердная! Не дай мне вбить! Христом Богом прошу», — зашептали молитву его губы. Он

снова потерял счет времени. Оно остановилось, повиснув облаком гари над его головой. Из этого безвременья вдруг вылетел ангел с огненными крылами и с лицом сестры Мани. «Отцепляй! — закричал что было мочи ангел. — Здесь под уклон, немного толкнем — сам пойдет». Ванька успел удивиться перед тем, как время снова сдвинулось и пошло вместе с бронепоездом. Колеса заскрипели, залязгали, поезд медленно тронулся, оставляя позади развороченное тело паровоза. Стрельба потихоньку затихала. «Ой беда, ой беда! — заплакал Ваня, как маленький, размазывая въевшуюся угольную пыль по лицу. — Убили их, как есть убили. И Савельева, и машиниста. Куды теперь бечь?» Проплакав еще немного в темноте, сморенный обрушившейся на него тяжестью жизни, он уснул.

На станцию, куда паровоз «Овечка» тащил бронепоезд «Свобода или смерть!», налетели белые. Обходчик успел добежать до семафора и дать красный сигнал, запретивший бронепоезду проход. Сил у налетчиков оказалось немного. Выпустив несколько снарядов по паровозу и напоровшись на шквальный огонь трехдюймовок с бронепоезда, они отступили. Ничего этого вылезший из своего укрытия навстречу голосам, разбудившим его утром, Ванька не знал.

— Ой, гляди! Какое чудо взялось ниоткуда! — хохотнул парень в замасленной рубахе. Он молотил кувалдой по шпале и радовался случаю, помогшему ему оторваться от этой нудной работы.

Чудо приветливо заулыбалось и спросило чего-нибудь поест, поскольку «ничего не жрамши со вчерашнего дня».

— А у нас кто не работает, тот не ест. Слыхал такой устав? — парень продолжал потешаться нам грязным и босым оборванцем.

— Дык, я этот... кочегар, — Ванька мотнул головой в сторону искореженного паровоза, который еще не успели оттащить в депо за ненадобностью.

— А парень может и правду говорит. В будке-то токо двоих нашли, — задумался кто-то из рабочих.

— Дык это Савельев и машинист наш. Савельев меня и взял кочегаром. Ихний-то стал кровью с углем харкать, а я как раз мимо был, — сглотнул слезы Ванька, — хорошие такие мужики... Царствие им небесное! — он перекрестил лоб в грязных разводах сажи.

На этот раз ему поверили, дали съесть сухую воблу и луковицу, а уже за водой он побрел на станцию. Напившись из колонки и обмыв лицо, сел ждать неизвестно чего, а может, просто не зная, что делать дальше. Станция была безлюдная, раздолбанная ночным сражением. На задворках как ни в чем не бывало мирно пощипывала траву коза, невдалеке время от времени кричал петух. К полудню стало припекать. Поднявшись, Ванька зашел оправиться за угол станции и тут увидел Коренева, проезжающего мимо в дрезине.

— Товарищ командир! Стойте!

Коренев велел остановить дрезину: в босом и ободранном голодранце он узнал кочегара.

— Живой, черт!

— Возьмите на бронепоезд! Мне все равно податься некуда, — голубые глаза смотрели на командира с молящим обожанием.

— Айда! Пойдешь в ремонтники. Нам нужны люди чинить путь. К ночи должны сдвинуться отсюда.

Так Ваня Колесниченко попал на бронепоезд «Свобода или смерть!»

Носилась эта «Свобода или смерть!» по железным дорогам южных губерний необъятной когда-то Российской империи. Поначалу Коренев назначил его подсобником на открытую платформу, загруженную шпалами, рельсами и всяким рабочим инструментом, нужным для скорого ремонта железнодорожного пути. Платформу эту подцепили, к удивлению Ваньки, впереди бронепаровоза, в будку которого, как он ни просился, его не пустили. Шел паровоз тоже интересно — тендером вперед, а все потому, что у Коренева там была своя рубка, откуда он обзирал противника в бинокль. Враги разбирали пути и закладывали под рельсы мины. Скоро Ванька понял, почему платформа идет первой. «Ишь ты, — он с уважением поглядывал на рубку недремлющего командира, — башковитый черт. Платформа первой подорвется, а паровоз целехонький останется», — и он вздыхал, вспоминая развороченную «Овечку». Откуда же ему было знать, что такой порядок сцепки бронепоездов был обязателен и не спасал паровоз от метких попаданий артиллерийских снарядов.

К осени Ванька уже знал, как помогать обходчикам, сцепщикам и механикам в их нелегком железнодорожном деле. От пусть и плохой, но регулярной пищи он прибавил солидности и стал зваться Иваном. Корнев разместил ремонтников в вагоне с окнами, заваленными мешками с песком. От духоты здесь не было спасу. Стены кишели клопами и всякой другой живностью, сопутствующей человеку в грязных жилищах. В теплую погоду ремонтники перебирались на открытую платформу. Ночами, укрывшись старой ветошью, обдуваемый всеми ветрами, под грохот колес тяжелого поезда, Ванька любил смотреть в черное небо, усыпанное звездами. Непостижимость мироздания утомляла его взрослеющую душу, и он засыпал, изредка отрываясь от сна, чтобы послушать протяжный крик паровоза в ночи.

В первый раз, когда запылила деревенька, по которой с ходу открыл огонь бронепоезд, Ванька словно услышал, как там режут коровы, беспомощно блеют овцы. Представил, как мечутся там кони и люди, орут младенцы, цепляясь за матерей. Сердце его вздрогнуло и заколотилось о грудную клетку так, что трудно стало дышать. Со временем обстрелы стали делом привычным. Смерть ходила рядом, то перелетая, то не долетая до вагонов бронепоезда. От прямого попадания корезились и плавилась стальные листы обшивки, горели тела людей, закупоренные в металлических банках. Еще были подрывы, от которых сходили с рельсов вагоны и пулеметные площадки, погребая под собой все живое. Хоронили мертвых, подбирали раненых, ремонтировали развороченные пути, набирали новых бойцов и мчались вперед, разнося на все стороны свободу или смерть.

Глава 8

А старый двухэтажный дом на Екатерининской все стоял. Когда-то есаул Безладнов купил его для своей молодой семьи. Отсюда он ушел на войну с японцами, отсюда же понесли его тело на Всесвятский погост. Здесь умерла его жена, родились внуки. Сюда привезли с германской войны контуженого Алексея Купленова, и отсюда же проводили его на войну гражданскую, с которой он не вернулся. Как там справлялись со смертями и невзгодами? Да как везде, так и там. Дети росли, Елена

Федоровна жила ради них, высматривая в детских чертах сходство с погибшим отцом. Состарилась Марья Игнатьевна. Вести о происходящих злодеяниях холодили ее душу. С трудом доходила она до ближайшей церкви зажечь поминальные свечи за убиенных царя с царицей и невинных их деток, за замученного старика атамана Михаила Бабыча и за единственного своего сына, сложившего Бог знает где голову и неизвестно в какой яме захороненного. Только на иконе не сгорает неопалимая купина — над Екатеринодаром повисла гарь от сожженных кубанских станиц.

В первую мартовскую ночь 1920 года кто-то стукнул в Дуськино окошко торопливым испуганным стуком. На пороге в одной рубашке и подштанниках, промокший от весеннего холодного дождя, стоял ее племянник Федька Еременко.

Дуська охнула и провела малого на кухню.

— Так що трапилось, малой?

— Так мати з батьком красные вбили, замкнули в амбаре и пидпалили, а я утек.

— Ах, божечки! Так чому вбили-то? Що там сталося?

— Так красные наше зерно хотели иногородним роздати, а батька ихнему комысару сказал «не трожь!» Йего бити стали. Тут мамка вискочила, кричати початку, ее схопили и в амбар потягли, а потом подпалили.

Дуська прижала к себе мальчонку.

— Хоч ти у мене, соколик, живий залишився.

На шум пришла Елена, чутко и плохо спавшая ночами. Рыдать не стала. Утерла слезы концом платка, накинутого на плечи.

— Ты что ж с Марьинской один бежал?

— Один. Никого больше не бачив.

— Ах, божечки!

Малого завернули в теплое одеяло и напоили горячим чаем. Проснувшаяся Марья Игнатьевна дала волю тихим слезам. Сиротку оставили. Пока стоит дом на Екатерининской, тут и ему будет место.

Иван Колесниченко больше года служил на бронепоезде. Он давно привык к грохоту пушек и стрекоту пулеметов. Братва часто приглашала его «в гости». Большому телу Ваньки было нелов-

ко на тесных закрытых бронеплощадках, но матросы ему нравились. Нравилась их бесстрашная готовность умереть и убивать врагов революции, нравились вдохновенные слова Коренева о будущей победе пролетариата на всем земном шаре. «Эти за народ, за нас, — размышлял он после таких визитов, — а казаки рубят, колют, забивают шомполами за свое, за землю, которую не хотят давать иногородним. А как жить без земли? Куды податься? Так бы всю жизнь и горбатился на чужих, если бы люди добрые глаза не открыли». Эти же люди добрые одели Ивана в гимнастерку и штаны солдата Красной армии. Задержка была с сапогами. Кореша были хоть и крепкие, но малорослые, с ногами меньшего размера. Сапоги с убитого француза нашлись после рейда бронепоезда по деникинским тылам — так что Иван Колесниченко вступил в ряды партии РКП(б) экипированным бойцом. Уже на подступах к Екатеринодару белые поймали «Свободу или смерть!» в ловушку, разобрав путь впереди и позади бронепоезда. Запасных рельсов у ремонтников не было. С неподвижной махины братки вели огонь три дня. Дело было обреченное. Оставшимся в живых Коренев велел уходить, сам же подорвался вместе с бронепоездом. К этому времени смерть стала настолько привычной для Колесниченко, что он даже не оплакал гибель своего любимого командира.

Екатеринодар устал от войны. Не вышло у казаков с самостоятельностью. Сначала Корнилов подмял под себя Кубанское ополчение. После его смерти вернулся на Кубань Деникин с Белой идеей и Добровольческой армией — только с ним у казаков и во все не сложилось. Большевиков общими усилиями отогнали, красный флаг над Радой сняли, а дальше разошлись во взглядах: господам офицерам императорский флаг подавай, атаманам — вешай свой. Пока между ними шли разборки, большевики собрали силы под Царицыным, наводнили Северный Кавказ и заняли Екатеринодар. Так пошли прахом и самостоятельность, и Белая идея. Над Радой снова взмыла красная тряпка.

И вот опять они в городе — люди в тельниках под распахнутыми бушлатами, с заткнутыми за пояс наганами, да еще и верхом на кабардинских скакунах в высоких казацких седлах, неумело обхватив ногами крупы гордых красавцев. «Яки макаки в цир-

ку», — смеется Дуська, глядя из окна на улицу. Там же носятся броневики, скрипят повозки, идут солдаты с винтовками, хлюпающая сапогами по весенней жиже.

— Евдокия, уйди от окна! Не ровен час, увидит супостат какой-нибудь, польстится на твою красу. Забыла, как насилу отбилась от них, нехристей?

Дуська и сама боится матросни, но выходить из дому надо, надо кормить семейство... А как? Елена все чаще открывает матушкин сундук, достает оттуда семейные реликвии, вздыхает. Откуда ни возьмись, выпорхнула картинка с деревом. Картинку Дуська с полу подняла.

— Это шо, яблоня такая?

— Апельсиновое дерево это. У нас такие не растут.

«Ну все, — думает Дуська, — зараз слезы будем лить, а мене на базар треба ити». Ожидаемых слез не последовало. Маленькие ручки Елены вытащили из сундука два серебряных подсвечника, Дуськины короткопалые лапы уложили их в плетеную кошелку, вот только добраться до базара ей так и не пришлось. У дома покойного почтмейстера стояли люди в кожаных куртках с винтовками. Уже одно это было плохим признаком. И точно, только успела она шмыгнуть на другую сторону улицы, как увидела сына почтмейстера с избитым в кровь лицом. Эти же люди поволокли его к стоящей пролетке.

— Гони в Чеку! — крикнул один из них извозчику.

Спины в кожанках закрыли от Дуськи соседа, да ей и не хотелось еще раз видеть его страшное лицо. В ужасе рванулась она домой и, прибежав, громко защелкала затворами и засовами дверей. Но разве можно было убежать, спрятаться или закрыться на засовы от революционных стражей? Они все равно пришли.

Вот и настало время описать эту встречу. Вдобавок к семейной легенде сохранилась их фотография. Оба очень красивы. Он светлоглаз, высок и ладен. Галифе. Сапоги. Фуражка с пятиконечной кокардой и полувоенный френч. У нее стрижка по моде двадцатых годов. Белая шея, выступающая из выреза темного платья. Его рука лежит на спинке стула, на котором сидит она. Покровитель. Защитник. Они вместе уже пять лет. Между ними покой и доверие. Я не вижу даже разницы

в возрасте, хотя она старше на десять лет. Он полуграмотен, из крестьянской семьи. Иногородний. Она дворянка. Вдова подьяесаула. Их свела революция.

Тревожно было в Екатеринодаре. Часто стреляли. А тут еще бронепоезд, стоявший у железнодорожного вокзала, выпустил по городу несколько снарядов. Недалеко от Екатерининской загорелись дома. Федька расплакался, прячась за портьерой. Елена с Дуськой насилу его успокоили. В ту ночь детей уложили спать на первом этаже. Намаевшись страхами, прилегли с ними. Бежать было некуда, прятаться негде. В Марьинской не спасешься, в погребе детей держать не будешь. У себя наверху Марья Игнатьевна долго молилась. О чем? О том, чтобы миновало и пронесло, сохранило то, что у нее осталось. Под утро взрослых разбудил стук в дверь. Не миновало и не пронесло. Три чужих человека ввалились в дом. От шума проснулись дети. Младшие заплакали во весь голос, Федька забился в угол. Что думали женщины, увидев лица своих будущих убийц?

— Что вам угодно, господа? — Елена Федоровна стояла в ночном капоте с распушенными по плечам каштановыми волосами.

Голос слегка дрожал. Спина прямая, как учила матушка. Орущие дети мешали сохранять достоинство. Пришлось взять Котика на руки. Тамарка вцепилась в Дуськин подол.

— Да яки це панове, Елена, ти що? — удивилась Дуська.

На кухне дверь на черную лестницу была не заперта. Накануне она учила Федьку, как бежать из дому, если придут супостаты. От страха мальчишка все забыл. И это волновало Дуську больше всего — о себе ей уже не думалось. У Марии Игнатьевны не было сил спуститься вниз, но она слышала голоса и хорошо представляла лица ворвавшихся людей: небритые и озлобленные.

Другие ей уже давно не попадались.

— Мужики в доме есть? — шаги проследовали в гостиную. Кто-то двигал стулья.

— В доме только женщины, — это голос Елены, или Лели, как звала ее Марья Игнатьевна.

— Белогвардейка?

— Вдова.

— Знаем мы вас, вдов! Муж-то за кого был?

— Да шо ты спрашиваешь, Васек? Вон глянь, по стенам их благородия развешаны.

Рев детей усилился.

— Это фотографии моего отца есаула Безладнова. Награды тоже его, за заслуги перед отечеством.

— Оружие есть?

— Нет.

— Это мы шас проверим. Отойдите, гражданка! — наверное, Евдокия загородила кому-то из них дорогу.

Опять шум и шаги. Что-то разбилось. И вдруг на кухне старые нянюшкины ходики затикали на весь дом, да так громко, что их услышала Марья Игнатьевна.

— А ну, Петро, поди, глянь наверх.

Теперь шаги на лестнице. Должно быть, Петро идет. В пустые комнаты заходит, ящики открывает, роется. Да что он там найдет? Все ценное Дуська давно на базар перетаскала. Вот он уже в ее спальне. Сапожищи грязные, глазищи по сторонам так и рыщут. Марья Игнатьевна встала с постели. Сухонькая старушка с седой косицей, обмотанной вокруг головы. Петро обрадовался: увидел кованный сундук, в котором еще покойная Екатерина Ивановна хранила есаулову шашку и кинжал. Сундук скрипнул, пахнуло нафталином. На крышке с внутренней стороны мелькнула открытка царицы-матушки с красавицами царевнами.

— Вишь ты где, контра, угнездилась. А дамочка-то ваша говорит, оружия у ей нет. Это што? Оружие и будет. А почему не сдано, когда всем велено сдать?

Алчный огонек блеснул в глазах Петро: «Рукоятка-то позолоченная!» Он неумело вытянул шашку из ножен.

— Это казачья шашка, не тебе ее в руки брать, балахвост! — рассердилась Марья Игнатьевна.

— Ты потише, контра! Вас всех велено к стенке, без разбору. Я с тобой тут чикаться не намерен.

Шашка была длинновата для его коротконогого тела, зато кинжал в серебряных ножнах приглянулся сразу. Не стесняясь посторонних глаз, Петро сунул его за пазуху.

— Вор! — закричала Марья Игнатьевна. — Все вы воры и безбонники, но погодите, и на вас управа найдется!

Ее крик разнесся по дому. Стихли голоса внизу, только на кухне все так же тикали ходики, отмеряя последнюю минуту жизни Марьи Игнатьевны. Никто не видел, как она, гневно тряся сухоньким кулачком, сделала шаг в сторону супостата, как Петька ударил ее наотмашь рукояткой нагана в висок, как, охнув, упала она на пол, пролив небольшую лужицу крови, вокруг головы.

Говорят, жертва ищет сочувствия в глазах палача. Казались ли Елене эти люди на одно лицо, или она сразу обратила внимание на высокого молодого человека? Этого я уже не узнаю. Он был с теми, кто убил ее мужа и свекровь, кто убил ее близких, кто пришел «пустить в расход» ее и ее детей. По семейной легенде она плакала. Когда он сказал: «Эту женщину не трожьте...»? Сразу, как только увидел ее, или когда она заплакала? Я не знаю, была ли это любовь с первого взгляда, или это была острая жалость и желание спасти недоступную и чуждую ему жизнь.

— Ну, Иван! Ты думай, шо говоришь-то! — одернул его старший товарищ.

— Моя эта... Не трожьте! — щелкнул затвор винтовки.

А может, братки ничего не говорили, а просто переглянулись, похабно гогоча. Мол, гляди-ка, наш-то молодой-молодой, а разбирается... Но там еще были дети, там была Дуська. Неужели ему оставили двух баб? И этого я не знаю, но пусть будет так.

От снарядов, выпущенных по городу из того же бронепоезда, загорится и этот дом на Екатерининской. Дуська успеет вывести детей. Простоволосая, в чужом зипуне, накинутом ей на плечи кем-то милосердным, будет молча стоять Елена Федоровна на другой стороне улицы и смотреть на разгорающееся пламя. Вот оно пожирает тяжелые шторы гостиной, перекидывается на скромную мебель, на кресло в углу, в котором засыпала нянюшка с вязанием в руках, уносит фотографии, развешанные по стенам. В этой гостиной маменька благословила иконой ее и Алешеньку. Гори и эта икона! Сюда врывались, топоча ножками, их дети. Гори, оплывай, зеркало, отражавшее веселые застолья под хрустальной люстрой, купленной в магазине на Красной улице! Гори, кухня — царство кастрюль и сковородок, скалок и половников! По черной лестнице сюда вбегала вечно голодная Надька. Здесь шуршала накрахмаленной юбкой Капа. Гори, лестница, где прятал банный веник, завернутый в газету,

урядник Еременко! Горите, сундуки с припасенным приданным, сохранённым скарбом! А книги! Матушкины книги, любовно расставленные на лакированных полках. Горите и вы. Гори, вся прошлая жизнь! Пусть от нее останется только память! Вернее, пусть остаётся только сама жизнь.

Глава 9

И у Ольги от прежней жизни осталась только память. Ни одной фотографии, ни одной строчки, написанной любимой рукой, ни одной заваливающей вещицы из детства. Все сгорело, исчезло, пошло прахом. Всплывающие время от времени обломки прежней жизни не приносили ничего, кроме боли. Она долго не могла успокоиться, узнав о казни царской семьи и доктора Боткина. В ее воспоминаниях смерть придала их лицам трагические одухотворенные черты. Там же, в памяти, ожили вечера на Садовой улице близ дворца, милое семейство Боткиных. Где-то они сейчас? Где Фон Дрельтен? Где сестры? Где все, что наполняло каждый день тогдашней жизни? Впрочем, кое-что все же осталось. В низочке на проспекте 25-го Октября ей попался букинистический магазин, забитый книгами и нотами, но без единого покупателя. Судя по всему, старые книги не интересовали молодых строителей нового мира. Она долго перелистывала оставленный кем-то на прилавке фолиант с древнерусским шрифтом, вдыхая знакомые с детства запахи клея и кожи. «Это надо же, какое чудо, что он сохранился, только страницы слегка истлели. Семнадцатый век! С ума сойти!»

— Да вот, — понял ее состояние хозяин магазина, — сколько войн пережили, революций, голодных бунтов, а как было написано триста лет назад, так и по сей день остается: «Славы земной ни в чем не желай; ...всякую скорбь и притеснение с благодарностью претерпи; если обидят — не мсти, если хулят — молись; не воздавай злом за зло».

В изумлении Ольга смотрела на человека, только что напомнившего ей забытые христианские истины. Еще не старик, но уже далеко не молод. Глаза умные из-под очков, пронизательные. Одет бедно. Плечи сутулые. С таким же интересом он рассматривал Ольгу.

— Не воздавай злом за зло... Я уже забыла то время, когда люди не убивали друг друга. Да и было ли оно когда-нибудь? Только озверение и вижу вокруг. Зачем Он это говорил, словно издевался? Это же недостижимо, невозможно.

— Да, трудное нам испытание выпало. А я, знаете ли, все равно верю, как Иов. Он все потерял, кроме веры. Уже покрытый струпьями, не выдержал, вскричал «За что?» Потому как праведником был и знал это. И Бог знал. Он испытывал Иова. Может, Он и нас испытывает? — и, заметив нетерпеливое выражение на лице Ольги, оборвал свою мысль. — Вас интересует что-нибудь конкретное, или зашли просто, так сказать, ознакомиться? К нам барышни иногда заскакивают по ошибке. Тут же носики морщат и торопятся поскорее убежать.

— Да-да, — спохватилась Ольга, — ноты, мне нужны этюды Шопена. Давно не играла, хочется попробовать снова.

Уже получив книгу нот Шопена дореволюционного издания, она не спешила уходить и разговорилась с хозяином магазинчика. Оказалось, ей давно не хватало собеседника. Арсений Михайлович не понятно как перебрался в новый мир из мира, бесследно исчезнувшего для Ольги. Она не решалась расспросить его о прежней жизни, он не спрашивал ее. Наговорившись вволю о Толстом и о непротивлении злу насилием (придет же такое в голову в пору диктатуры пролетариата), они распрощались, весьма довольные друг другом. Садясь в трамвай, Ольга вспомнила, что дома у нее нет рояля. Подобный провал памяти обескуражил ее, но развеселил Пустырева. Он вообще много и охотно смеялся, показывая ряд крепких белых зубов.

— Есть ноты, будет и рояль. Я не знал, что ты играешь.

Приходила ли ему в голову мысль о том, как много ему неизвестно о жене? Вряд ли. Другие мысли и заботы вытесняли ускользавшие догадки о ее прошлом. Да кому интересно это прошлое, когда всех ждет такое замечательное будущее! А в этом Пустырев не сомневался.

Рояль появился к первомайским праздникам. Несколько угрюмых мужиков под негодующий лай Карая вкатили в гостиную «Красный октябрь». Не скрывая зависти, оглядели хоромы и, приняв чаевые от Вареньки, мрачно удалились. К удивлению Пустырева, да и к своему собственному, Ольга не кинулась к ин-

струменту, а только задумчиво постояла рядом, тыкая пальчиком по клавишам, равнодушно разглядывая гривастый портрет Шопена на обложке нотного сборника.

— И чего стоит? — недоумевала Варенька. — Села бы, поиграла. Все при деле.

Но дело как раз и не находилось. Утро Первомая Ольга встретила в такой же задумчивости, стоя у окна. На улице лил дождь, пузырились лужи. Плохая погода несколько не испортила настроения Пустырева. Он долго возился в ванной, откуда вышел, пахнув одеколоном, потом уселся за стол в гостиной и с удовольствием принялся за яичницу, кося глазом в праздничный номер газеты.

— Возьми зонтик, Антон! Я не понимаю, как люди пойдут на демонстрацию в такой ливень.

— Куда я с зонтом, Оленька? Лучше плащ. Не сахарный, не растаю. Нас целая колонна идет с оркестром, гимнастами. Ну, слегка, может, подмокнем. Зато сколько радости людям! Праздник. А вот ты не вздумай выходить, промочишь ноги!

Ольга лениво отвернулась от окна. Попить чаю, что ли? На кухне Варенька грела на конфорке щипцы для завивки волос.

— Куда это ты собралась? Неужели на демонстрацию? В локонгах под дождем?

— А что дома сидеть-то? Тоска одна. Лучше помогите мне кудри накрутить! Я берет надену, нужно, чтоб с одной стороны волосы красиво свисали, как у Веры Холодной, — и Варенька pokrutila пальцем, показывая, какой завиток она хочет возле уха.

Вздыхнув, Ольга прихватила тряпочкой щипцы с огня. Варенькин плевок зашипел на раскаленной плойке.

— Помашите, помашите, а то сожжете мне волосы, — командовала она. Ольга послушно помахала щипцами. — Все. Теперь крутите!

Перебравшийся на кухню, Карай внимательно наблюдал за непонятными действиями двух женщин. Собственно, его интересовало только одно: имеют ли все эти приготовления какое-нибудь отношение к нему? Оказалось, что не имеют. Его оставили сторожить Ольгу, закрывшую дверь за Верой Холодной в берете и Пустыревым в плаще.

Меж тем дождь утих. Из-за туч проглянуло робкое солнце. С Каменноостровского проспекта послышался шум приближавшейся колонны людей, донеслась музыка духового оркестра, чей-то залихватистый смех. Карай настороженно поднял уши. Ничто не нарушало тишины квартиры и не предвещало опасности. Можно было продолжать исподлобья наблюдать за хозяйкой, стоявшей к нему спиной у окна.

«Почему я всегда вот так, в стороне — подсматривая, но не участвуя?» — пыталась себя Ольга. — Там счастливые лица, много молодых. Никто их не сгонял, сами идут, несут эти убогие транспаранты, радуются. Чему они радуются?» И тут же отвечала сама себе: «Жизни они радуются. Чему же еще?» Впрочем, и ей в тот день перепало праздничной радости: Пустырев принес два билета на концерт в Петроградскую филармонию.

Не то чтобы большой ценитель классической музыки, он любил показаться на людях с женой. Ему льстили восхищение и зависть, которые вызывала женщина, держащая его под руку. К удивлению Ольги, зал был переполнен. Люди стояли в проходах, кто-то даже разместился на полу. Программа обещала быть захватывающей: Скрипичный концерт Чайковского, Второй концерт Рахманинова. Знакомых в зале не оказалось, и расшаркиваться было не с кем. Пустырев усадил Ольгу в третьем ряду, близко к проходу в центре. Оглядевшись хрустальные люстры и белые мраморные колонны, он вдавился в плюшевое кресло, приготовившись к пытке музыкой, которую не знал и не любил, но мог перетерпеть ради Ольги. Появление скрипача несколько заняло его внимание, но ненадолго. Какое-то время ушло на разглядывание руки, двигающей смычком, и подбородка, зажавшего скрипку. Пришедшую мысль о том, что скрипка — инструмент чуждый пролетариату, а музыка Чайковского не раскрывает народного характера, заменило безудержное желание закурить. Пустырев заскучал, заерзал на месте и, еле дождавшись перерыва, отпросился покурить. После антракта он не объявился, но Ольга была даже рада, настолько его непонимание музыки мешало и раздражало ее. Когда, наконец, затихли голоса и покашливания, в воздухе повисла особая тишина, которая бывает в предчувствии встречи с чем-то значительным. Расселись на свои места струнные, скрипачки расправили складки на длинных юбках,

прочистили глотки кларнеты, приготовилась «тяжелая медь» — тубы и тромбоны, настроилась первая скрипка, развевая фалдами фрака, стремительно и легко пронесся к пульту дирижер. Встал, замер с палочкой в руке, повернулся в сторону, выходящей на сцену пианистки. «Юдина... Юдина...», — приглушенно пронеслось по рядам. Угловатая молодая женщина, одетая в черную бархатную хламиду, села за рояль. Ольга никогда не слышала ее исполнения и мало что знала о концертах Рахманинова. И вот это началось: взволнованное звучание рояля подхватили скрипки и кларнеты. Музыка редкой красоты вступила в свои права, вытеснив раздражение и досаду. Ольга не сводила глаз с рук пианистки: крепкие пальцы, цепкая быстрота левой руки, сильный мизинец. Virtuозная техника. Какая уверенность и в то же время задумчивость, одухотворенная проникновенность. Да-да! Само вдохновение. И оно несло в себе загадочную миссию, которую никогда не могла разгадать Ольга. Со всей беспощадностью она увидела, что никогда не могла так играть и уже никогда не сможет. Концерт пролетел на одном дыхании, за финальными аккордами последовали восхищенные овации. Исполнительница, за час перевернувшая жизнь Ольги, неуклюже поднялась из-за фортепьяно. Поклонилась. Села играть на бис. Поглощенная своим отчаянием, Ольга уже ничего не слышала. «Для меня все кончено. Кончено», — больше было нечего сказать себе, не о чем подумать. Поток возбужденных слушателей вынес ее из зала филармонии на Михайловскую улицу. Где же Пустырев? Да вот он. Машет ей возле припаркованного Паккарда, заискивающе заглядывает в глаза, не рассердилась ли на него? Почему такой несчастный вид?

— А я вышел покурить в антракте и наткнулся на Михеева, — тот уже выскочил из Паккарда и торопливо расшаркался. Его круглая, с ямкой на подбородке, физиономия приняла виноватое выражение, как только он увидел расстроенное лицо Ольги с опущенными уголками рта.

— Ольга Федоровна, велите меня казнить! Это я затащил вашего мужа покатать шары. Тут бильярдная неподалеку. Он все говорил, что вы его убьете после концерта.

— И вовсе нет, — Ольга уже справилась с обрушившимся на нее разочарованием, — лучше поехали к нам чай пить.

— А у нас есть кое-что и покрепче, — обрадованно засуетился вокруг авто Пустырев. — Ты садись рядом со мной, Олюша, а Михеев сзади — с Ириной.

Какая еще Ирина? Ах, да! На заднем сидении сидела дама в шляпке, уткнувшая носик в лисий мех, накинутый ей на плечи. Ирина так Ирина.

Прокатившись с ветерком по бывшему Невскому проспекту, они махнули на Петроградскую сторону. Буйство нэпа преобразило город. Петроград ожил, засверкал витринами, на улицах появились люди с отъевшимися лицами, разряженные черт знает во что. Из ресторанов неслось веселье, плясали под игривую, скачущую музыку, называемую джазом, выделявая ногами кренделя, немыслимые несколько лет назад.

Варенька обрадованно захлопала глазами, пропуская веселую компанию в прихожую. В гостиной зажгли люстру, подрагивавшую висюльками от возбужденного лая Карая. Засуетились. На тарелках появилась нарезанная кружочками колбаса и виноград. Никто не удивился такому странному сочетанию продуктов на обеденном столе. Пустырев с заговорщицким видом вынул из резного красного дерева буфета пузатую бутылку водки.

— Хочу шампанского, — капризно протянула Ирина, устроившаяся на кожаном диване. Она сняла чернобурку, передернула полными плечами, вылезшими из открытой кофточке. Шляпка осталась кокетливо свисать с ее покрытой кудельками головы.

— Сейчас сделаем.

Высокий и ладный Михеев одернул гимнастерку под ремнем и, скрипя начищенными сапогами, прошел к телефону. Говорил он недолго и отрывисто, уверенно назвав адрес квартиры. Михеев был тем человеком, по слову которого Пустыреву и Ольге в ЗАГСЕ выдали бумагу о регистрации брака, не спрашивая документов Безладновой. Особист Петроградского отдела ГПУ, он был старым фронтowym товарищем Пустырева. Ольга его боялась. Зная о пристальном интересе Михеева, она смотрела на него невинным, как бы непонимающим взглядом, пытаясь справиться со смутными дурными предчувствиями.

Не дожидаясь шампанского, выпили водки. Слегка захмелев, Ольга села за рояль. Пальцы легко и привычно пробежали по клавишам, как будто и не было перерыва в два года. Наиграла

«Мурку». «Это откуда же?» — Пустырев удивленно поднял брови. Пожала плечами, уверенно застучала мелодии, подхваченные на сеансах в синема. Стало весело. В дверь, наконец, позвонили. Невидимые люди доставили в корзине бутылки шампанского.

В потолок хлопнула пробка, пару раз рывкнул Карай. Пенящая струя наполнила подставленные бокалы.

— Шампанского таперу! — Ольга залпом выпила содержимое своего бокала — закинула голову, выгнув шею.

Ей вспомнился вальс Штрауса, тот самый, который она играла вернувшемуся с фронта Терновскому в Царском селе. Когда же это было? Давно. Михеев нашел на кухне прячущуюся Вареньку. Вытащил ее в гостиную, закружил прямо в переднике. Пустырев подхватил Ирину, неожиданно легкую и послушную в его руках. Потом танцевали танго. Когда Ольге надоело играть, сели расписать пулечку. Пустырев с нескрываемым восторгом смотрел на жену. Впервые он заметил в ней что-то вульгарное, темное, всегда влекущее его к женщинам. Михеев откровенно завидовал. Ирина злилась и нервно передергивала плечами в веснушках. Одна Варенька — простая душа — мыла посуду на кухне, почему-то сердясь на собаку, вытянувшуюся на полу у нее под ногами. Играли до рассвета. Когда бледное солнце — предвестник белых ночей — проступило на светлеющем небосводе, Михеев протрезвел и посерьезнел.

— Пора и честь знать, — он ткнул недокуренную папиросу в набитую окурками пепельницу. — Мне на Литейный к девяти утра. Ирина, собирайся. Сейчас придет машина.

Машина и вправду пришла. Уж такой он был важный человек, этот Михеев.

Пустырев с Караем пошли их провожать. Ольга, выбравшись из-за стола, сладко потянулась. С висящего на стене портрета на нее строго и осуждающе смотрели чужие мальчик с девочкой, чьих родителей, по всей видимости, уже не было в живых. Да были ли живы они сами?

В определенных кругах прошел слух, что у Пустыревых дома культурно и весело. Гости повалили в квартиру на Каменноостровском. Среди них были высокопоставленные чины, работники всевозможных ведомств, их жены и просто шикарные дамы. Подковообразный двор дома 73/75 оглашался грохотом «Харлеев»

и «Скотов», дамы предпочитали прибывать в ландо. В жаркую погоду ватагой ездили на острова. Возили с собой патефон и вино. Жарили шашлыки. Катались на лодках. Мужчины были не прочь погонять мяч. Дамы предпочитали волейбол. Ольга в широкополой шляпе от солнца садилась где-нибудь с вязаньем. Возле нее было уютно и спокойно. Довольно быстро она овладела лоцманским навыком умело отводить корабль групповой болтовни от глубоководных рифов опасных тем. Никто так и не знал о ее происхождении, чем она занималась до революции, откуда приехала в Петроград.

После смерти Ленина город сменил имя. Началась борьба за власть между своими. Из черной тарелки, висящей на Варенькиной кухне, неслись гневные обличения всевозможных уклонов с перебором имен, бывших на слуху лет десять. В гостиной ничего об этом не желали знать: играли в карты, танцевали под патефон, мешали водку с шампанским — словом, веселились, как могли, а когда все это надоедало, валили шумной толпой в кинотеатрик «Арс», расположенный в доме с двумя башнями на Архирейской площади.

Ольге пришлось опять наведаться в букинистический магазин на проспекте Двадцать пятого октября. На этот раз она спросила «что-нибудь типа “Очи черные”».

— Меняете репертуар? — поинтересовался Арсений Михайлович, не скрывая сарказма.

— Классика не занимает моих гостей, — равнодушно ответила Ольга.

Русские романсы в ее исполнении имели большой успех.

Карьера Пустырева стремительно пошла вверх. Сначала он возглавил все деревообрабатывающее производство города, потом получил кабинет на «Красном путиловце», а уже при Кирове перешел в Управление тяжелой промышленностью. Это все, что знала Ольга. Она больше интересовалась французскими журналами мод, чем должностями мужа. Десять лет жизни на Каменноостровском проспекте изменили ее. Дело даже было не в том, что она расплнела и состарилась. Нечто вульгарное, проступившее в ней после достопамятного концерта Юдиной, набрало силу и стало преобладать.

— Варька, тащи на стол! Вина — таперу! — разносился по квартире ее голос с легкой хрипотцой.

Варька таскала. Вина наливали. Ольга пела. Гости играли в карты, дымя папиросами. Утром, после их ухода, открывали балкон. Проспав полдня, Ольга выходила «подышать воздухом» в соседский Лопухинский садик, где, усевшись на скамейку, с тупым безразличием следила за размеренными движениями гребцов, гонявших лодки по Малой Невке. Рядом с ней, развалившись в тени, дремал состарившийся Карай. Жизнь продолжалась.

Никто не знал, какой оборот она примет, и довольно скоро.

Глава 10

«Жируют, — негодовала Надька. — Можно подумать, революцию совершали для вот этих рож!». Ее раздражали торчащие на каждом углу пивные, закусовые, рестораны, чайные и черт знает какие еще питейные заведения. «Это что такое? — фыркала она на очередную вывеску. — “Ресторан-шантан”! Ха! Держите меня! Шантаны они развели. А это? “Хромой Джо”. Почему хромой-то? И какой еще, к черту, Джо?» Нет, нэп ей был не по душе. С другой стороны, она как бы и понимала его необходимость. «Хватит душить крестьянство!» — кричала на всех партийных собраниях. Правда, партию сменила после разгона левых эсеров. По Москве шли аресты. Спиридонову посадили, но через год амнистировали. Других товарищей тоже освободили довольно быстро. От ареста ее спас Гришковец, но оставаться в столице дольше не имело смысла: работы не было, партийной кассы — тоже, но было разочарование, разъедающее ее неугомонную душу. Нет, в партии нерешительных действий она оставаться не хотела. Что это за восстание, если его руководители сидят взаперти и не пытаются прорваться к сражающимся товарищам? Подумала-подумала, и на собранные кое-как деньги уехала в Питер. Уже там нашла старых знакомых и работу на курсах политграмоты. Стучать-то на машинке она научилась довольно проворно и где-то через полгода подала заявление на прием в РКПб. Ее приняли, но только после публичного признания ошибок. Было ли это признание искренним? Да. Какой теперь толк в терроре? Мирбаха грохнули, а Брестский мир все равно не расторгли. И революция

произошла в Германии точно, как предсказывал Ленин. Начать палить в большевиков? Но к этому времени у нее уже не оставалось сомнений в правильности большевистской программы. Лишения первых послереволюционных лет даже красили ее горбоносое худое лицо, придавая ему какое-то одухотворенное выражение. Но ценителей этой красоты так и не нашлось. Надька была безнадежно одинока. Поскитавшись по съемным каморкам, она получила, наконец, комнату в коммуналке на Сенной площади.

Когда-то это была просторная квартира на одну семью, состоящая из четырех больших комнат, кухни и множества кладовочек с длинными узкими оконцами, выходящими во двор. Бог знает что стало с прежними обитателями: их судьба не интересовала жильцов, въехавших в клетушки, на которые фанерными перегородками поделили комнаты. На кухне выстроилась дюжина керосинок, а то, чем забили кладовки, описанию не поддавалось.

С небольшим чемоданчиком в руке Надька простучала каблуками к своей двери, повернула ключ в замке, увидела лампочку на длинном шнуре, половину окна с грязными стеклами, пол с выбитыми паркетинами и почувствовала себя счастливой. Домоуправ по дешевке устроил ей железную кровать, остальное — самое необходимое — набралось само собой. На гвоздях, кое-как вбитых в фанерную стенку, повисли плечики с парой платьев, подоконник украсила герань в горшке, подобранном во дворе. Железная банка из-под кильки обратилась в пепельницу. Перевернутые ящики стали столом. Соседи сразу признали в Надьке свою. Было в этой некрасивой и нелепой на вид женщине что-то всегда располагающее. Кто-то отдал ей табуретку и разрешил кипятить чай на керосинке с уговором расплачиваться керосином. При всей нелюбви Надьки к нэпу, именно в те годы ее комната обрела более или менее ухоженный вид, пусть и с заваливающей, но все же, мебелью. В первый же отпуск, полученный на курсах политграмотности, она отправилась на родину. Екатерининскую улицу нашла сразу, а вот дом найти не смогла. Расспросив старожилов, узнала про пожар.

— А сестра?

— Вроде уехала на подводе.

— Куда?

— Так кто ж його знае.

Ольгин след потерялся еще раньше. После таких печальных новостей ей оставалось только отыскать родительские могилки, заросшие травой на старом кладбище, и уже навсегда уехать из родного города. Но все же где-то в душе у нее схоронилась надежда на то, что сестры живы и вынырнут когда-нибудь из неизвестности. Не случайно же маменька назвала ее таким именем.

Вернувшись в Питер, Надька окунулась в суматошную жизнь, то отстукивая доклады политпросветителей на машинке, то таская бревна на субботниках, то бегая на репетиции каких-то массовых театральных представлений. Еще она помогала отлавливать беспризорников, пела в хоре и ликвидировала безграмотность. И все это — лишь бы не останавливаться. Остановка казалась ей смертью. А так мчишься вперед и вперед, без единой мысли, только с горячей в голове идеей построения нового и прекрасного общества для измученных и многострадальных.

Меж тем город и вправду потихоньку отстраивался. Кому-то даже выпадало счастье переселиться в новые дома. Так вместо шумного семейства, съехавшего на Лиговку, в комнате за фанерной стенкой появилась девица Ирина Бурякова. Надька аж присвистнула, когда увидела свою новую соседку в кокетливых босоножках, обутой на белые носочки, и в крепдешиновом платье, облегающем полненькую фигуру. Ей самой были непонятны чувства, вызванные этим явлением: то ли восхищение, то ли возмущение. Соседка приветливо улыбнулась, обнажив мелкие зубки, и протянула ладошку для знакомства. Они подружились. Странные это были подружки. Бурякова служила в каком-то тресте, название которого тут же вылетело из Надькиной головы, забитой обрывками цитат из классиков, строками революционных поэтов и репертуарами народных хоров.

И все же с каким-то не свойственным ей ранее вниманием, она слушала рассуждения новой подружки о том, как важно современной женщине «хорошо выглядеть» и «следить за собой». Ноготки Ирины всегда были покрыты красным лаком, губы «сердечком» накрашены помадой, подобранной в тон лаку, а свежескрученные кудельки кокетливо развевались над невысоким лбом. Имелся у нее и таинственный ухажер, обладавший каким-то влиянием. Во всяком случае, жильцы коммуналки ему были обязаны появившимся в коридоре телефоном. Под влиянием Бу-

ряковой Надьке снова захотелось «хорошо выглядеть». Она стала заходить время от времени в парикмахерскую и прикупила парочку юбок в складку с модными названиями «плиссе» и «гофре».

Ухажер обычно звонил по субботним вечерам. Пощebetав несколько минут по телефону, Бурякова забежала в комнату, чтобы добавить последний штрих к своей неотразимой внешности, потом кружилась в коридоре перед пыльным зеркалом и исчезала за тяжелой входной дверью. Возвращалась она на следующий день в слегка помятом виде.

— Опять дулись в карты, — сообщала она Надьке, — было весело и шикарно.

Та с удивлением пожимала плечами. Что может быть веселого в таком времяпровождении? То ли дело посадка кустов на Марсовом поле или хоровое пение революционных песен!

Одним субботним вечером, торопясь на «Поэму о топоре», привезенную московским театром, Надька выскочила из подъезда вслед за своей соседкой. Та села в поджидавшую ее легковушку. Человек, открывший Буряковой дверцу машины, бегло, но внимательно осмотрел, стремительно удаляющуюся Надьку.

— Так это и есть твоя соседка?

— Ну да. Надька Безладнова. Идейная до жути, скучная Баба Яга, — рассмеялась Ирина.

К ее удивлению, Михеев вспомнил о Надьке довольно скоро.

— А давай возьмем ее как-нибудь с собой к Пустыревым, — предложил он.

— А что ей там делать-то? — удивилась Ирина.

Впрочем, перечить Михееву было бесполезно. Все равно всегда выходило так, как хотел он. Поэтому получившая приглашение Надька, в своей новой гофрированной юбке и блузке, данной «на понос» Буряковой, очутилась рядом с ней на заднем сидении михеевского авто, покотившего на Петроградскую сторону.

Что я знаю об этой встрече? Ничего. Я даже не знаю, произошла ли она на самом деле. Хотя нет, все-таки, произошла. В доставшемся мне альбоме старых фотографий в придачу к детским воспоминаниям о том доме возле Лопухинки, появляется снимок раскормленной таксы на коленях взлохмаченной и горбоносой женщины. Неизвестный фотограф ухватил угол парного портрета мальчика и девочки, висевшего в гостиной Пустыре-

вых. Фотография могла быть сделана только до войны, потому что Надька сгинула в годы большого террора. Откуда взялась эта такса и куда она делась потом, мне неизвестно.

Почему-то я думаю, что этой встрече сестры были обязаны Михееву. Мне легко представить их удивление и радость. Я словно вижу осторожный, испытующий взгляд Ольги, вижу ответную широкую улыбку Михеева (так было принято улыбаться в то время — мол, мне-то скрывать нечего!) с затаенной усмешкой в глазах: «Ты хотела что-то утаить от меня, голубушка? Так я про вас все знаю». Ну что ж, если Михеев и знал все о сестрах Безладновых, то они не знали о нем почти ничего. Несколько лет он привозил «на субботний сабантуй» расфуфыренную Ирину, которую Ольга переносила с трудом.

— А что он на ней не женится-то? — злым голосом спрашивала она Пустырева.

— Ну-у-у, может, ему не подходит ее происхождение, — пожимал плечами тот.

— Тебе мое происхождение подошло, а ему не подходит происхождение этой... женщины. Зачем тогда таскать ее везде за собой?

— Не везде, на футбол он ее не берет. Ты вот тоже со мной на стадион не ездишь.

— С тобой Надька ездит, хватит с тебя.

Переехавшая к ним Надька словно торопилась прожить оставшиеся ей годы. Ольге, скучающей целыми днями, было непонятно постоянное отсутствие сестры. «Где ее носит?» — с тревогой думала она. Дверь в полупустую Надькину комнату не закрывалась. Ольга заходила туда время от времени, пытаясь найти хоть какие-нибудь приметы их давно ушедшей жизни в Екатеринодаре. Ничего не находилось. Она печально удалялась, жестом поощрения и нежности похлопывая по большой голове следовавшего за ней Карая-второго. Большие собаки долго не живут. Пустырев любил тибетских овчарок и после смерти Карая-первого купил щенка той же породы, к которому Ольга сразу привязалась. Пес вымахал злобным, но преданным и следовал за ней повсюду.

Что-то стало происходить с Варенькой, «верной Санчо Пансой», как называл ее Пустырев. Она потеряла интерес к людям,

приходящим в гости, хотя раньше охотно принимала участие во всеобщем веселье. Заметив заплаканные глаза старой подруги, Ольга немедленно приступила к расспросам. Варенька раскрылась тут же, словно давно ожидая этого разговора.

— Беременна. Уже восемь недель.

— Да от кого же? — подняла в недоумении брови Ольга. — И когда успела?

— От особиста вашего, Михеева. А успеть-то дело нехитрое, да мы с ним давно уже милуемся.

— А жениться он собирается? Все-таки его ребенок...

— Как же! Даже и не думает. Я же из буржуев, у папаши магазинчик был, да сплыл давно. Да и годочки мои уже не те. Не девка на выданье.

— Ну, знаешь, при его службе, одно письмо начальству...

— И думать не смей! Он мне давно говорил, что вы, Безладновы, из белоказаков, а с казаками сейчас сама знаешь, как управляются. Так что тихо сиди, а то еще и Терновского припомнят!

Ольга прикусила губу.

— Ну, как-нибудь вырастим и без отца. У нас не пропадет. Вот Пустырев-то обрадуется.

Пустыреву и вправду хотелось иметь детей. Зная о бесплодности жены, он завел было разговор об усыновлении «какого-нибудь пацана», но осекся, увидев полное безразличие в глазах Ольги. Его решили не радовать, пока беременность не станет явной, зато Надьке шепнули в тот же день. Надька сморщила лицо, но быстро справилась.

— Ладно, девки... Может, сбегает поглядеть на графский дирижабль, пока он висит над Летним садом?

На этот раз никуда бежать не пришлось. «Граф Цепелин» уже плыл по небу Петроградской стороны, посверкивая боками на неярком северном солнце и демонстрируя победу человеческой мысли над земным притяжением.

Здрав голову, Надька во все глаза глядела на гигантский эллипсоид. К ее досаде, Ольга равнодушно взирала на проплывающего «Графа».

— Говорят, дирижабли эти горят, как спичечные коробки, — сказала она, позевывая и ежась от ветра.

— Вот какая ты, Оля, все-таки! Ну, ничто не приводит тебя в восхищение! — Надька была готова навалиться на сестру с гневной обвинительной речью, но вовремя подкативший Пустырев, прокричал с улицы, что они все едут в Крым и собираться туда надо срочно: в управлении ему дали горящую путевку в дом отдыха. Работа на курсах политпросвещения замирала летом, и Надьке разрешили взять отпуск за свой счет. Пустырев с сестрами уехали, оставив квартиру и собаку на попечение Вареньки. А когда через месяц они вернулись, о ребенке уже не было и речи. «Может, это и к лучшему», — вздохнула Ольга. Между тем, время, когда бездетность и вправду могла быть только «к лучшему», наступало.

Оно настало ровно за месяц до Нового года. На улицах подмораживало. Из Грузии пришел товарный состав с мандаринами для детских новогодних подарков. В Лопухинском садике уже поставили деревянную горку, но еще не залили водой, ожидая снега. Этот субботний вечер у Пустыревых ничем не отличался от всех других. Изрядно выпив, гости сели за преферанс. Ольга перебирала клавиши на рояле: «Я ехала домой. Я думала о вас». Треньканье романса заглушала торжественная музыка, доносившаяся из кабинета Пустырева, где никогда не замолкало радио. Лениво поднявшись, Ольга прикрыла дверь в гостиную: «Хорошо бы выпить снотворного. И провалиться, провалиться». Вернулась к роялю. «Душа была полна...»

— Кирова убили! — влетела Варенька в гостиную. — Только что передали по радио.

Тишина вытеснила воздух из комнаты. Стало нечем дышать. Облако тяжелых предчувствий смешалось с табачным дымом. С какой-то дамой случился обморок. Ей дали воды, все выпили водки и тихо разошлись, забыв договориться о следующей встрече. Пустырев остался одиноко сидеть за столом и пил одну рюмку водки за другой.

— Антон! Тебе станет плохо, — попыталась остановить его Ольга.

— Молчи! Ты не понимаешь, что это убийство значит. Они посягнули на Кирова! — у него сорвался голос.

— Да кто они?

— Зиновьев и все троцкистское отродье!
— Зачем же им было убивать Кирова?
— Это месть. Месть за то, что он любим народом.
Ольга пожалала плечами. Откуда ей знать, кто убил Кирова.
— Николаев! Николаев убил. Его уже арестовали, — крикнула с кухни Варенька.

— Ну вот, видишь, сейчас они во всем разберутся, — Ольга помогла мужу подняться, повела его в спальню и уложила. Тот мгновенно уснул тяжелым хмельным сном.

«Где черти носят Надьку?» — беспокойство мешало заснуть Ольге. Снотворное не помогало.

Надьке, оставшейся ночевать у Буряковой, тоже не спалось. «Неужели эсеры? — снова и снова спрашивала она себя. — Кто этот Николаев? Откуда он взялся? Кому понадобилась эта смерть? Может, что-то личное?» Про Миرونчика ходили всякие слухи, но он был любим в городе. Любила его и Надька — за открытую улыбку и преданность революционным идеалам. «Почему так тяжело на душе? — пыталась она сама себя. — Тут кроется что-то еще. Что?» И она со всей ясностью поняла, что это было такое: страшные заголовки газет. Какие-то бесконечные уклоны от генеральной линии партии. Хорошо, полемика в партии неизбежна, но почему надо так шельмовать своих же товарищей? И это про большевиков, совершивших революцию. Все из ближайшего окружения Ленина, между прочим. Она никогда не любила Троцкого, но знала, что без него большевики не победили бы. А Зиновьев? Он не так уж и плохо поработал в Ленинграде, занимал высокие посты. Почему вдруг превратился во врага? Что тогда говорить о ней, бывшей эсерке? Проворочавшись до утра, она не сомкнула глаз. Вот уже, слава богу, шесть часов. Заговорило радио с последними известиями, проснулась недовольная Ирина: «Хоть в воскресенье дай поспать!» Надька сделала потише, но тут же за фанерной стенкой соседи включили на всю громкость свою тарелку. Убийца Николаев проник в Смольный. Надька вспомнила, как тащила пулемет по коридорам этого здания. Когда же это было? Семнадцать лет назад. Сейчас так просто туда не пройти. Как же он-то туда попал? Неужели сговор? От этих мыслей не лежалось. Она вдруг вспомнила про сестру. Позвонить? Ну чего звонить, вдруг они там все спят. Надька засобиралась к своим на Каменноостровский.

В раннее воскресное утро трамваи ходили редко. Она продрогла, стоя на остановке. Где-то через час, когда уже совсем рассвело, подошли еще какие-то люди. Лица угрюмые. Поделались новостями. Собственно, новостей со вчерашнего дня никаких не было, но всем хотелось говорить друг другу то, что все уже и так знали, словно в самом говорении было, если не объяснение того, что произошло, то хотя бы избавление от охватившего всех волнения. На какой-то момент душа как бы вырвалась из скованного страхом тела Надьки, и она увидела себя, этих людей со стороны и как бы в отдалении. Но привычное позвякивание пришедшего наконец трамвая, вернуло вырвавшуюся душу обратно. Люди замолчали, торопливо набиваясь в холодные вагоны.

В квартире на Каменноостровском было тихо. Карай-второй тихо встретил Надьку, потыкался в нее мордой и величественно удалился в спальню Пустыревых охранять покой хозяев. Уставшая от волнений бессонной ночи, Надька, наконец, уснула. Бог знает сколько проспав, прошлепала на кухню, откуда услышала приглушенные голоса супругов:

— Да из нее же эсеровщина так и прет...

— Эсеровщина? Из Надьки? Да она уже сто раз покаялась и порвала с ними. О чем ты говоришь?

Голос зятя громче:

— И замашки у нее троцкистские. Ты не слышишь, что она несет, когда у нас гости, а я вижу, как Михеев на ус мотает.

— Так и ты дружил с Троцким. Забыл? И жена у тебя белогвардейка. Ты что, не знал на ком женился? А Михеев твой — человек непорядочный...

Надька тут же побросала свои юбки в потрепанный чемодан и, тихонько прикрыв дверь, уехала обратно на Сенную. Уже там она услышала новость, несущуюся из всех радиоточек: в Ленинград приехал Сталин. На кухне Бурякова жарила картошку на подсолнечном масле. Картошка потрескивала под крышкой. Наманикюренными пальчиками Бурякова поправляла халатик, расстегнутый на груди, бигуди пупырышками выпирали из-под косыночки, кокетливо обвязанной вокруг ее головы.

— Сейчас картошечки поедим. А что ты так быстро вернулась? Родственники выгнали?

Надька обрадовалась. Ей было спокойнее дома. И что она так волнуется? Вон, ее соседку ничто не берет. Картошечка была пожарена с корочкой на масле, отоваренном по новогодним карточкам. Еще и водочка нашлась. Выпили. Хорошо, что Сталин приехал: он разберется.

Сталин разобрался. Безладнову забрали в середине января следующего года. В промозглом воронке ее привезли на то место, где семнадцать лет назад она стояла в оцепенении, наблюдая за пламенем, пожирившим здание Окружного суда. Тогда ветер нес гарь и пепел по Литейному проспекту. Сейчас там, где замкнулся круг ее жизни, несколько снежинок успели сесть на воротник ее зимнего пальто, когда один конвоир вытолкнул ее из воронки, а второй открыл дверь приемника на Шпалерной.

Надька знала, что большевики припомнят ей эсеровское прошлое. Но обвинения в участии в антисоветской троцкистской организации с целью развязывания террористической борьбы против руководителей партии и правительства были клеветой, поклепом, оговором. Какими-то странными нитями судьба связала Троцкого с ее жизнью. Он появлялся и исчезал, а когда ей показалось, что он исчез навсегда, появился снова, но теперь уже только как имя на канцелярском листе бумаги.

— Ни за что не подпишу, — заявила она следователю, решительно поджав губы. — Я никогда не разделяла взглядов Троцкого, и называть меня троцкистской просто не верно. От методов террора отказалась, ошибки эсеров признала.

— Не подпишите? Ладно. А вот прочтите-ка это...

Заплывшие глазки буравили Надькино лицо. Две мясистые руки разложили перед ней не столе какие-то листки, исписанные крупным почерком.

Ирина Ивановна Бурякова сообщала о желании и готовности Надежды Федоровны Безладновой убить Климента Ефремовича Ворошилова и других членов правительства с перечислением дат, указанием мест и подробным описанием разговоров.

— Бурякова лжет. У нее какой-то личный интерес. Возможно, моя жилплощадь.

— Вы читайте дальше, Безладнова! Там ведь не только гражданка Бурякова разоблачает вашу террористическую деятельность.

Дальше — показания Михеева: хотела убить Кирова в сговоре с Ольгой и Антоном Пустыревыми. Листок бумаги улетел куда-то со стола. Это у Надьки затряслись руки.

— Ни в каких сговорах ни с кем участия не принимала.

— Не принимала, говоришь? — следовательно, не торопясь, подошел и, подойдя к сидящей Надьке, наотмашь ударил ее по лицу.

Надька упала. Очнулась она уже в камере.

Ей помогли обмыть лицо и нашли место на нарах. Поговорили вполголоса и затихли. В наступившей тишине лязгнула заслонка волчка. От потолка оторвалась тусклая лампочка и поплыла. Лицо Симона склонилось над нарами.

— *Как давно ты не приходил. Я уже и не верила, что придешь опять.*

— *Это в последний раз, Надя. Пришел посмотреть на тебя.*

— *И что? Страшная? Избитая?*

— *Ты для меня всегда была красивой и всегда будешь.*

— *Значит, и в гробу буду лежать красивая.*

— *Что ты, милая, гроба у тебя не будет. Ты, главное, не бойся. Я с тобой.*

— *Не могу сказать, что мне так уж страшно. Мне тошно, Симончик, тошно от того, что я так часто ошибалась в жизни. Не понимала ничего, все неслась куда-то. Лишь бы не остановиться, не задуматься. Дурища-то, вот дурища. Ты вспомни, как мы хотели революцию, как боролись. Всю жизнь боролись. Победили. И что? Что происходит? Следовательно избил меня за то, что я не подписала клевету и не оговорила близких мне людей. Я не вижу в этой камере ни одного настоящего заговорщика. Почему они их не ищут? Ведь Кирова же убили.*

Горькие слезы потекли по Надькиному избитому лицу.

— *Я вполне допускаю, что их нет, Наденька.*

— *Узнаю твое «я вполне допускаю», — Надька уже улыбается разбитым ртом. — Ты тоже сгинул ни за что ни про что, непонятно где. Даже не знаю, где твоя могила.*

— *Да нету могилы, милая. Не надо нам могил. Мы с тобой скоро навсегда вместе будем. Уже совсем скоро.*

Симон исчез. Надька провалилась в страшный глубокий колодец, называемый сном.

Мне тяжело описывать тюремные будни: в конце концов, что я о них знаю? Я смутно помнила рассказы о Надьке и, пытаясь соединить «разрозненные звенья», придумала этот характер с его жертвенной готовностью умереть за идеалы, навеянное сжигающим чувством социальной несправедливости. Понимала ли она, в какую бездну завело ее это чувство? Думаю, нет. А если бы даже и понимала, что бы это изменило?

Мне хочется, чтобы в оставшиеся дни жизни в темной камере с вонючей парашей у двери, ей привиделся бы весенний разлив Кубани, тополиный пух, налетевший в открытое окно ее комнатки, недовязанный чулок на коленях задремавшей нянюшки, выбившаяся прядь волос из всегда аккуратно затянутого узла маменькиных волос. Пусть она вспомнит Еременко, певшего в далекое прекрасное время песню, от которой перехватит дыхание в ее горле и прольются по щекам слезы. Пусть появится дождливая осень в Париже, задумчивое лицо Симона, уснувший ребенок на ее руках. Пусть эти воспоминания наполнят ее душу сладостным покоем, дадут силы приготовиться к смерти. Потому что на втором и последнем допросе ее снова будет бить следователь с мясистыми руками, она снова ничего не подпишет, и тогда дело ее закроют, торопясь выполнить квоты, спущенные партийными душегубами. И уже на следующий день, избитую, еле стоящую на ногах, осудят, чтобы тут же торопливо и буднично привести приговор в исполнение в подвале дома, недалеко от которого происходило так много событий ее недолгой и Бог знает кому нужной жизни.

Глава 11

Если уж на то пошло, то возвращение Ивана в родные места никого не удивило. Куда же еще податься после войны, как не домой. Скорее, удивителен был его обоз с двумя женщинами и тремя детьми. В той, которая постарше, все распознали городскую, хотя она была и бедно одета, другая казалась попроще, но тоже не из здешних. Сам Иван возмужал и на послевоенном малолюдье казался таким красавцем, что у соседки Нюрки, глядя на него, зашло сердце.

За два года заброшенный двор Колесниченко зарос крапивой, крыша сарая обвалилась, плетень и вовсе упал по неразга-

данной Иваном причине, но дом, построенный еще молодым дедуней, стоял. Правда, стал казаться меньше размером: то ли ссохся и обветшал, то ли это Иван вымахал сам.

Разгрузив нехитрый скарб, все принялись хлопотать — вернее, хлопотала та, что помоложе. К ней и подкатила Нюрка с расспросами, что да как. Много разузнать ей не пришлось, но продавать детишкам молоко она тут же согласилась. Практичная Евдокия напросилась посмотреть курятник и прочие постройки соседского хозяйства.

Нюрка повела ее на свой двор, с любопытством обшарив глазами другую женщину, безучастно сидящую на ступеньке крыльца.

— Это шо ж за краля такая у вас? — не удержалась она от вопроса, как только завернула к своей калитке.

— Так це жинка Ивана Андриевича.

— Венчанная?

— А то як же? У них и бумаха з печаткой е.

Разочарование так поразило Нюрку, что она позабыла спросить Евдокию, кем же та приходится Ивану и чьи дети бегают по двору. Зато хитрющая Евдокия прикупила у соседки пару курей с правом общего пользования петухом и обещанием пошить обновы, как только справит в городе машинку.

Оказалось, что для налаживания жизни недостаточно выкопать крапиву со двора и починить сарай. Пришлось Ивану запрягать мерина и ехать шестнадцать верст по колдобинам, чтобы встать на учет в военный комиссариат. Всего три года прошло (а может, и того меньше), как отшагал он по этой же дороге в станцию — узнать, что за новая власть там установилась. Вроде и недавно совсем, а как будто в другой жизни, вспоминать которую ему было некогда, да и не хотелось. И все же встал в его памяти сухощавый Мартынов с желваками на скулах и прищуренным недоверчивым взглядом. Вспомнилась затерявшаяся бумага, выданная «Ивану Колесниченко члену батрацкого комитета». Где эта бумага? Где сестра Маня? Вся прошлая жизнь исчезла после той страшной ночи, когда продотряд добрался до их хутора.

Поотбирали да позапугивали — ну и «расплатилися». Свое кто ж вот так задаром отдаст? Так и он попал в жернова. Ведь еле ноги унес! Теперь-то что: вернулся с войны победителем, но

нет-нет да и чувствовал на себе косые взгляды. Помнили хуторяне карателей, хотя и знали, что не Ванька их привел. И все бы ничего, кабы не любовь эта странная и сильная, обрушившаяся на него неожиданно-негаданно. С Еленой трудно. Простое сердце: он был рад тому, что спас детишек, к которым уже привязался, и этих двух женщин, но разве могла Леночка-Леля полюбить его так, как полюбил ее он? Неприступная. Благодарная — это конечно. А куда деваться залетевшей в клетку жар-птице? Стерпится-слюбится. Нет, не такой любви он хотел. Вот Нюрка до сих пор сохнет по нему, а не нужна. Что ж, он будет ждать, пока жизни хватит.

В станице Колесниченко без труда нашел центральную избу, где обосновалось все начальство округа. Иногородних теперь жаловали, на них опиралась Советская власть. После кровопролитий казаки смирились и притихли. Жизнь продолжалась. Ивану хотелось добраться до своей земли, вспахать ее, засеять, сделать все, что делали его отец, дедуня, что делал он сам еще совсем мальцом, помогая им.

Начальство ему обрадовалось.

— Партийный?

— А то как же!

— Ну, в нашем полку прибыло. На собрания ячейки ждем. Политику партии на хуторе проводить будешь.

«Куды мне политику партии проводить с таким обозом», — подумал, но не сказал Иван, потому как происхождение своей жены и двух детишек скрывал, как мог, а дело это было серьезное, и из партии, в случае обнаружения, вылететь мог только так. Да разве только из партии? Как бы бежать не пришлось. И все ж надежда была: вдруг пронесет нелегкая, проживут пока тут, а там и видно будет. Ему дали какие-то бумаги, семян на огород, обещали намерить земли под пашню. Распрощались по-товарищески с пожеланиями скорейшего устройства в родных местах. Про Елену и всех других, естественно, молчок. «Жена и ейная сестра с приплодом». Вот и все семейство, которое ему полагалось кормить и содержать. Так оно и стало.

Не каждый год жизни человека достоин описания. Да и как описать эти ранние пробуждения, когда звезды только начинают

бледнеть на высоком небосводе, запах скошенных трав, принесенный ветром с полей, мычание коровы, поворот ее рогатой головы, нетерпеливое переступание конских копыт в загоне, звук шлепающегося в колодец ведра, поскрипывание ворота, первое пение петуха, позвякивание ручкомойника? Как описать растопку деревенской печки, языки пламени за железной дверцей, дрожание теплого воздуха над кирпичной трубой? Как найти слова для всей этой симфонии запахов и звуков, наполняющих простую и непрехотливую жизнь человека, не желающего знать о предстоящей ему смерти?

Постепенно хозяйство Ивана Колесниченко оправилося и стало выглядеть так же, как и все другие хозяйства в округе. Тут пришло время Евдокии. Молодые годы ее были на исходе, и она решила перейти жить к сватавшемуся к ней Николаю Коржаку. Елена поплакала, но перечить не решилась, хотя Николай казался ей человеком озлобленным и пьющим, зато он взял Дуську вместе с Федькой, которого вся деревня считала нагулянным, непонятно только, которой из женщин, и неизвестно, от кого. Эта неизвестность не давала покоя Нюрке. Что только она ни делала, чтоб разузнать хоть самую малость об их жизни: заманивала к себе долговязую и худую Тамарку, насыпала ей семечек в кулек, давала погрызть отколотый от головки сахара кусочек, обещала гостинцев, если та будет к ней заходить на чай с баранкой, но Тамарка молчала, сжав в гузку маленький ротик. Федька и вовсе дичился, а с малого что взять: он только и мог, что говорить «мама» да «Ваня».

Сохранившееся семейное предание гласит, что после ухода Евдокии Елена так и не научилась вести деревенское хозяйство. Вся его тяжесть легла на сильные плечи Ивана. Натаскав воды и растопив печь, он запирался в избе, чтобы тайно стирать там белье, включая детские и женские подштанники, что на хуторе считалось особенно позорным для отца семейства. Леля, как теперь все звали Елену, пристрастившись к курению и чтению, крутила заправские самокрутки и перечитала все книги в сельской библиотеке. Кажется, ни на что другое она не была способна. Начальство, прознавшее о таком неумеренной страсти к чтению, назначило ее на пост ликвидатора безграмотности в округе. Этим она и занималась, таская за собой подростную Тамарку и малолетнего Котика.

Первые пять лет прошли вполне безмятежно. Деревенские будни бедны на радости, но приезд Мани стал для семейства Колесниченко настоящим праздником. Какое это было счастье, что она надумала искать брата в родных краях. По непонятной причине Маня осталась в девках — зато добравшись до Харькова, окончила там школу Красных адвокатов и получила работу в Окружном суде. Станный это был выбор для деревенской девушки, но в ту пору уже ничто никого не удивляло. Крепенькая, простолицая и скорее некрасивая, она сразу распознала в красавице Леле «чуждый элемент», но элемент приветливый и любящий ее брата, а что еще нужно сестре? Приглянулись ей и ребятишки. Узнав же историю Федьки, она вдруг задумалась и стала ходить к Коржакам о чем-то шептаться с Евдокией. Секретные переговоры обнародовали перед ее отъездом: Маня забирала мальчика в Харьков. Там же она его и усыновила с согласия всего семейства, решившего, что для казацкой сироты так будет лучше. Федор Колесниченко погиб в первые дни большой войны, не оставив ни одной фотографии в альбоме моей памяти. Не так уж много досталось мне и от Мани: всего один снимок грузной старухи с опухшими ногами, сидящей на скамейке в каком-то парке. Как пережила она те самые жуткие годы в такой близости от горя и несправедливости? Удалось ли адвокату Марии Андреевне Колесниченко спасти хоть одну душу? Рассказать об этом уже некому.

— Ваня! — простоволосая Нюрка (платок сполз на плечи, лицо заплаканное и страшное) упала на колени перед Иваном, обхватила его ноги. — Уж ты прости! Меня бес попутал. Совсем ополоумела я, как барынька твоя эта родила от тебя. Такой огонь внутри горел, терпелю не было!

— Чиво? Ты чиво это, Нюрка? — Иван попытался освободиться из цепких рук. — Встань! Совсем рехнулась баба.

— Донесла я на тебя, Ваня! Вот тока со станицы возвратилась. На жинку твою белогвардейку и на щенков ейных.

— Куды донесла-то, курва?

— Дык в ячейку вашу, обещали сигнал дальше передать. Почему я знаю куды? Руку жали, благодарили.

Ваньке удалось наконец вырваться из Нюркиных клещей. Что было силы он оттолкнул ее от себя, она упала и осталась лежать на траве под плетнем.

«Вот паскуда! — стучало в его голове. — Што делать-то? Куда бы бечь?» Ноги понесли его не домой, а к Кожуху, знающему секреты его семьи.

Евдокия убирала со стола (семейство только-только отужинало), повернулась к нему с тарелкой в руках, улыбнулась.

— Садись з нами, гостьем будешь, Иван Андриевич! — но, увидев лицо гостя, враз насторожилась. — Що трапилось?

— Нюрка, паскуда, донесла на Елену да на детей ейных.

— Так звидкы вона дизналася?

— Да почем я знаю, Дуся? Бежать надо. А куды?

— Куды-куды... — поднялся из-за стола Николай. — На кудыкину гору. А ну пошли, поговорим!

Мужики вышли во двор. Там уже стемнело. Луна проглядывала из-за облаков, высыпали первые звезды. В воздухе был разлит покой и тишина, изредка прерываемая деревенскими звуками: то собака сбрехнет на случайного прохожего, то звякнет ручка ведра, снятого с коромысла, то донесется издали чей-то голос. Потолковали. Утра решили не дожидаться, а собираться в дорогу прямо сейчас. Хозяйство оставалось на Кожухов. Евдокия вытащила заначку, спрятанную в пустой кринке, накидала в чистый платок напеченных к завтраку лепешек, навалила луковиц с помидорами, завязала узелком. Не забыла и про соль. Побежала к Колесниченкам поднимать детей. Леля подскочила: «Дусь, не поверишь, все эти годы ждала, когда кто-нибудь прознает про нас!»

— Збирай дите!

Сонных Тамарку с Котиком вынесли и уложили на телегу во дворе. Иван уже запряг мерина. Новорожденную Нинку Леля не выпускала из рук. Собрались быстро, за час с небольшим. Да и что собирать? Побросали все. Знали, что уже не вернуться. Много ли станичников вернулось из мест, куда их отправляли? Ни одного. Пропадай всё. Дык куда бежать-то? Куды-куды? В Оренбург. Там у Кольки Кожуха подельник живет. Человек надежный.

Глава 12

Я помню это неказистое строение, даже помню название улицы: Кичигина. Одноэтажный дом с низкими окнами, которые никогда не открывались. Между рамами проложена вата, обыс-

панная колотыми новогодними игрушками. На подоконниках горшки с геранью. Герань красная или бледно розовая. Тюлевые занавески. Надоедливые мухи, жара и суховеи летом. Пыльная листва на чахлых деревьях. Подсолнухи со свисающими головами в палисадниках. Спящие в тени под заборами ленивые собаки с клочкастой шерстью. Зимой затяжные морозы с буранами и обильным снегом, скрипящим под ногами. Все это — Оренбург.

Подельник Кожуха занимался извозом — занятием, разрешенным властями за неимением никакого другого транспорта в городе. Я не знаю, как удалось поселиться в этом доме беглой семье. Знаю только, что во дворе была большая конюшня. Там же водопроводная колонка. Помню запах лошадей и навоза. Помню потертую клеенку на кухонном столе и обыкновенную печку, которую топили дровами. Убогий быт, но так было у всех. Мне кажется, первые годы, прожитые в этом доме, были счастливыми.

По сохранившемуся семейному преданию, отец обожал Нинку. Она походила сразу и на него, и на мать. Только странно, что ей не передалась голубоглазость обоих. Ее глаза были светло карие. «В заезжего молодца», — шутила Леля. Иван Андреевич посмеивался, зная, что молодцов таких не было и быть не могло. Курносый Нинкин носик был остренький и аккуратный. Скулы высокие. А ручки маленькие с тоненькими пальчиками и продолговатыми ноготками. Ее фотографий много в моем альбоме. Есть Нинка в юные годы, есть Нина повзрослевшая, есть Нина Ивановна. Сейчас на этих фотографиях она мне кажется значительней и прекрасней, чем была при жизни, словно в них после ее смерти проступила задуманная Создателем ее легкая сущность: доброта и наивность. Она была красива. В школе, когда играла с девочками в волейбол через сетку, ее груди подпрыгивали под футболкой, как два накаченных мяча. Мальчишки не сводили глаз. Отец ходил встречать после уроков, чтобы за ней никто не увязался. Все равно кто-нибудь тащился в стороне с надеждой поймать тайно посылаемый сигнал. Они вместе делали домашнее задание. Иван Андреевич любил решать школьные задачки с трубами и бассейнами. Законы физики и химические формулы вызывали у него ошеломление, а вот грамотно писать он так и не научился. Я помню его обстоятельные, корявые письма с неверо-

ятными ошибками. Время между ужином и сном заполнялось играми в «подкидного» или лото. Семейство усаживалось за столом с потертой клеенкой. Прищулив глаз от дымившейся в углу рта папиросы, Леля сдавала, если играли в «дурака», или вытаскивала из мешочка деревянные бочонки с цифрами на крышке, если картам предпочли лото. Мне кажется, я вижу пятно света от лампы на той кухонной клеенке, старую колоду карт, разливанную на квадратики картонку с цифрами, чувствую покой и согласие людей, укрывшихся в остановившемся времени моих воспоминаний. На самом деле, все было гораздо сложнее. Нинка сбегала при первой же возможности, вспыхивали ссоры. Строгие казацкие нравы не могли примириться с ее легкомыслием. Леля щедро раздавала пощечины, Нинка плакала, беспомощный отец уговаривал их помириться. Еще хуже обстояли дела с Тамаркой. Не помня Купленова, она создала образ своего прекрасного отца, не имеющий ничего общего с неграмотным и жалостливым Иваном Андреевичем. Так сухо и официально называла она его за глаза. Любовь матери к простому мужику воспринималась ею как измена. Ей трудно жилось в этом доме. Отношения между сестрами тоже не сложились. Младшая тянулась к старшей, старшая холодно и презрительно отстранялась. На фотографии я вижу в ней своеобразную красоту, хотя она скорее напоминала Надьку: высокая, с большими ногами и руками, а ротик маленький, всегда недовольно сжатый. Короткая стрижка по моде того времени, настороженный взгляд. Пожалуй, и всё. Ее след теряется где-то в моей детской памяти. Но я знаю, что Котик Нинку любил. Они ладили. Вот он, Котик: юноша в гимнастерке, остриженный под ноль. На черно-белой фотографии не различить цвета глаз. Они светлые, прозрачные, как у отца. Первый сердечный приступ случился у Лели, когда пришла похоронка на Константина Колесниченко. Значит, мне пора писать про войну.

Военная зима сорок первого года была необычно холодной — даже для этих мест. По утрам, еще в предрассветной темноте, воздух города прорезали гудки многочисленных заводов, переброшенных сюда, в далекий тыл. Улицы оживали. Из домов высыпали люди в ватниках и ушанках, женщины, закутанные в оренбургские платки. На перекрестках скапливались ожидавшие автобуса толпы. «Нас утро встречает прохладой» неслось из

развешанных на столбах радиоточек. Леля собирала в депо мужа. Два ломтя хлеба со шматом сала, луковица, сухари и термос с чаем. Просушенные портянки на лавке. Накормить его на дорогу. Обменяться каждодневными словами, проводить. Поднять Нинку в школу. Потом всех ждать. Печка растоплена уже с утра — значит, подбрасывать дрова, орудовать кочергой. Варить борщ, слушать по радио последние известия, обессиленно опуститься на стул, отдышаться, дать успокоиться сердцу, стучащему под горлом. Пережить первую зиму, самую трудную.

Весной всем стало легче. Морозы спали. Иван Андреевич достал калоши подходящего размера к своим валенкам. Он с нетерпением посматривал на сапоги, застоявшиеся в углу кухни. Нинка выскакивала на крыльцо и, задрав голову, смотрела из-под руки на проносящиеся в небе самолеты с красными звездочками на крыльях. Их рев добавился к ставшим привычным заводским и фабричным шумам. Не зря в ту пору город носил имя летчика Чкалова: молодые и прекрасные юноши со всей страны хлынули сюда, чтобы научиться вести воздушный бой по ускоренной программе местного летного училища. Худшие опасения Лели подтвердились: у младшей дочери завелся ухажер. Нинка заканчивала десятилетку и бегала на танцы в летное училище. Там-то и произошла их встреча, о которой мне ничего не известно. Фотографий ее первого мужа в альбоме нет...

— Тише, — говорит бабушка, — не плачь и не бойся. Я просто усну, как ты засыпаешь в своей кровати, так я усну и буду спать.

Бабушкины волосы рассыпаны по подушке. Они седые. Еще у нее худые впалые щеки.

— А почему они говорят, что ты умираешь?

— Кто говорит?

— Дедушка и Дуся. Я слышала, как они говорили. Дедушка говорил, что место там хорошее и рядом его похоронят, когда срок придет.

— А Дуся что говорила?

— Дуся заплакала. А потом говорит: «Здесь ребенок слушает», тогда дедушка меня на руки взял.

— Господи, — говорит бабушка, — ребенка причесать, как следует, не могут, бант завязать и то не в состоянии. Ну-ка, принеси мне гребешок с комода. Подвинь маленький стульчик и встань на него. Нет стульчика? Подвинь табуретку.

Девочка пытается сдвинуть с места табуретку.

— Мне табуретку никак.

— Сколько раз тебе говорила «табуретку», а ты все табуретку да табуретку. Ну все, иди, я устала. Хочу поспать. Поиграй во дворе! Потом еще придешь меня проведать.

Двор, размером чуть больше комнаты, в которой лежит бабушка, вымощен кирпичом. Здесь пахнет курами и навозом. Днем дедушка открывает дверь курятника, и куры выходят погулять. У них костистые клювы и когти на лапах, которыми они скребут по кирпичному настилу. В сарае живет индюк. Его не выпускают во двор, если там играет девочка. Когда бабушка не болела, она развела цветник под окном кухни, выходящим во двор. Дед огородил цветник оградкой и покрасил ее белой краской. Мальвы выросли высокие и красивые. Еще бабушка говорила, что если косточки от мандарина из новогоднего подарка закопать в горшочек с землей, то вырастет росток, а из росточка может вырасти целое мандариновое дерево, похожее на апельсиновое дерево, и что красивее апельсиновых деревьев она не видела ничего на свете. За маленьким двором есть еще большой двор, куда девочке ходить не разрешают. Там в конюшне жили лошади. Много лошадей. Дедушка занимался извозом, но недолго. Потом пришли какие-то люди, что-то говорили бабушке с дедушкой и лошадой увели.

Девочке скучно. Она взбирается по приставленной к сараю лестнице на его крышу. С крыши ей видна пыльная улица и чахлые деревца вдоль дороги.

Иногда на крышу сарая со стороны улицы взбирается другая девочка — Зоя Мундарисова. Они вместе играют в «секреты» или во что-нибудь еще. Зоя живет с большой семьей в землянке, вырытой в конце улицы. Она немного постарше и уже знает название города, в котором они живут: Оренбург.

Еще Зое хорошо потому, что у нее много братьев. Они вместе играют и бегают купаться на реку. Река Урал. А у девочки только бабушка. Дедушка тоже есть, но его часто нет. С желез-

ным чемоданчиком в руке он уходит в рейс на несколько дней. Бабушка радуется, когда он возвращается. А сейчас все тихо, только на кухне тикают ходики на стене. Это кот с большими глазами. Глаза смотрят в одну сторону — тик, потом в другую — так. Когда дедушка дома, он подтягивает гирьки часов и пальцем подправляет стрелку, если она отстает. Палец у него большой и толстый, а под ногтем черная сажа.

И вот теперь бабушка заболела, и у них живет другая бабушка — бабушка Дуся. У нее есть сын дядя Коля. Николай Николаевич. С крыши сарая девочка с Зоей видели, как дядя Коля пришел с Дусей к ним в дом. Было жарко. Во дворе накрыли на стол. Дедушка из погреба достал соленый арбуз, красные помидоры с тонкой кожицей, из которых, если ее прокусишь, вытекает соленый-пресолёный сок, еще солоней, чем из арбуза, когда начинаешь его есть. Взрослые что-то говорили, а потом Дуся крикнула, девочка забыла что, и дядя Коля замахнулся на нее, но смешно упал. Дедушка большой и сильный, рассердился и вывел его за дверь. Зоя потом рассказывала девочке, что какой-то мужик уснул на улице под деревцем. А Дуся потом говорила, что Кольку татарва обокрала. Так ему и надо! Потом он уехал на целину. Что это такое, девочка не знала.

Леля смотрела на свои худые руки, вытянутые вверх пододеяльника. В комнате пахло сердечными каплями, марля на форточке плохо пропускала воздух, но не спасала от мух, жужжащих под потолком. «Сердечная недостаточность, — сказала тогда молоденькая докторица, укладывая стетоскоп в чемоданчик. — Видите, как посинели у нее губы и ногти. Это от застоя крови. Сердце-то почти не качает». Прописала покой и капли, таблетки под язык. Потом они шепталась в коридоре. Все стало понятно.

— О чем ты думаешь? — большая шершавая ладонь накрыла ее руку.

У Алешеньки ладонь была крепкая, но гладкая, а Ваня много работает лопатой на паровозе и дома: кожа потрескалась, хоть он и смазывает ее вазелином. От него пахнет соляжкой и курятни-

ком. Вот она зачерпывает ковш воды из ведра, наливает в умывальник. Он подставляет ладони под умывальник, трет загорелую полоску на шее, что-то говорит ей, поворачивая мокрое лицо.

— Ни о чем не думаю, — солгала она.

Хотя нет, не солгала. Вспоминать, не думать. Или это одно и то же? Сначала ее удивил нахлынувший поток, но потом она поняла, что ничего другого уже не осталось: значит, надо спешить все вспомнить. Или вот еще — как удивительно это устроено: ничего уже нет, давно нет, а в памяти есть. Как можно видеть отчетливо и ярко то, чего нет? Неразрешимость этой загадки мучила ее. Не найдя ответа, она обессиленно засыпала.

Страх был всегда. Даже после того, как Ваня усыновил детей и дал им свою фамилию. Семья иногородних. Крестьянские дети. «Все серые, карие, синие глазки — смешались, как в поле цветы». Тамарка выросла злющей и высокомерной. Длинная, как верста, с большими ногами. И в кого она такая? Все вздохнули с облегчением, когда старшая дочь уехала учиться в Ленинград. Анкета, значит, подошла. Отыскала там себе жениха-курсанта. И слава Богу! Подальше отсюда, из этой глухой и страшной провинции! Котика жалко. Слезы потекли по худым щекам, намочили пододеяльник. Шевелиться не хочется. Шершавой ладони больше нет. Что-то теплое и мягкое вытирает ей глаза и щеки. Привычно потянуло в спине, где-то под лопаткой. Разве там сердце? Котик был весь в отца. Красавец. Девки заглядывались. И его понесло в Ленинград вслед за сестрой. Институт Лесгафта — прости, Господи. А тут эта война. Ваня потом письма писал, выяснить хотел, где его убили. Ездил в Москву. А что узнал? Расстреляли группу парашютистов-десантников в воздухе, те даже приземлиться не успели. И все. Где его могила? А где могила его отца? Слез больше не стало. Она уснула.

Как удивительно: только что Капа поставила самовар на стол, и в его зеркальном боку отразилась девочка с каштановой косой, и вот уже снова комната, где эта девочка умирает. Кто это все задумал? Разве ей это по силам разгадать? Вот снова шепот у ее постели. Хотят кормить с ложечки. Нет, ей не надо. Не примет она от них этой ложечки. Пусть знают, что ей все известно, хотя не сказала им ни слова. Все слышала, все шоро-

хи и сдавленные стоны. Вот так Дуська! Подруга верная — можно сказать, сестра родная. И этот хорош — «шел в комнату, попал в другую». Оправиться он во двор ходил. Как же! А не позвать ее к себе не могла: война началась. Она бежала с Колькой младшим, под обстрелами да бомбежками. Взяли их к себе — в тесноте, в нищете. А как не взять? А уж когда похоронка пришла на Кожуха, так и говорить было нечего. Одно горе на всех. У меня сына не стало, у нее мужа. Какие тут счеты? Главное, не думать о том, что будет с ними всеми после ее смерти. А что станет с ней? Ничего не станет. Как это? Может, ее там маменька ждет, нянюшка, Алешенька. Может, Котик ее дорогой тоже ждет. Но почему так долго нет Нинки? Неужели не простится с матерью? Дочку свою заберет или оставит на этих? Нет покоя душе, она все хлопочет, но уже скоро-скоро отлетит в небесные дали, где найдет покой под сенью апельсиновых садов.

А разве просто сложилась жизнь у Ивана? Устал он смотреть снизу вверх на свою Елену прекрасную. Потом Тамарка эта. Казачье отродье высокомерное. Вырастил, выкормил, а в ответ ни слова благодарности! Мужиком для нее был, мужиком и остался. А уж когда на Котика похоронка пришла, жить ему совсем тошно стало. Разве его вина в том, что ему бронь дали, а мальцов безусых погнали на фронт. Он ведь тоже не сложа руки дома сидел. Втянулся в паровозное дело, ходил в депо учиться. Сначала кочегаром на местной ветке отпахал, а как война началась — поставили в помощники машиниста. Работа нервная, ответственная. Уставал, конечно. А дома что? Нет, щи сварить Леля могла, но хозяйства вести так и не научилась. Курам головы рубить ее никто не просил, но проса побросать, когда он в отъезде могла? Да что там... Евдокии говорить ничего не надо было. Все поняла без слов. И он ее тоже понял. Его грех. Ему и замаливать.

Елена ушла тихо. В последние минуты привиделись ей сестры, о которых много лет ничего не было слышно. Вроде как они обнялись на прощанье, а что сказали друг другу, разобрать не успела.

Глава 13

Вот и последняя фотография в альбоме: настороженная девочка с большим бантом на макушке. Пятилетняя сестра. Фотография снята в Оренбурге лет шестьдесят назад. Там прошло ее детство в доме деда с бабкой. Легкомысленная мама только успела развестись, как сразу вышла замуж за курсанта Оренбургской летной школы и покинула навсегда этот город, чтобы скитаться по военным аэродромам Забайкалья, а когда родилась я, про девочку и вовсе забыли. Есть ли в этом чья-то вина? Наверное. Не мне судить. Мне — заканчивать эту историю.

Тогда снова назад в тридцатые годы, в дом 73/75 на тогдашнем Кировском проспекте, в квартиру, которая после ареста Надежды Безладновой стала большой и неудобной. Гости исчезли, и Ольга продала рояль. Время от времени заезжал Михеев. Судя по всему, дела у него шли неплохо. Он приносил водку, распивал ее с Пустыревым на кухне, где Варенька как ни в чем не бывало кормила его борщом и киевскими котлетами. Бурякову с ним больше не видели. После его ухода Пустырев гонял ночи напролет единственный шар по зеленому полю бильярдного стола, стоявшего на месте рояля. Он ждал ареста, но за ним не приходили. Зато прямо на улице взяли Варвару. Прождав ее до утра, Ольга позвонила Михееву. Когда в трубке отзвучал его фальшивый голос, стало件нятно, что она арестована. Уже знакомый трамвай отвез Ольгу на Литейный. Вареньку допрашивали в то время, пока она стояла в длинной очереди в справочное окно. Михеев описал любовницу, с которой вступил в связь по заданию органов как активную участницу подпольного центра, готовящего покушение на членов ЦК партии. Припомнили Варваре и буржуазное происхождение. А дальше все было, как у всех: побои, угрозы, суд, пятьдесят восьмая статья и десять лет лагерей. дождался ареста и Пустырев, но позднее, в тридцать седьмом году, через несколько дней после самоубийства Орджоникидзе. Он получил десять лет лагерей без права переписки. За ним пришли ночью. Карая-второго, набросившегося на непрошенных гостей, пристрелили. Ольгу почему-то не тронули, но история повто-

рилась. Люди, похожие на тех, что когда-то «уплотняли» ее квартиру в Египетском доме, заявили к ней снова через двадцать лет. Она безропотно переехала в одну из комнатенок в этой же громадной квартире, взяв только портрет девочки в белом платье с бантом и мальчика в матроске. Я ничего не знаю о том, как и где она пережила блокаду и войну. Знаю только, что Варенька смогла вернуться из лагеря только после смерти Сталина.

Незадолго до ее возвращения прошлое напомнило Ольге о себе. В киоске Союзпечати, где она покупала газеты, сменился продавец. Синюшное отекшее лицо мужчины было ей незнакомо, но однажды он заговорил с ней.

— Вы, конечно, не помните меня, Ольга Федоровна, а ведь мы встречались много лет назад, во дни, так сказать, прекрасной молодости здесь неподалеку, на мебельной фабрике. Да и сестрицу вашу Надежду я знавал не плохо. Моя фамилия Гришковец. Она разве вам про меня ничего не говорила?

Упоминание имени сестры многие годы вызывало слезы у Ольги. Сейчас же она, сощуривав близоруко глаза, внимательно всмотрелась в лицо Гришковца.

— Не припомню. Извините.

— Да ладно, чего уж там, Ольга Федоровна. Надьку вашу посадили и расстреляли, потом и меня посадили, но, как видите, не расстреляли. Время-то какое было, сами знаете... Вы приходите, я вам буду «Крокодил» откладывать. Веселый журнал. Его быстро расхватывают.

Иногда она приходила-таки к Гришковцу за газетами. Обдавая перегаром, он успевал наговаривать ей что-то о своем чекистском прошлом, которое ее, впрочем, совершенно не интересовало. Торопливо распрощавшись, она шла в садик Дзержинского или возвращалась домой. Других маршрутов у нее не было.

Мне кажется, я вижу этот дом на Кировском. На втором этаже балкон — прямо над парадным подъездом. Я слышу шум подъезжающих машин, хлопающие двери лифтов. Если подняться по мраморной лестнице, откроются двери памяти. Теперь на-

до пройти через просторную прихожую со знакомым запахом коммуналки в комнатку, где в обшарпанном кресле сидит седая женщина с какой-то бумагой на коленях. Это официальное письмо. Бог его знает, откуда его прислали.

— Варенька, они реабилитированы посмертно!

Я знаю, это были последние слова Ольги.

Теперь уже совсем все. Мне больше нечего написать о сестрах Безладновых. Сложилась ли разрозненные участки того, что мне известно в линию передачи? Не мне судить. Могу только добавить, что я таки видела апельсиновое дерево — действительно, самое прекрасное дерево на свете, но это уже совсем другая история.

АЭРОДРОМ

В семейном общежитии летчиков аэродрома «Травяны» встречали новый 1957 год. Стол накрыли в Красном уголке, откуда полгода назад незаметно вынесли бюст вождя. В образовавшийся просвет перед самым праздником поставили елку. Гуляли шумно и весело. Натащили на стол кто во что горазд. Старый год проводили, хлебнув из граненых стопок «Массандры»¹. Год был високосным, значит, несчастливым, но кто помнит про старое, разливая Советское шампанское в эмалированные кружки? Под бой курантов с далекой башни Кремля выпили игристый напиток, наполнивший радостью молодые сердца, перецеловались под гимн Советского союза, хотя к такому действию он вроде и не располагал. Потом пошла картошечка с солеными грибами, благо летом грибов на аэродроме хоть косой коси. Никто не отказался и от холодца.

Накануне Нового года авиамеханики Ковалев с Борисовым привезли из соседнего села «Травянского» забитого поросенка. Студень поставили вариться с утра на электрической плитке, к обеду мясной дух разнесся по всему общежитию. Унюхав добычу, в кухню завалилась комендантша общежития, баба злющая не только по должности, но и по призванию.

— Это что тут у вас? — завопила она с порога. — Перерасхода электричества не допущу!

Напугать никого не напугала, но связываться с ней было некогда. Анечка Борисова, жена авиамеханика, захлопала глазами на круглом веснушчатом лице:

— Ой, Клавдия Иванна! С Наступающим! А мы тут поросеночком разжились! — и, понятное дело, две ножки, припасенные на Старый Новый год, в газетку завернула и комендантше подмышку сунула. Та сразу сбавила обороты:

— А че вы, девки, плиту не топите?

¹ Массандра, Шило есть и другие варианты названия спирта ректификации, используемого в качестве противообледенителя в самолетах Ту-4 и Ту-16.

— Дак она дымит, печника дозваться не можем. Вытяжка не тянет. Как бы нам тут всем не угореть к празднику-то!

Голос у Анечки подобострастный, а сама она голову от комендантши отвернула и девкам подмигивает, скоро, мол, ты, Клавдия, уйдешь отсюда?

Та еще потопталась на кухне для порядка, как бы ни заметила цистерну с керосином в неположенном месте, заглянула в Красный уголок и полюбовалась елочкой. Придираться не стала, да особенно и не к чему было. Так с газетным свертком подмышкой и удалилась. А студень к вечеру разлили по мискам и втиснули на часок между оконных рам. Прихватило сразу по причине стоявших морозов. Теперь он на столе, подернутый тонким слоем жирка с половинками крутых яиц, выглядывающих из прозрачных просветов.

Еще и часу ночи не было, как старлей Генка Овсянников развернул аккордеон и затянул приятным баритоном «Есть город, который я вижу во сне». Из летного состава аэродрома в Одессе никто не бывал, но песню любили, подхватили припев и слегка загрузили от воображаемой красоты. Песни Утесова вся страна знала наизусть, они неслись из черной радиотарелки, подвешенной в каждом доме, помогая «строить и жить», но сильно грустить сейчас никому не хотелось. Хотелось танцевать. Тем более, что на краю стола красовался раскрытый патефон — король всех вечеринок и сабантуев, а на табуретке разместилась картонная коробка с грампластинками Апрельевского завода в конвертах. Капитан Артемьев закрытил до отказа ручку патефона:

— Ну, други, что поставить? — и зачем спрашивать, когда игла уже скользит по дорожке крутящейся с легким шипением пластинки.

«Я вам песенку спою про пять минут! — пообещала молоденькая Люся Гурченко. — Пять минут! Пять минут! Бьют часы на Спасской башне!»

Подскочили все, даже жена замполита Зыкова на седьмом месяце беременности. Муж осторожно повел ее в слегка замедленном темпе, избегая столкновений с кружащимися парами. Потом перешли на фокстрот и любимое всеми танго. В комнате накурили. Стало душно. Зыкову пришлось увести усталую жену, а когда он вернулся, танцевала только одна пара: неугомонная Нонка Ковалева с капитаном Артемьевым. Зыков отыскал глазами

старлея Ковалева, ему, как замполиту, приходилось следить за соблюдением порядка в семьях летчиков. Разгоряченный Ковалев оживленно говорил что-то соседу по коридору летчику Петренко. «Корзинщиков, знаешь, что пишет? — донеслось до замполита. — Настоящий летчик-испытатель должен свободно летать на всем, что только может летать, и с некоторым трудом на том, что не летает!» Подвыпившая Анечка Борисова игриво зыркнула в сторону замполита: «Так у нас Петренко готов летать на всем, что только может догнать!» Петренко, сидевший к ней спиной, намек то ли не понял, то ли не расслышал. Его недавно перевели в «Травяны» из «Можайского» за аморалку, жена с ним не поехала, а подала на развод. В семейном общежитии ему выделили койку в комнате на пару с другим холостым летчиком, и Зыков слегка опасался, что Петренко рано или поздно оправдает характеристику, данную в рапорте. «Как бы он тут у нас снова «ходоком» не стал», — затревожился замполит. «Анечка, — подсел он к Борисовой, — ты за ним поглядывай там. Ну мало ли что, сама понимаешь». Та с готовностью тряхнула русой челкой: «Не волнуйся, Сан Саныч! Проследим и все как надо оформим». Да как же не волноваться, когда даже Нонка Ковалева вызывала у него беспокойство. Уж больно хороша она в приглушенном свете Красного уголка, где выключили верхнюю лампочку и зажгли разноцветные гирлянды на елке. Артемьев так и вьется вокруг нее, а в медленных танцах явно прижимается. Вот Нонка что-то сказала ему на ухо, и тот, сломя голову, кинулся ставить новую пластинку. Чем там дело кончилось Сан Санычу доглядеть не дали, подсевшие офицеры налили ему родной «Массандры» и, крикнув, он опрокинул стопарик за все хорошее в наступившем 1957 году.

Голос Гелены Великановой, пробиваясь через облако папиросного дыма, зазвенел под желтым от протечек потолком:

Ах, Мари всегда мила,
Всех она с ума свела.
Кинет свой веселый взгляд —
Звезды с ресниц ее летят.

Нонна Ковалева была женщиной крупной с высокой грудью и крепкими мускулистыми ногами, но сейчас ей хотелось быть маленькой Мари, которая не умеет стряпать и стирать, зато умеет петь и танцевать, хотя в отличие от веселой француженки,

Нонка все это умела. К восхищенным взглядам мужчин она привыкла, и эти взгляды были необходимы ей, как свежий воздух. Да и как было не восхищаться такой красотой: остренький носик, ладно сидящий на тонком с высокими скулами лице, каштановые волосы, волной спадающие до плеч, мягкий овал лица. Родинка на подбородке и большой чувственный рот придавали ей сходство с какой-нибудь голливудской звездой, о чем она, впрочем, даже не подозревала, но зато нарисованные полукругом брови на месте своих густых и выщипанных были предметом ее неустанного внимания и забот. Мода на такие полукруги в Москве давно прошла, но что знает провинция о столичной жизни? Ровным счетом ничего, да и откуда ей знать? А Нонка была родом из провинции уральской, из города Оренбурга, переименованного в город Чкалов, где она встретила бортмеханика Сергея Ковалева, прибывшего на курсы повышения квалификации в местное авиационное училище. В училище это, в поисках женихов, ломились на танцы все местные девушки. Бегала туда и Нонка. Отбоя от ухажеров у нее не было, но она выбрала Ковалева, не такого уж и красавца с виду, а почему, никто не знал, кроме нее самой. Серега родом был из Ленинграда, где в коммуналке на Кирочной жила его мама, которую он время от времени навещал, а Нонка Колениченко лет с шестнадцати мечтала выбраться из скучного захолустья. Ну не в Москву, так в Ленинград. К тому же отчим, потерявший на войне ногу, стал поглядывать на подрастающую падчерицу тем самым, знакомым ей взглядом, а однажды даже попытался прихватить ее в тесной проходной комнате. Рука у Нонки была крепкая, с мозолистой ладонью, натренированной в дворовом волейболе. От затрешины отчим не удержался на ногах: одна все-таки была деревянная. Поднимать его Нонка не стала, а выскочила из дома, хлопнув дверью. Злобу он, конечно, затаил, но срывался по любому поводу. Пропадая у подружек, Нонка старалась быть дома как можно реже. Училась она неплохо, закончила десятилетку с хорошими оценками и надумала ехать поступать в Свердловск, если не в институт, то в техникум, а если никуда не получится, устроиться на работу, да хоть в привокзальный буфет. И поехала бы, но ее мама заболела раком, и, промаявшись два года от невыносимых болей, умерла. Так Нонка осталась с отчимом. Жили они на его пособие по инвалидности. Кое-что перепало от соседок, которым она перешивала

старые платья, научившись строчить на маминой Подольской машинке. Бессонными ночами из окна комнатенки ей был виден проносящийся в темноте сверкающий огнями курьерский поезд. Она слышала его протяжный, выворачивающий душу гудок, зовущий уехать прочь, подальше отсюда, чтобы никогда не возвращаться назад. Подвернувшийся Сережа Ковалев был парнем добрым и веселым. В Нонку он влюбился с первого взгляда и, представив, как все летчики в полку будут ему завидовать, сделал ей предложение. Они расписались в Чкаловском районном загсе и в тот же день уехали по месту его назначения.

В семейном общежитии летного состава аэродрома «Травяны», а попросту в бараке на шестьдесят человек, супруги получили комнату, из которой выселили двух холостых офицеров младшего звания. Ковалев внес туда чемоданы и Подольскую швейную машинку в деревянном кофре. Нонка сдвинула железные кровати, взбила подушки и накрыла их первое семейное ложе казенным жестким одеялом. А уже вечером к ним в комнату набилось столько людей, что пришлось открыть дверь в длинный коридор. Было шумно и весело. Пили, закусывали чем бог послал, а послал он картошку с томатным частичком и кое-что еще. От командного состава Ковалевым подарили патефон. Так шумно и весело началась их совместная жизнь.

Гости разошлись за полночь, Нонка рассчитывала отоспаться на следующий день, но ее рано разбудили голоса и шаги за дверью. Заспанная, в застегнутом не на все пуговицы халатике, она вышла в длинный коридор, по которому деловито сновали люди: военные в линялых майках и галифе со спущенными подтяжками, их жены во фланелевых халатах или спортивных трико. Спросонья Нонка сунулась было в умывальную комнату, но, увидев там мужчину, испуганно отпрянула. «Вам дальше по коридору, Ноночка!» — повернул к ней лицо в белой пене приготовившийся бриться капитан Артемьев. Красота жены старлея Ковалева снова резанула его по сердцу. Весь прошлый вечер он не отводил от нее восхищенных глаз: такие красавицы еще не залетали в его гарнизонную жизнь. Ковалев, может, жену и ревновал, но понимал, что шансов у капитана нет, а все потому, что тот был местным из Перми и не знал, что Нонка привезла в чемодане старый «Огонек» с фотографией фонтана «Самсон» в Петергофе, который Ковалев обещал ей показать, когда переведется в Ленинград. Он и сам

давно хотел служить поближе к родному дому, но судьба военного человека мало зависит от его желаний. К тому же в армии начались перемены и пока было непонятно, чего ожидать от лысого толстяка. Ну а что Артемьев? Да пусть покрутится возле Нонки, понабивает мозоли в новеньких сапогах со скрипом.

Артемьев и крутился. В новогоднюю ночь, распространяя запах одеколona «Кармен», он не отходил от нее ни на шаг. Без передыха они перетанцевали все пластинки из коробки. Время от времени кто-то присоединялся к танцующим, но часа в четыре утра Генка Овсянников снова взял аккордеон в руки, и тут выяснилось, что всем хотелось петь. Спели «Синий платочек», «Темную ночь», «Молдаванку» и много чего еще, а когда Генка остановился на минутку, чтобы опрокинуть стопочку и с хрустом закусить соленым огурчиком, кто-то вдруг затынул тихим бабьим голосом:

Ох, не растет трава зимою,
Поливай — не поливай,
Ох, не придет любовь обратно,
Вспоминай — не вспоминай!

«Ну все! — наморщила носик Нонка. — Выступает Уральский народный хор». Сказала она это тихонько, но муж заметил ее недовольный носик и поманил рукой к себе. Мол, хватит крутиться, посиди с законным супругом. Нонка с готовностью под села и приобняла его за плечо: «Спать-то пойдем, Сережа?» Они бы, может, и пошли, но тут дверь отворилась и на пороге появилась Анечка Борисова с блюдом пельменей, только что снятых с пылу с жару керосинки.

— А ну, братва, налетай!

Братва налетела. Выпили еще, стали шутить про полное пузо, которое сейчас лопнет. Нонка что-то зашептала на ухо мужу. Скажем сразу, даже красавицам приходится справлять нужду, а с этим в общегитии, не к столу будь сказано, с наступлением морозов случилась проблема: где-то на подходе к дому рвануло подземный водопровод. К счастью, на улице осталась колонка, а во дворе сохранилась дощатая постройка с истершимися буквами «М» и «Ж» на заборе, прикрывающем от нескромных глаз двери с противоположных сторон, за которыми можно было за-

глянуть в вонючую пустоту сквозь обледеневшие дырки. Чтобы добежать туда по тридцатиградусному морозу, Нонке пришлось основательно утеплиться. Сергей принес ей валенки, оренбургский платок и шубку. Он и сам накинул тулуп на плечи и вышел на крыльцо дожидаться жену да еще несколько присоединившихся к ней соседок.

Новогодняя ночь выдалась звездной и будто прозрачной от стоявших морозов. В соседнем «Травянском» гуляли. Оттуда доносился смех, играла гармошка, из раскочегаренных печек тянуло дымом. Ковалев достал из портсигара папиросу, по привычке постучал ее пустым концом по серебряной крышке, чиркнул спичкой и с удовольствием закурил. Не успел он затянуться второй раз, как за его спиной скрипнула дверь. На крыльцо вышел уже изрядно набравшийся капитан Артемьев. И тут Серега, в общем-то парень дружелюбный, выкинул плечо вперед, костяшками пальцев, сжатых в кулак, вдарил капитану прямо в подбородок. Не ожидавший такого приема от младшего по званию, капитан рухнул. Неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы из-за двери не выскочил, почувывший неладное, Сан Саныч.

— А ну! Отставить! — гаркнул он на старлея.

— Да капитан поскользнулся, — спаясничал Ковалев.

— Я тебе, б-дь, поскользнусь! Под арест захотел? — Зыков помог подняться капитану. Тот заметно размяк то ли от удара, то ли от выпитого спирта и вовремя дал себя увести, потому что по снегу уже скрипели валенки возвращающихся из дощатого сарая товарок.

— Ты чего это тулуп скинул? Жарко стало? — проявила заботу о муже Нонна.

— Пошли спать, — пропустил ее замечание Ковалев.

За год до окончания войны возле поселка «Травянское» пригнанный с Каменск-Уральского бульдозер расчистил небольшое поле, простоявшее пустым до весны. Потом грузовики в несколько ходок привезли кирпичи и бригаду строителей: замотанных в платки баб и прораба в ватнике и ушанке. На краю поля вырос домик и еще кое-какие постройки. Когда сошел снег и подсохла весенняя грязь, на поле приземлился самолет, прозванный в народе «кукурузником», впрочем, это был не

легендарный У-2, а «Поликарпов»¹ с закрытой пилотской кабиной. Деревенские вокруг поля не шастали, но его пришлось обнести колючей проволокой после того, как летом туда забрело стадо коров, и посадка «кукурузника» закончилась гибелью пассажира, неизвестно за какой надобностью прилетевшего в «Травяны». Пилот выжил, но «Поликарпова» разнесло в куски. Расследовать это происшествие приезжала комиссия из Свердловска. Пастуха, оставившего стадо без присмотра, посадили, а поле после войны превратили в настоящий аэродром: его расширили и выровняли, уплотнили грунт и проложили взлетно-посадочную полосу. Зона, близлежащая к аэродрому, стала закрытой, зато ожил поселок: в нем появились военные с голубыми околышами на фуражках, а в небе то и дело кружили самолеты, идущие на посадку или берущие разворот на выполнение неведомых селянам заданий. Впрочем, поселковые мальчишки, задрав голову, без труда распознавали «Аннушек»², а в одно прекрасное утро над соседним с аэродромом поле раскрылось несколько парашютов. Шпионов и врагов народа по тем временам хватало, об учебных прыжках селяне не распространялись. Прыгают — и ладно! Так шли годы. Аэродром рос, говорят, заботами «Маршала Победы», командовавшим в то время Уральским военным округом. Рядом с «Травянами» выстроился военный городок, а в небе появились Ту-четвертые. В округе привыкли и к шумному соседству, и к свадьбам местных красавиц с заезжими летчиками. Часто до поселка доносился отдаленный гул каких-то взрывов. Привыкли и к этому. Обстановка в мире такая: требует постоянной готовности к отпору врагам. Скрывай не скрывай, народ разузнал и про полигон, и про то, что на аэродроме тренируют штурманов из Челябинского училища и что, обучившись, разлетаются эти штурманы во все стороны безграничной нашей родины. А ведь после смерти вождя народов «Травяны» снова могли обратиться в поле, заросшее полынью. У аэродромов тоже есть своя продолжительность жизни, и зависит она от передряг в закоулках власти, а уж об этом в поселке знать никак не могли.

¹ Самолет По-2Л.

² Самолет Ан-2.

Первое утро нового 1957 года в общежитии было тихим. Изредка хлопала входная дверь за спешащим во двор «по нужде», да в кухне из приглушенной радиотарелки неслись патриотические песни вперемешку с последними известиями. Люди отсыпались после праздничной ночи, и только замполиту Зыкову ни поспать, ни опохмелиться не пришлось: в восемь утра кто-то стукнул в его дверь.

— Кто? — коротко спросил он, подняв голову с подушки.

— Товарищ капитан, я за вами.

— Саш, ну хоть огурчик возьми, хлеба отрежь. Совсем не поевши поедешь, — забеспокоилась его супруга.

— Ты спи, Тоня. Не волнуйся, я, может, вернусь через часок.

Пока посланный за замполитом сержант гнал газик по накатанной дороге навстречу вставшему над горизонтом зимнему солнцу, Зыков сидел, прижмурившись, на переднем сиденье и гадал, за каким таким делом его подняли в выходной ни свет ни заря. Долго думать не пришлось, уже через двадцать минут перед газиком раскрылись ворота КПП с красными звездами на створках. Дежурный по части с помятой физиономией доложил, что на вокзале в Каменск-Уральском патрульной службой был задержан рядовой Садыков, приписанный к воинской части «Травян».

— Садыков, Садыков... не припомню такого. Это кто ж такой?

— Да чурка. Ушел в самоход перед Новым годом.

— А где ротный-то? — удивился Зыков.

— Капитан Архипов в госпитале.

Теперь понятно. Ротный заболел, и замаять самовол не удалось, а реагировать по нынешним временам полагалось быстро, не затягивая с разбирательством и мерами. Значит, от Зыкова ожидали рапорта.

— Ну ты это ... полегче с чуркой.

— Виноват, товарищ капитан. Допрашивать задержанного будете?

— Приведите, — кивнул Зыков.

В комнате было жарко натоплено, Сан Саныч снял шинель и сел за голый письменный стол. В животе у него забурчало. Сейчас бы опрокинуть сто грамм, закусить и придавить подушку часок-другой. Не получится.

Рядовой Садыков являл собой жалкое зрелище: неказистый, маленький, в длинной, как юбка, гимнастерке и в галифе, висящих мешком. Зайдя в комнату, он вытянулся по уставу, но с новатым и пришибленным видом.

«Господи, это где ж таких несчастных делают?» — жалостливо промелькнуло у Зыкова, пока он разглядывал задержанного Садыкова. Прихватили его на вокзале: то ли в самоход подался, то ли драпануть решил, да ума, видать, не шибко много, а денег и того меньше. Четыре рубля. И как такой Садык добёг до Каменск-Уральского? Собственно, это и должен был выяснить замполит.

— Рядовой Садыков, вы понимаете, на каком основании вас задержал патруль? — начал дознание Зыков.

Садыков заморгал, но на вопрос не ответил. Так и стоял, вытянувшись шеей из подворотничка. Почему-то Зыков знал, что подворотничок этот грязный, а подштанников у рядового могло и не быть совсем.

— Присягу принимал?

— Так точно, товарищ капитан. Принимал.

— Что такое воинская служба, знаешь?

— Почетная обязанность гражданина СССР, — отбарабанил Садыков. Видать, слова присяги в него вбили надолго, если не навсегда.

— На политзанятия ходил?

— Ходыл, товарищ капитан.

— Что за самовольную отлучку из распоряжения части бывает, знаешь?

Садыков молчал.

— Почему ушел? Случилось что или как?

Садыков молчал.

— Ты сам-то откуда? — Может, с ними надо по-хорошему, с народами этими.

— Из Алма-Аты, товарищ капитан.

— Давно призвался?

— В сэнтябре.

— Тебе родина доверила аэродромное обеспечение полетов, а ты что? Решил драпануть с воинской службы? В тюрьму захотел?

Садыков сглотнул, кадык передернулся на его торчащей шее.

— Чего молчишь? Я тебя под трибунал отдам! В штрафбат пойдешь, понял?

Тут замполит перегнул. Садыкова словили уже на второй день «ходки» и никаких доказательств его дезертирства не было. Могла быть обычная «самоволка». Мало ли что там у них во взводе случилось. Лишь бы не дедовщина. Тогда разборки пойдут. Почему да как. Следов побоев на Садыкове, кажись, нет. Или есть? Пятна на шее то ли от грязи, то ли еще от чего. Незлобивый по натуре Сан Саныч по долгу службы должен был строго реагировать на любое происшествие в его подразделении. По неуставному соглашению дело надо было замять, разобраться на месте, чтоб оно не пошло дальше в полк и не испортило показателей политруку и ротному командиру. Может, сто грамм, принятых с утра, и прибавили бы Зыкову сил для более энергичного расследования, но насухую «воодушевления» явно не хватало.

— Ну, а до города как добрался?

— Попутка подвезла.

«Скорее всего, не врет», — подумал Зыков.

Ему все больше становилось жалко рядового.

— А куда дальше собирался?

Тут Садыков захлопал глазами, не пуская слезы наружу.

— У тебя ж всего четыре рубля при себе было. До Алма-Аты не хватит доехать.

Это что ж, все твое денежное содержание?

— Никак нэт, товарищ капитан. Содержание было двадцать рублей.

— Во как! Куда ж пятнашка подевалась?

— Сержант забрал. Говорит, тебе и пятерки хватит. А я свинину есть нэ могу.

Еще какой другой еда хотел купить, потом вернуться. Автобус не нашел, попуток не нашел.

Он помолчал, переступил с ноги на ногу и добавил:

— На вокзал спать пошел.

— Так ты что, верующий? Свинину есть не можешь?

— Почему верующий? Мусульманин я. Нам свинина — «чучка», есть нельзя.

Ну да. Точно. Подсобным служащим выдали перед Новым годом сухим пайком консервы свиной тушенки. Свои банки

Садыков скорее всего загнал. У замполита аж засосало под ложечкой, так ему захотелось намять картошечки с тушенкой. В его голове уже составилась рапорт, что-то типа «самовольный уход из части в целях покупки продуктов в силу отказа от употребления свинины из религиозных соображений». С рекомендацией пяти суток ареста на гауптвахте за нарушение воинского устава. А что делать с тем, что деньги у рядового отобрал сержант? «Нехай в роте разберутся», — заторопился замполит.

Он еще немного помуржилил Садыкова, но как-то вяло и без вдохновения: предстояла отчетная писанина, а этого Зыков делать не любил. Он уже написал слово «Рапорт», когда в дверях вырос дежурный по части:

— Товарищ капитан, к телефону!

«Никак Особый отдел проснулся!» — крутанулась единственная мысль у Зыкова. И точно! Особист Кошкаров был человеком напористым, что не удивительно при занимаемой им должности, но напористость эта была с некоторой примесью осторожности, позволившей ему пережить ушедший год, наполненный сложными политическими катаклизмами. Никто из состава летного полка не знал, да и не хотел знать, чего стоило майору Кошкарову удержаться на месте, когда многих его сослуживцев снесло вихрем, закрутившимся в Москве под названием «разоблачение культа личности Сталина». Волнений добавили события в Венгрии, после которых особистам пришлось снова усиливать бдительность на доверенных партийных участках. В голове Кошкарова усиление бдительности трудно совмещалось с разоблачительным пафосом секретного доклада Хрущева на двадцатом съезде. Впервые в жизни перед ним стояла дилемма: «закрутить или ослабить?» Вот и Зыков казался ему ненадежным. Что он там долдонит «самоход да самоход»?

— А если вот такой дезертир Садыков, да еще и мусульманин, подберется к хранилищу с горючим? Ты подумал, что он может натворить? — злобно перебил капитана Кошкаров.

— Да куда ему? — не согласился Сан Саныч. — Чурка она и есть чурка. Виноват. Представитель национального меньшинства. Казах. Он с лопатой и метлой работал. Посидит на губе, пой-

мет, что в самовол ходить нельзя. Ну а если не поймет, пойдет под трибунал. У них там в роте факты неуставных отношений на лицо. Надо бы расследовать, товарищ майор.

— Сигнал был?

— Официально не поступал, но Садыкова обобрали. Я ему верю.

— И что мне твоя вера? К делу ее пришить? Неуставные отношения в Советской армии на руку американскому империализму. Все понял?

Так точно. Капитан все понял и как надо написал. Вот, может, рядовой Садыков скрыл, с какой целью ушел из части. Может, он не жрать хотел, а хотел взорвать хранилище с горючим на территории части... Замполит передал дело в военную комендатуру. Там после праздников разберутся. Если при этом он и задумался о судьбе рядового, то ненадолго.

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор», — орало радио на кухне общаги под шипение десятка сковородок. Запах подгоревшего сала мешался с запахом ваксы и одеколona «Шипр». Хлопали двери, скрипели половицы под начищенными сапогами. На второй день нового года морозы немного спали и аэродром ожил, хотя полетов не предвиделось. Многоголосая гурьба забила в автобус, пришедший за летчиками. Немного подождали Артемьева, у которого не завелся мотоцикл, и покатили в сторону КПП. Промерзший автобус дребезжал расписанными белым узором стеклами окон. От теплого дыхания людей они начали оттаивать. Никто не обратил внимания на занимающуюся зарю, бледнеющие звезды на чистом январском небе, подрагивающие вдали поселковые огоньки. Разговоры то и дело прерывались смехом, и не потому, что отпущенная кем-то шуточка была такой уж остроумной, а просто настроение у всех было радостное. Приподнятое. Хотелось жить. Точнее, никто не думал о том, что может умереть. Кто-то успел закурить, кто-то просил шофера проехать мимо ларька: вдруг Ираида уже открыла свой «васисдас». Хорошо бы прикупить пару бутылок пива. Кто-то поспорил на пять щелбанов, что пива у Ираиды нет, даже если она и открыла ларек. «Чем же ей тогда торговать?» — удивился третий. Дело разрешилось само собой: Ираида «не открылась», тропинку к ларьку занесло еще прошло-

годним снегом. Легкое разочарование не застоялось, а перешло в обсуждение всевозможных вопросов, главным из которых был: погонит ли начальство с утра на политинформацию или даст заняться делом. Люди были свои. Некоторые вольности проходили без одергиваний с напоминаниями о том, что и как положено советскому офицеру. И снова все разрешилось само собой, когда дневальный на КПП направил прибывших в Ленинскую комнату, где уже толпился народ. Там все шумно перездоровались и, озираясь, в каком-то праздничном возбуждении поплюхались на свободные места, приготовившись выслушать очередную сводку об агрессивных планах мирового империализма. Но политинформация так и не началась. Вместо лектора в комнату стремительно вошло начальство аэродрома. Все притихли, почувствовав значительность момента.

— Товарищи офицеры, — командирский голос полковника Малышева разнесся в наступившей тишине. Сегодня в «Травяны» прибывает генерал-майор авиации Захарченко. Цель визита — инспекция общего состояния аэродрома. Не скрою, это важный для нас день. Будут учтены все просчеты, если таковые обнаружатся. Полетов на сегодня не запланировано, но самолеты, летный состав и служба должны проявить готовность к любой ситуации под полную, подчеркиваю, полную ответственность командиров подразделений. Вопросы?

И тут же рубанул:

— Нет вопросов. Все по своим местам.

Новость была, прямо скажем, не духоподъемной. И не только потому, что любая инспекция чревата неприятностями, а еще и потому, что даже сюда, в уральскую глухомань, доходили слухи о желании Хрущева позакрывать большую часть военных аэродромов за ненадобностью. Люди расходились молча.

— Конец «Травянам», — сплюнул в сугроб Ковалев и зашагал по скрипучему на морозе снегу в сторону стоянки самолетов. Рядом перебирал ногами Зыков. Он с завистью глядел вслед летчикам, обутом в унты. Замполит был «нелетающим», такой обуви ему не полагалось. Жена уговорила Сан Саныча надеть чертовы валенки. Теперь неудобно будет, если попадет на глаза генералу. Зыкова распирало поделиться с кем-нибудь грустными мыслями. А с кем? Доверять свои опасения нельзя никому.

У механиков есть специальность, они могут работать на гражданке, туда же пойдут и летчики, а куда податься работнику идеологического фронта? Разве только лектором в Дом культуры, читать политинформации об организации ПВО в условиях применения массового атомного оружия. И жена на сносях. Дождались, наконец, первенца, а тут, не дай бог, демобилизация. Враг выпрут из общежития. Сан Саныч так задумался, что чуть не попал под снегоочиститель. Шофер коротко просигналил два раза и обдал Зыкова снежной волной.

— Да что ж ты делаешь? — возмутился замполит.

Выяснять отношения было некогда. Кое-как отряхнувшись, он засеменял к Вышке¹. Спроси его, зачем? Сам не знал. Делать ему там по должности было нечего, но тянуло туда, в самый центр аэродрома. Серьезные люди в Вышке едва кивнули Зыкову. Он тихонько присел в сторонке. Судя по всему, «Травяны» продолжали жить положенной им жизнью. Это успокаивало расстроенное сердце Сан Саныча. Инженерная служба по радиосвязи докладывала о наледях на ВПП², о состоянии грунта, коэффициенте сцепления. Техника, рабочая сила... «Солдатиков с лопатами нагнали, вот тебе и техника с рабочей силой», — хмыкнул про себя Зыков.

— Радужный, я — Радужный. Дайте прогноз на сегодня, — запрашивал сводку погоды диспетчер. Метеоролог обещал «миллион на миллион»³ при 25–28 градусов мороза с усилением ветра во второй половине дня.

— Направление ветра, дайте направление ветра...

Ждали доклада о готовности к полетам. Зыков взглянул на часы: «ЭМПешки⁴ уже подогнали к самолетам. Часа два на разогрев уйдет. Потом заправка. Надо бы пойти взглянуть». С оттаявших валенок Зыкова натекла небольшая лужица, когда он собрался, наконец, уходить.

А утро меж тем выдалось прекрасное: ни одного облачка на небе, озаренного холодным зимним солнцем. Аккуратно при-

¹ Вышка или СКП — стартовый командный пункт.

² ВПП — взлетно-посадочная полоса.

³ Видимость более 10 км.

⁴ Автомшины или специальные печки МП используются в авиации для подогрева моторов самолета и кабины летчика.

крыв дверь, чтоб холод не пробрался к диспетчерам, он аж замер на пригорке, залюбовавшись видом открывшегося аэродрома. «Картина маслом! Айвазовский!» — выразил свой восторг замполит. Не то, чтобы это был единственный художник, которого он знал. В его комнате в общаге висела репродукция «Трех богатырей», но даже такое ограниченное восприятие прекрасного подсказало ему, что Васнецов тут не подходил. Все двигалось и сверкало. Кое-где с самолетов уже снимали ватные чехлы и подсоединили к рукавам обогревателей. Зыков разглядел механиков, махавших метлами на крыльях Ту-четвертых, очищая их от снега. На рулежных дорожках копошились солдатики с лопатами. Кто-то очищал огни посадочной полосы, кто-то выкатывал тележки из распахнутых ворот ангара, крутились радары, поблескивали на солнце растяжки антенн, прогревались моторы грузовиков и пожарных машин в гаражах аварийных служб. Зыков почувствовал неловкость за свое бездействие и «бабский страх», одолевший его с утра. Проворно сбегав с пригорка, он тормознул заправщик и уже через полчаса открывал дверь дежурки.

Возле шкафчиков раздевалки было натоптано, значит, летчики переоделись и ждут команды. В дежурной комнате успели накурить. Здесь скучали: кто-то резался в домино, кто-то лениво листал «Крокодил».

— Ка-кие люди в гости к нам! — не по уставу приветствовал Зыкова развалившийся на койке поверх одеяла капитан Артемьев. Под его левой скулой расцвел здоровый синяк. «Он хоть помнит от кого получил по морде?» — подумал Сан Саныч. На этом его интерес к Артемьеву закончился. Нужно было поднимать настроение летного состава.

— Ну что? Взвейтесь, соколы, орлами? — с нахлынувшим энтузиазмом спросил он скучающую команду.

— Да взвеемся мы, капитан, взвеемся. Как только, так сразу. Ты лучше скажи, генерал когда приедет?

Этот же вопрос интересовал полковника Малышева. Литерный состав пришел в Каменск-Уральский по расписанию, значит, больше часа тому назад. Газик с шофером послали на вокзал загодя. По всем расчетам генерал уже должен был приехать в «Травяны». «Черт, надо было самому поехать встречать», — нервни-

чал Малышев. Но по телефону генерал дал понять, что встречать его надо на КПП, а не у вагона литерного. «Что-то он там темнит, — продолжал рассуждать Малышев, — прикроет аэродром, как пить дать».

Как раз это не входило в намерения генерал-майора Захарченко. Разговор с министром обороны был предельно ясным: Жуков поручал генералу осмотреть военные аэродромы Уральского военного округа и доложить об их состоянии. Засидевшийся на штабной работе в Москве, Захарченко обрадовался такому заданию. Он был боевым летчиком, настоящим асом, МиГ-15 обкатывал не на учебном аэродроме, а в Корейскую войну, где командовал истребительным корпусом. На том же МиГе-15 учил летать китайских товарищей в придачу к товарищам корейским и получил генерал-майора уже в сорок с небольшим лет за все свои боевые заслуги. Вернувшийся из опалы после смерти Сталина, Жуков собирал в столицу верных людей. Иван Захарченко был именно таким человеком. В политических интригах он не разбирался, но и до него дошли слухи о перебранках Хрущева с «Маршалом Победы». Для неискушенного Захарченко вопрос стоял просто: самолеты или ракеты. Почему надо выбирать, он не очень понимал. Казалось бы, важно развивать и то и другое, но Никита, которого в армии не любили, ратовал за баллистические ракеты, а Жуков хотел сохранить аэродромы, разместив на них стратегические бомбардировщики. В армии внимательно следили за тем, чья возьмет. Захарченко решил стоять до последнего за спасение авиации, а значит, был на стороне министра обороны. Судьбу «Травян» он еще не решил. Аэродром был небольшим, с грунтовой ВПП, использовался, в основном, для учебных полетов на устаревших Ту-четвертых. «Может, его и стоит закрыть, — раздумывал генерал. — В любом случае, надо посмотреть». Настроение у него было отличное. Военный борт ему не предоставили, отправив из Москвы до Каменск-Уральского литерным поездом. Отдохнув за сутки в натопленном мягком купе, он с утра пораньше попил с удовольствием чайку из серебряного подстаканника, перекинулся парой слов с адъютантом, пошелестел свежими газетами. «Наверху», судя по всему, спокойно. Все пока на своих местах. Не то чтобы он волновался за себя, время

все-таки было другое, но и неожиданностей больше не хотелось. Их в жизни генерал-майора было предостаточно. Вот и вызов в Москву в штаб главнокомандующего ВВС был для него полной неожиданностью. Только они с женой решили навсегда обосноваться в Приморском крае, как случился этот крутой поворот в его карьере. Жена счастлива, а ему в штабе скучно. Как говорится, небо зовет. Захарченко сдвинул накрахмаленную занавеску в сторону. За подмерзшим окном мелькал зимний пейзаж: серые горы под снежным покровом, могучие ели вдоль железной дороги. Поезд вдруг выскочил на плоскогорье, горизонт закрыли заводские трубы с поднимающимися кверху столбами белого дыма.

— Товарищ генерал-майор, подъезжаем, — в купе зашел свежевыбритый адъютант, — через сорок минут Каменск-Уральский.

— За бортом температуру не знаешь?

— Минус двадцать пять в лучшем случае.

— Ну что, лейтенант, уши береги.

Захарченко взял с собой теплую летнюю куртку с комбинезоном и унты, а вот адъютант-мальчишка, решил повыпендриваться в сапогах и шинели.

— Копыта не обморозишь?

— Постараюсь, Иван Васильевич. У меня портянки теплые.

Старшина, подогнавший «Газик» к литерному вагону, удивился молоджавости генерала. Он ожидал увидеть солидного мужчину в каракулевой папахе, а навстречу ему шагнул невысокий, ладно сбитый крепыш с дружелюбным открытым лицом. Старшина вытянулся и с какой-то особой лихостью приветствовал генерал-майора.

— Поехали! — козырнул в ответ Захарченко.

То, что произошло дальше в пересказе того самого старшины, можно отнести к преданиям семейного общежития летчиков. А все из-за Нонки, надумавшей устроить стирку с утра пораньше. Напялив телогрейку и обмотавшись оренбургским платком, с двумя ведрами на коромысле, она вышла на улицу накачать воды из обледеневшей колонки в тот самый момент, когда мимо проезжал «Газик» с генерал-майором. И все бы, может, обернулось по-другому, если бы старшина, стараясь не ударить в грязь

лицом перед высоким начальством, не заливал бы Захарченко байки о прекрасной жизни летчиков: вот общежитие, мол, со всеми удобствами отгрохали, ничего, что на барак смахивает, зато есть водопровод с удобствами.

— А ну стой! — скомандовал Захарченко.

«Газик» затормозил возле Нонки, собирающейся водрузить коромысло на плечо. «Никак потерялись», — решила она.

— Если вам до аэродрома, то так прямо и езжайте, не сворачивайте.

Кокетства ей было не занимать даже в телогрейке и валенках, так что генерал разглядел зорким взором еще не отлетавшего свое сокола ее красоту, а, может, все дело было в коромысле с ведрами. Кто его знает. Известно только, что жена старшего лейтенанта Сергея Ковалева Нонна рассказала генерал-майору и про неработающий в общежитии водопровод, и рукой в шерстяной рукавице махнула в сторону дощатого домика с заледевшими дырками в полу. Выскочивший из «Газика» адъютант вмиг занес в общагу ведра с покрывшейся легким ледком водой, пока Нонка продолжала кокетничать с Захарченко. Еще старшина-водитель рассказывал о явлении перепуганной комендантши, заискивающе лепечущей что-то о морозе и лопнувших трубах водопровода. Рассказывал, конечно, по-своему, как умел. И больше всего мужикам в гараже понравились слова генерал-майора, когда «Газик» уже катил в сторону «Травян»:

— Баллистические ракеты испытываем, а срать все до ветру ходим.

Вечером того же дня Анечка Борисова влетела в комнату Ковалевых:

— Нонк, чего лежишь? Иди забирай своего.

— А? — подхватила задремавшая Нонка. — А где он?

— Да тут в коридоре лежит. Не дотянул маленько до аэродрома.

В чем была, в бигуди и рейтузах, хорошо еще халат накинула, Нонка выскочила в коридор. Серега распластался неподалеку, упав головой на коврик под дверью семейства Овсянниковых.

— Генк? А Генк? — заколотила кулачком в дверь Нонка. — Ты там живой? И с чего моего так развезло?

Генка был и сам изрядно выпивший, он уж и аккордеон наладил, как душа просила, но тут вмешалась разрушающая

женская сила: сначала жена зашипела, какой тебе еще город у моря, завтра рабочий день у людей, а потом Ковалева испуганная в бигуди застучала в дверь. Серегу они вдвоем подняли и куда надо дотащили, а уж как Нонка его раздевала да укладывала Овсянникову смотреть было скучно. Он пошел на кухню, зачерпнул ковшиком воды из ведра и с блаженным удовольствием напился. Потому как авиационный спирт уж больно сушит нутро.

У Зыковых горела настольная лампа, похожая на гриб. Сдвинутая шляпка-абажур освещала стол, за которым сидел в майке и в подштанниках Сан Саныч, его беременная жена, умаявшаяся за день, спала в затемненной стороне комнаты. В голове замполита то и дело крутились картинки прошедшего дня: генерал-майор в окружении офицеров, длинный, как верста, полковник Малышев, старающийся попасть в ногу с коренастым начальством, строй летчиков, все орлы как на подбор. Ту-четвертые, птички тонн под пятьдесят, легко, без сучка без задоринки, поднялись в безоблачное небо. Отлетали чисто. Можно сказать, красиво. Показали максимальную высоту, прошли параллельными курсами «крыло к крылу», а вот заправку в воздухе показать не пришлось: самолета-заправщика в «Травянах» не имелось. Сам Зыков прятался в комнате разбора полетов. Странная это была инспекция: штабной генерал-майор, а прибыл с одним адъютантом, без свиты. Должно быть с секретным заданием от самого министра обороны. Кое-что Зыков смекал, хоть и обулся в валенки по настоянию жены. Вот, к примеру, их любимый Ту-4 не мог тянуть без дозаправки дальше шести тысяч километров. Как при этом бомбить Америку, если дело дойдет до такой необходимости? А что дело дойти до такого может, в этом никто из его ребят не сомневался. Правда, был новый Ту-16, способный доставить груз, хоть в Европу, хоть в Америку, а о том, что там дальше с этим грузом будет Сан Саныч никогда не думал, даже, когда вспоминал плакат в учебной комнате с разросшейся атомной белой поганкой на фоне красного зарева. Думал же он о том, что на Ту-16 в отечестве уже два года как летают, а им почему-то эти красавцы не достались. Устав от напряженных мыслей, Зыков выключил лампу-гриб и нырнул к жене под одеяло. Прижавшись к ее животу, он почувствовал, как там шевельнулся ребенок. «Да тише ты, Колька! Извел уже мать», — ласково поворчал будущий

родитель. «А это и не Колька, а Настена», — улыбнулась сквозь сон Зыкова. «Не-е-е... — не согласился Сан Саньч. — Это парень. Летчиком будет». Спорить с ним на этот раз никто не стал.

Малышев понимал, что не Захарченке решать судьбу «Травяна», но слово замолвить он бы мог наверняка, иначе, зачем его послали с этой странной инспекцией, не похожей на все прежние комиссии, наезжающие сюда с проверками после войны. И вообще, он был своим мужиком. Летчиком. Полковник заметил в Захарченко особую приподнятость духа при виде летающих машин, почувствовал, как тому не терпится самому сесть за штурвал. Поэтому не удивился просьбе генерал-майора выделить ему самолет с курсом на «Кольцово»¹.

— Засиделся в штабе, понимаешь? Хочу потряхнуть стариной.

Малышев понимающе улыбнулся.

— На Ту-4 летали?

— Приходилось. А вот, скажи, полковник, Ту-16 сможете освоить в сжатые сроки?

— Сможем, товарищ генерал-майор, — сердце Малышева радостно ёкнуло. — Люди в полку надежные, переподготовку пройдем в кратчайшие сроки.

— Ну лады! Доложу министру ваш боевой настрой и готовность к овладению новой техникой.

Пока диспетчерская переговаривалась с «Кольцовым», Захарченке готовили самолет. Серега Ковалев еще раз осмотрел машину, вытер руки ветошью и спустился из кабины по приставной лесенке. Хотелось закурить, но начальство толпилось неподалеку. Вытащив папиросу, он заложил ее за ухо, спрятав под шапкой. И тут, быстро перебирая кривоватыми ногами, к нему подкатил Петренко, тот самый, переведенный из «Можайского» за аморалку, но летающий лучше всех в «Травянах». Полковник доверял ему и надеялся снять взыскание, как только представится случай. Кто знает, может, слетать вторым пилотом с генерал-майором как раз и был таким случаем. Петренко успел перекинуться с Серегой парой слов о запасе горючего и обещанных «кучках»² во второй половине дня, когда к самолету подошло все начальство.

¹ Военный аэродром под Свердловском.

² Кучевые облака.

— Здравия желаю, товарищ генерал-майор авиации! — вытянулся по уставу Ковалев.

Захарченко козырнул в ответ:

— Вы готовили машину к полету?

— Так точно!

— Представьтесь!

— Бортмеханик старший лейтенант Сергей Ковалев!

И тут произошло то, что удивило-таки полковника Малышева, да и не только его: что-то изменилось в лице Захарченко. Оно вдруг смягчилось.

— А так это вы, бортмеханик Ковалев! Выношу благодарность за отличную службу!

Когда самолет с генералом уже оторвался от ВПП и взял курс на «Кольцово», Серегу, распираемого от счастья, окружили мужики. Генка Овсянников дал ему, наконец, прикурить папиросу:

— Бортмеханик Ковалев, придется вам «проставиться» по случаю вынесения благодарности высшим командованием. Я пока не понял, откуда высшее командование прознало про такого у нас бортмеханика.

Серега и сам не понял. А когда он проснулся, на тумбочке возле кровати уже стоял жбанчик с огуречным рассолом. Трубы горели.

— Ты че надрался-то так? — голос жены отозвался болью в его голове.

— Нонночка, дак я весь день туда-сюда, как белка в колесе. На холоде. Пока мотор расчихлил, отогрел, запустил, зачихлил — продуло на ветру. Потом еще ребятам помог. Продрог, знаешь как. Потом еще это ... генерал-майор мне благодарность вынес. Я ему — «Служу Советскому союзу», бумажки на взлет подготовил, расписался. Выруливание проконтролировал. Все путем, а ребята говорят, давай «проставляйся» теперь. Ну я спирта немного слил, котлетами столовскими заели. Холодными. К Ираиде в «васисдас» сгоняли, частичк в томате взяли, полбанки... две. Перебрал маленько.

Местные забыли, откуда повелось это название, но оно стойко прилепилось к сельскому ларьку, который иначе теперь никто не называл. Ассортимент там был небогатый: пшено

и поваренная соль в упаковках, сахарный песок в развес, иногда завозили сероватую муку и рыбные консервы. Покупали там главным образом хлеб, папиросы и спиртные напитки. Деревенские спасались подсобным хозяйством. Летчики затоваривались в военторге, где с продуктами было получше. В семейном общезитии у всех были свои местные «бабули», у которых можно было прикупить свеженьких огурчиков или молочка. Словом, с голоду никто не помирал. Ларьком заведовала Ираида. Женщина серьезная и ответственная.

Одним весенним утром, когда уже сошел главный снег и дороги покрылись непролазной грязью, кто-то отбил пудовый навесной замок и обокрал «васисдас». Забрали банки с консервами и спиртное, оставив на полу следы от сапог и рассыпанное пшено.

— Такого не бывало даже в войну, — расстроенная Ираида встретила на крыльце участкового уполномоченного. — Я полы еще не мыла. Погляди на следы-то. Чует мое сердце, с аэродрома это, не местные. Тут давеча ихние заходили, дак я таких раньше не видала. Голодные как волчата. Денег на две буханки наскребли и тут же есть стали. Сами грязные, черные по уши.

Участковый сразу догадался куда идти. И точно: дежурный на КПП по описанию признал прибывших в летную часть стройбатовцев.

— Дак если это ваши орлы, что ж они своим видом людей пугают? Голодные да грязные по селу гуляют?

— Да какие это орлы! — махнул рукой дежурный. — «Урюки»! И на случай, если его не поняли, пояснил: таджики.

Участковый дежурного понял, но по-своему: на дверях сельсовета и «васисдаса» появилась бумага с предупреждением: девкам не ходить по селу в одиночку.

Жалобы на голодных и грязных стройбатовцев дошли до Мальшева. Полковник расстроился. Почему, думал он, всегда найдется ложка дегтя в бочке меда? На его столе все еще лежала папочка с приказом Генерального штаба ВС СССР о расширении аэродрома «Травяны» силами строительных частей Уральского военного округа. Вот радость-то была. Спасибо Захарченке, не подвел генерал-майор, да и маршал постарался, не забыл своих.

Дело быстро закрутилось: пришли два Ту-16 из «Арамили»¹, с ними летчики-инструкторы. Полк обещали пополнить выпускниками летных училищ, аэродром расширить, обновить ВПП, хорошо бы новую — из бетона, а там бы хорошо и все две эскадрильи пересадить на Ту-шестнадцатые. И вот, на тебе. Малышев попытался вспомнить происшествия в его части за последние годы. Офицер застрелился из табельного. Ну там личное было, кажется, жена ушла. Несколько самоволок. Последняя под Новый год. Солдатик этот в тюрьме повесился. Где-то у него есть справка о деле, составленная Кошкаровым. Самое неприятное было то, что стройбатовцы Малышеву не подчинялись. У них было свое начальство. Навести там порядок он не мог. И все-таки поехал посмотреть. И посмотрел. Нельзя сказать, что полковнику не привелось видеть в жизни ничего из того, что он увидел. С жильем по всей стране было плохо. Его летчики снимали вскладчину комнаты в «Травянском», сам он только недавно получил казенную квартиру в Каменск-Уральском. Ну а здесь что: палатки, правда, с буржуйками. Летом землянок нароют, нары в два яруса поставят. Через год, может быстрее, казарму построят.

— Почему люди голодные? — Малышев схватил первого попавшегося ему офицера.

— Приписаны к гарнизонной столовой, но денег на дополнительную сотню ртов еще не выделили. Всем военнослужащим стройбата выдано денежное пособие. С голоду не помрем, товарищ полковник.

— В баню людей водили?

— Никак нет! — заморгал тот.

— Понятно. Вопрос буду решать с вашим начальством.

И ведь решил. К палаткам подогнали полевую кухню. Нашлись, стало быть, деньги. И в гарнизонной бане свободный день тоже нашелся. Девки в селе оказались не из пугливых, правда, не в одиночку, а целыми стайками повадились они навещать стройбатовцев. Подкармливали тем, что росло в огородах, хихикали о чем-то своем, девчачьем. Выяснилось, что «урюки» народ благодарный: где забор починили, где крышу отремонтировали, где погреб вырыли. А как дороги подсохли, пошли в «Травяны» грузовики со строительными материалами. И началась у аэродрома новая жизнь.

¹ Арамилль — военный аэродром под Свердловском.

А вот Нонка скучала. Жизнь жены бортмеханика была ничуть не интересней ее прежней жизни в Оренбурге. Работы в «Травянском» не было, в воинской части должностей на всех не хватало, молодухи сидели по домам, изнывая от безделья. Правда, быт их не баловал, особых удобств не было, вернее, удобств не было совсем. Спасибо, починили весной водопровод. Жить стало легче, а стало быть, веселее. Серега старался для Нонки как мог. В начале пятьдесят седьмого ему посчастливилось погасить облигаций на тысячу рублей. Он даже не раздумывал, на что их потратить: в комнате Ковалевых появилась новенькая радиолка «Дружба». Песенка о веселой Мари разлеталась по коридору общаги, заглушая рев новорожденного Коленьки Зыкова. К этой какофонии примешался стрекот швейной машинки. Первой заказчицей Нонки стала Ираида из «васисдаса». Она давно приглядела дамочку, захаживающую время от времени в ларек, но все не решалась заговорить с ней о нарядах. Весной модница сменила кроличью шубку на пальто в талию с воротником стоечкой, и Ираида не выдержала: «Пальтишко у вас знатное», — начала она, взвешивая в кульке конфеты «подушечки». Довольно быстро все прояснилось:

— Из шинели или из старья перешивать не буду, — предупредила Нонка. — Пороть не люблю, да и машинку жалко, все иглы обломаю.

— Почему старье? — обиделась Ираида. — У меня отрез новый. Суконный.

— Так приходите с отрезом. Мерку снимем, фасон подберем. Дорого не возьму.

На том и порешили.

Появление Ираиды в общежитии вызвало оживление на коммунальной кухне. Первой не справилась с любопытством Анечка Борисова, как бы невзначай заглянувшая к Ковалевым. Увидев на столе отрез, отливающий синевой под электрической лампочкой, она замерла в непродолжительном онемении. Ее восторженный щебет смутил Ираиду.

— Ань, у кого из наших журнал мод есть, не знаешь? — Нонка задумчиво рассматривала отрез.

— Дак я спрашиваю, — сорвалась та.

Снявшая телогрейку Ираида, наполнила комнату запахом пота, пропитавшим застиранный свитер, обтягивающий ее пышные формы. По всему видать, ей приходилось взвешивать не только конфеты. И в самом деле, она управлялась и с топором, и с вилами, и с лопатой, впрочем, как и все жительницы «Травянского», но женщина остается женщиной, даже если она выполняет мужскую работу. В лице Ираиды что-то дрогнуло, когда она увидела в руках Анечки журнал «Rigas Modes 1952».

— Это откуда ж такое?

— Не поверите, девки, комендантша дала посмотреть.

И посмотреть там было на что. Тоненькие, как рюмочки, дамочки в изящных туфельках на каблучках и шляпках всевозможных форм кокетливо поглядывали с уже слегка затертых журнальных страниц. На некоторых были длинные перчатки и нитки жемчуга вокруг шеек.

— Да, а где польта? Тут все наряды летние. В таких по нашей деревне ходить — только коров пугать.

Никто не спорил.

— Если это они носили пять лет назад, то что же носят сейчас? — Анечка то ли завидовала, то ли восхищалась, а может, и то и другое сразу.

У Нонны в голове происходила серьезная работа.

— В талию вам не пойдет, — приговорила она.

— Это почему же? — поджала губы Ираида.

— Рост не тот, комплекция ... не как у Гурченко, — зачем-то вставилась Анечка.

— Каждая женщина индивидуальна. Вы, Ираида, скорее, как Алла Ларионова, — спасла ситуацию портниха. — Я вам притаю сзади хлястиком на пуговицах.

— Только чтоб не болталось с боков... и с карманами.

На обсуждение фасона ушел остаток вечера. Говорились давно забытые слова из женского еще довоенного лексикона. Когда в комнату ввалился Серега, последний вариант, в общем-то, довольно незамысловатого фасона был одобрен. Дальше настало время выкровок из старых газет и примерок с подгонками. Через две недели Ираида прошла по коридору общежития в новом синем пальто с хлястиком и двубортным воротником. «Хоть на

женщину стала похожа», — фыркнула Нонка, пряча в кошелек оставленные на столе деньги. Но Ираида оказалась не просто женщиной, а женщиной благодарной.

— А я давно вас поджидаю, — сказала она Нонке, когда та появилась в «васисдасе». — Тут у меня кое-что для вас есть. В общежитие больше ходить не буду. Там Клавдия ваша шумит. Мне это ни к чему, да и вам тоже.

И правда, комендантша шумела. Промысел на дому в целях личного обогащения она допустить никак не могла. Но не могла и проследить за тем, что было в сумке у Ковалевой, когда та гордо протукала очищенными от грязи ботиками по коридору. А в сумке был кусок штапельной материи с ромашками по светло-серому фону. Откуда он оказался у Ираиды Нонку не интересовало, торговля есть торговля, но на платье его не хватало, и она опять заскучала. Соседки прибегали к ней время от времени с просьбами что-нибудь пошить, но, боясь комендантши, Нонка бралась только за мелкие заказы.

Сергея словно не замечал ее настроения. Да и где ему было заметить, жизнь кипела на аэродроме. Стали приходиться Ту-шестнадцатые, их надо было размещать и осваивать. «Травяны» расширились: строился новый ангар и бетонная ВПП.

— Засыпает за столом с котлетой в зубах, — жаловалась Нонка на кухне, но и у соседок происходило то же самое. Теперь по выходным мужики собирались не для того, чтобы выпить, а чтобы обговорить какие-то непонятные дела. Слова, долетавшие до жен, были загадочными и наполненными неизвестным им смыслом. Нонке нравилось, как звучат слова «лонжерон» и «глиссада», а когда она слышала «хвостовое оперение», в памяти ее вырисовывался индюк из детской книжки, и еще ей казалось, что она кое-что знает об «усталостной прочности». Время от времени чья-нибудь особо любознательная жена начинала приставать с расспросами, но от нее отмахивались.

Наконец, на восьмое марта, начальство разрешило посещение аэродрома женам летного состава. Грязища стояла страшная, автобус с гостями не смог близко подъехать к стоянке Ту-шестнадцатых, но серебристые громадины со скошенными крыльями смотрелись внушительно даже издали.

— Видишь, с боков два мотора, будто прилеплены к фюзеляжу? А нос, видишь, застекленный? Знаешь, как ребята зовут Ту-16? — Нонка пожала плечами. — Графин! Там в стеклянном носу штурман сидит. Помнишь, как в сказке: «Высоко сижу — далеко гляжу!» — Серега счастливо хохотнул. — С виду птичка большая, размах крыльев за тридцать метров, а летать может дальше старых Ту-четвертых, да и быстрее! И вообще, надежная по всем параметрам. Двигатель-то турбореактивный! — как будто Нонка понимала, что это такое. — А красавица! Как ты у меня. С ней, конечно, работы много, но мне ж самому интересно.

Ковалев оживленно говорил что-то еще, но странное дело, Нонна не смотрела ни на самолеты, ни на него. Она как бы ушла в себя и замкнулась в своих мыслях. Это были даже не мысли, это было чувство вины, притихшее за последнее время, но вернувшееся сейчас, когда она увидела возбужденное лицо мужа. Как хорошо, что он ничего не знает. А вдруг узнает? Кровь прихлынула к ее щекам. Сердце заколотилось так, что она услышала его торопливые толчки где-то под горлом. Ей вспомнились поджатые губы комендантши, ее усмешку, когда они столкнулись на чердачной лестнице. На Нонке была расстегнутая блузка, измятая юбка и нелепый таз в руках. Слава тебе господи, она успела развесить постиранное белье, хотя, какая разница, комендантша обо всем догадалась и так, потому что за несколько минут до Нонки по той же лестнице спустился капитан Артемьев. Нонка и сейчас помнила скрип сапог за ее спиной, руки, обхватившие ее сзади. Она ведь могла вскрикнуть, сопротивляться, вырваться из этих рук, но почему-то замерла и не только позволила ему делать с ней то, что он давно хотел сделать, но и ответила таким же прорвавшимся, давно скрываемым желанием. А когда все закончилось и надо было что-то ему сказать, на ум ничего другого не пришло, кроме дурацкой фразы: «Я и не знала, что ты дома». Наверное, ее растерзанный вид был жалок, иначе, разве бы он ответил ей со снисходительной усмешкой: «Знаешь закон Ома? Отлетал — и дома». Нонке стало понастоящему страшно. Теперь ее жизнь могла мгновенно разрушиться. Не то чтобы Артемьев был болтуном, но похвастаться ему хотелось, и где-то по пьянке он сболтнул-таки, что отымел

Ковалеву на чердаке, не снимая сапог. Мужики промолчали, не хотели расстраивать Сергея, мол, пусть разбираются сами, но комендантша при первой же возможности донесла свои наблюдения Зыкову. Тот заволновался: самолеты, на которых летал Артемьев готовила бригада Ковалева. Кто его знает, что Сергею взбредет на ум... Да и в штопор мог уйти, а время для этого самое неподходящее. Не долго раздумывая, Зыков побежал к Малышеву. Там и порешили от греха подальше предложить Артемьеву поучиться на командира, мол, тебе ж, наверное, надоело «правым летчиком» летать на новой машине. Тот согласился и, к большому облегчению замполита, к концу весны перевелся в другую летную часть.

У полковника Малышева и без Зыкова дел было невпроворот. В его сейфе лежал пакет с приказом Министерства обороны о проведении летно-тактических учений личного состава аэродромов дальней авиации Уральского военного округа. К этим учениям он должен был подготовить свой полк. Уже к весне все экипажи отлетали на Ту-шестнадцатых положенные дневные и ночные часы. Оставалось освоить боевое применение и дозаправку в воздухе. За боевое применение, а проще — бомбометание, у Малышева душа не болела. Для экипажей его полка это дело было рутинной работой бомберов, а вот крыльевая дозаправка не давала ему покоя. Из засекреченной информации, связанной с крушениями самолета Ту-16, он знал, что больше всего аварий приходилось на эту самую дозаправку «из крыла в крыло». Инструкции по применению были выучены и сданы экипажами, но «суха, мой друг, теория...» — крутился в голове Малышева обрывок фразы, слышанный когда-то по радио. Короче, в «Травянах» ждали обещанный самолет-танкер. Если бы кому-нибудь взбрело в голову спросить, чего полковнику хочется больше всего, он не задумываясь бы ответил: самому освоить дозаправку в воздухе и научить этому сложному делу как можно больше летчиков. А дело было и вправду сложное. Уже одно сближение в воздухе двух птичек весом по семьдесят тонн, да еще на скорости пятьсот километров в час, да еще в зоне турбулентности, было опасно. Вот полковник и ставил в плановую таблицу снова и снова полеты в строю с дистанцией три-шесть метров между крыльями двух самолетов и превышением три-пять метров. За долгие годы соседства в поселке при-

выкли к шуму аэродрома и проносящимся над головами самолетами, но происходящий у всех на виду танец «парами» в воздухе заинтересовал самых нелюбопытных. «Чевой-то разлетались так?» — спрашивали бабки своих постояльцев-летчиков. — Уж не к войне ли?» На вопрос этот ответа не следовало никогда, в лучшем случае — улыбка с заговорщицким подмигиванием, мол, военная тайна, бабуля, разглашать никак не можем.

Настоящая работа началась, когда из Куйбышева пришел Ту-16 заправщик. В свою первую сцепку Малышев полетел с экипажем капитана Петренко, который сел правым летчиком. Петренко был опытным асом, но в случае неудачи полковник хотел взять ответственность на себя. «Почему неудача? Это неправильный настрой», — думал Малышев, пытаясь унять волнение. А волновался он потому, что в сцепке целиком зависел от другого члена экипажа — от кормового стрелка¹ прапорщика Еремина, сидящего в задней кабине самолета. Над его длинными усами подсмеивался весь полк, мол, они у тебя свисают из-под кислородной маски или ты их туда укладываешь? Еремину разрешили носить усы не по уставу за лучшие в полку показатели в стрельбе. Он-то и должен был стать «глазами» Малышева, которому из передней кабины «ни х-я не видно», что в переводе означало «отсутствие видимости и контроля над сцепкой стреловидного крыла». Выстроив экипаж перед полетом, полковник не стал говорить казенные слова. Сейчас не инструкция решала успех задания, а обыкновенный человеческий контакт.

— Ну что, отработаем дозаправку по всем правилам высшего пилотажа? — Малышев выжидательно посмотрел на Еремина.

— Так точно, товарищ полковник, отработаем как надо, — козырнул Еремин.

И отработали.

Получив разрешение на взлет, Малышев поднял корабль в воздух. С погодой повезло: ясное небо, умеренный ветер. Всегда бы так. Уже через десять минут полета штурман доложил: «Заправщик прямо по курсу». Малышев по инструкции встал в строй дозаправки сзади-справа от танкера. Две махины сравняли скорости.

¹ Кормовой стрелок или КОУ — Командир огневых установок, главный защитник бомбардировщика от атак истребителей.

— Приготовиться к работе!

— Вижу аж заклепки на фюзеляже заправщика. Маленько потряхивает, — это Петренко решил слегка разрядить обстановку. — Еремин, ты там усы жуешь или уснул?

Еремин не уснул. Он ждал, когда заправщик выпустит шланг. Секунды. Шланг пошел.

— Левее, еще левее. Не так резко. Назад! Стоп! Есть соединение! — на удивление спокойно командовал Еремин. — Шланг дотянулся. Наложить крыло на шланг. Отлично, товарищ полковник! Крыло на шланге. Выпустить захват. Шланг в захвате!

Работая вслепую пятнадцать минут, Малышев взмок под шлемофоном, пот струился по его лицу, разъедал глаза. После удачной сцепки он смог перевести дух. Дальше работала команда заправщика. Горючего отлили немного. На тренировочную заправку была очередь.

— Что так запотели, товарищ полковник? — в голосе Петренко слышалась легкая насмешка.

— Запотеешь тут. Я на тебя посмотрю на ночной сцепке. Штурвал возьми.

Петренко с Ереминым отработали расцеп и отход.

После этой дозаправки Малышев всегда брал в экипаж Еремину, а Петренко на первой же ночной сцепке не повезло: оборвался шланг.

Официантка гарнизонной столовки убрала пустые тарелки (отличный был борщ сегодня, Катя), перекинулась с полковником еще парой слов и принесла ему компот с коржиком. У Малышева до встречи с комэской оставалось полчаса, достаточно, чтобы собраться с мыслями, да и передохнуть немного. Он любил такие передышки в суматохе последних недель. «Так... отдохнуть не получится, — досадно поморщился Малышев, увидев, спешащего к его столику Кошкарова, — не иначе, как гадость какую-нибудь несет».

И точно. Кратко поздоровавшись, особист перешел к делу:

— У тебя, Малышев, в полку был обрыв шланга во время дозаправки в воздухе. Почему я не вижу докладной по этому происшествию?

— Какое ж это происшествие? Петренко выполнял ночью самый сложный маневр, допустил ошибку. На то у нас и тренировка, чтобы учиться на ошибках и не повторять их на плановых. Не вижу инцидента, — полковник с досадой выплюнул сливовую косточку, звякнувшую о блюдце. — Хорошо, что я успел пообедать до твоего прихода.

— У Петренко уже есть перевод за аморалку, а ты его покрываешь. Может, у него были намерения навредить, нанести, так сказать, урон, — не унимался Кошкаров.

— Иди ты... борщика поешь, а мне некогда тут с тобой... беседы разговаривать ...

Кошкаров проводил глазами удаляющуюся спину Малышева. «Распустил полковник подчиненных, ох, выпустил. А сам-то? Беседы разговаривать... Побеседовал бы я с тобой, лет так десять назад. Тебя ж над территорией врагов сколько раз сбивали? А ты пишешь «в плену не был». Уж я б тобой занялся! Скажи спасибо время сейчас такое — неопределенное! Переждать надо». Борщика Кошкаров таки поел, впрочем, выбора у него не было по причине скудности столовского меню.

«И что привязался? — в раздражении думал Малышев. — Петренко мог разбиться со всем экипажем, выполняя сцепку в темноте. У них там КОУ заправщика не смог лампой осветить всю длину шланга. Кто тут виноват? Работа такая. Опасная. Что эта крыса знает о полетах, о риске, и вообще, о жизни летчиков?» Бросившему курить Малышеву, захотелось затянуться раз другой папиросой. Еще хотелось поговорить с кем-нибудь из своих. Вспомнился Захарченко. «Травяны» своим существованием во многом были обязаны ему. Что там в Москве? Время и впрямь было неопределенное. Думая обо всем этом, полковник не знал, что ему предстоит еще одна встреча с генерал-майором. На этот раз неожиданная, да и не совсем встреча.

В то июньское утро Малышева подняли ни свет ни заря. Голос дежурного в трубке выдавал некоторое волнение:

— Только что звонили по ВЧ¹. Распоряжение министра обороны принять прилетевший Ту-16 и без задержки отправить в Москву.

¹ ВЧ — правительственная и военная связь в СССР.

Встревоженный Малышев кинулся в «Травяны». На КПП его остановили незнакомые люди и потребовали предъявить пропуск. Неужели арест? Нет, что-то другое:

— Товарищ полковник, нужно ваше содействие.

— В чем дело?

— Пройдите с нами.

За КПП какие-то люди в штатском стояли возле правительственного «Зиса». Малышев не увидел никого из своих. Вдалеке маячило бледное лицо Кошкарова. Было в этом что-то зловещее. Человек в гражданском, тоном, не допускающим возражения, сказал, как рубанул Малышеву:

— Вы отвечаете за посадку и незамедлительную отправку самолета из Москвы.

На СКП притихли, когда там появился Малышев в сопровождении двух гэбистов. В воздухе полковнику случалось бывать во многих сложных ситуациях, там от его решений зависело много, если не все, здесь же происходило что-то важное, но от него совершенно не зависящее. «Продолжаем работу!» — всё, что он сказал диспетчерам, да и ничего другого сказать не мог. Напряжение немного спало, когда знакомый голос генерал-майора Захарченко запросил посадку для своего борта. Захарченко узнал полковника, но поприветствовал его довольно сухо. Через сорок минут тот же Ту-шестнадцатый взмыл в воздух с пассажиром на борту.

Пассажира этого кое-кому удалось разглядеть. Им оказался полный человек в шляпе и мятых брюках с туго набитым портфелем в руках. Его подвезли в «Зисе» прямо к самолету и помогли забраться по лестнке в люк верхнего стрелка.

— С виду начальник, а литерного ему не дали, — кумекали мужики в курилке общежития. Те, что постарше, говорили, что из Москвы ему уже не вернуться, хотя сейчас с этим стало полегче, молодых распирало любопытство. Почему отправка сопровождалась такой секретностью, не знал никто. Покурили, перетерли новости и разошлись по комнатам для обычного своего ночного дела. Одному Ковалеву не спалось. Дождавшись, когда Нонка тихонько засопела носом, он прильнул к новенькой «Дружбе», вылавливая враждебные голоса. И хотя глушили их со страшной силой, кое-что смог разобрать. Скорее всего, мужчина в шляпе был

таки большой партийной шишкой и в Москву летел на пленум ЦК. Еще голоса поведали о недоверии Коммунистической партии первому секретарю Хрущеву, а кто не доверял, Серега так и не понял. Кажется, Молотов с Маленковым. Потом донеслись другие фамилии, которые были у всех на слуху с детства: Ворошилов, Каганович. «Ну все, конец Хрущу», — Серега выключил «голоса» и завалился спать.

На следующее утро Кошкарров еле дождался доставки почты. «Так-так-так, — зашелестел он газетами. Сначала центральными, потом областными. — Ничего! Хотя вот: “Заседание Президиума Совета Министров СССР с обсуждением о праздновании двухсотпятидесятилетия провозглашения Ленинграда столицей”. Как же! — не поверил Кошкарров. — Больше обсуждать им нечего!» Нет, там в Москве происходило что-то важное. «Уж не поперли ли Никиту или еще кого. А кого? — ломал он голову. — Что ж, дождемся новостей, авось недолго осталось».

К середине июня уральская земля прогрелась, непролазная грязь просохла. Аэродром покрылся одуванчиками, в канавах за ангарами выросли лопухи. Зеленая травка вылезла и перед входом в общагу. В ясные дни молодые мамыши устраивались на расстеленных одеялах, подставляя своих младенцев под ласку солнечных лучей. В небе над ними стоял несмолкаемый самолетный гул. До летно-тактических учений оставался месяц. Сетка дневных и ночных полетов была загружена до предела. У Малышева не выходила из головы странная отправка человека в гражданском. Кое-что он понимал: самолет доверили не простому летчику, а генерал-майору Захарченко, преданность которого Жукову была известна. Человек в штатском был местным, пусть областным партийцем. В Москву полетел срочно и секретно. Что все это означало? За себя Малышев не волновался. После войны его отправили служить в захолустный Уральский военный округ, где наград и званий он не нахватал, зато подчиненные его любили. Была в нем черта, известная многим его сослуживцам: забота о людях. В случае отставки Малышев с женой-учительницей спокойно мог прожить на пенсию полковника в закрепленной казенной квартире, но душа его болела за «Травяны», которые только-только из учебного аэродрома стали превращаться в аэ-

родром дальней авиации. Ему, как и Кошкарову, ничего не оставалось, кроме ожидания перемен, но в отличие от особиста, он мог заниматься делом. Впрочем, «дела» были и у того.

Кусочки сала так шипели на раскаленной сковородке, что Нонке были неслышны слова Левитана о пленуме ЦК КПСС, да она особенно и не прислушивалась, следя за растекающейся яичницей. Вчера яичница подгорела, Серега оставил скукожившийся кусок на тарелке, и Нонке была неприятна собственная нерадивость. Полеты начинались рано утром и механикам приходилось засветло выезжать на аэродром. Вставшие спозаранку жены копошились на кухне, наполняя ее запахом дешевой еды вперемешку с вонью керогазов и детских пеленок. На этот раз яичница удалась, Нонка подхватила сковородку полотенцем и, старательно обходя крутившуюся под ногами мелюзгу, направилась в свою комнату. К ее удивлению, Серега в одних трусах и майке сидел у приемника, из которого сквозь потрескивание доносился незнакомый голос.

— Сереж, ну ты что? Так и будешь сидеть? Опоздаешь ведь...

Серега прижал палец к губам, мол, молчи и не мешай. Нонка надулась и ушла на кухню, а там за соседским столиком Тоня Зыкова, помешивая манную кашку в ковшике для Коленьки, мельком взглянула на Нонку.

— Чего такая невеселая с утра?

— Дак моего все от приемника не оторвать. Опоздает на автобус, на попутках гнаться потом будет. Вот замполит наподдает ему опять.

— Не наподдает. Зыков сам с утра в газету сидит уткнувшись. Пленум у них в Москве, Левитан с утра говорил. Не слыхала?

И она как могла просветила Нонку и всех примкнувших к ним на кухне о последних событиях в столице родины. За утренней суматохой никто не обратил внимания на комендантшу, постоявшую в дверях и исчезнувшую в миг, как злой дух из сказки.

Вот и Кошкарову подали, наконец, сигнал. Для таких как он неопределенность была хуже всего, а тут, дело ясное — пленум ЦК КПСС, осудивший антипартийную группу. Сцепились, значит, бульдоги под ковром. Взятась старая гвардия за разоблачителя культа личности. Слова-то какие! И кто его надоумил только?

Ведь с виду дурак дураком. Ты себя разоблачай, умник! Просидевший всю войну в СМЕРШЕ далеко от линии фронта, Кошкарлов всегда не только следовал за линией партии (а кто не следовал?), но и старался предугадать ее направление, идти, так сказать, с опережением графика. Сейчас он кожей затылка чувствовал опасность от надвигающихся перемен. Хотя что ему могут сделать? Любоедов больше нет. Ну, уволят в запас. Этих-то даже не арестовали. Он снова и снова перебирал известные всей стране имена: Молотов, Маленков, Каганович и примкнувший к ним Шепилов. Со стариками понятно, прошлое у них было тревожное: из соратников разом маханули в пособники, а Шепилов-то что? Он же из «молодых». Зачем «примыкал» на свою голову? Хрущев-то вывернулся, как и с Берия, перехитрил старых партийцев. Многоходовочка, видать, там сложная была. Снова Жукова перетянул на свою сторону. За Жуковым армия, сила. На пленуме речь Георгий Константинович сказал хорошую. Зачитаешься. Устроил разнос старикам, нажил себе врагов (не иначе как весь ЦК), не дал им сожрать Первого, а ведь по-другому дело могло обернуться, совсем по-другому. Что же маршал получил взамен? Как что? «Дурак я дурак, — думал Кошкарлов. — Власть он получил. А как же Никита? Никита же Первым остался. Ну долго эти кабаны мирно не уживутся». И Кошкарлов вместо опережения графика затих в ожидании указаний от вышестоящего начальства.

Уж таким человеком был Ковалев, что не мог долго хранить что-либо в себе. Прав был тот, кто называл его болтуном. А болтун, как известно, находка для шпиона. Шпиона в курилке общаги не нашлось, но нашелся стукач, и жизнь Сереги скоро примет интересный поворот, о котором он еще сам не знает, рассказывая мужикам про то, кем был загадочный человек в штатском, улетевший на военном самолете в Москву.

— Кадр это Хрущевский был. Хрущев своих-то уже успел наткаться по местам, а в центре старая гвардия окопалась, которая скинуть его хотела. Никита всех перехитрил.

Мужики слушали: и с чего это Ковалев такой умный стал?

— А самолеты тушки-шестнадцатые маршал дал, чтобы кадры эти хрущевские быстро доставить в Москву прямо на пле-

нум, и там за Никиту проголосовать. Видали, операция какая была? А мы тут ничего не знали, — он победно оглядел задумавшийся контингент.

К его удивлению, бурного обсуждения изложенной информации не последовало. Вместо этого в курилке заговорили о рыбалке, грибах и прочих маленьких радостях жизни, не имеющих никакого отношения к Серegiной болтовне. А когда все разошлись, Генка Овсянников тихо сказал:

— Ну че ты треплешь? Голова у тебя есть или все продуло?

Вопрос был, конечно, правильный.

Дощатый длинный стол под брезентовым навесом был уставлен бутылками с коньяком и столичной водкой. Официантки в фартучках и пришпиленных к волосам наколках разносили закуску из свежих овощей и заправку: квас в жбанчиках, минеральную воду «Боржоми» в бутылках. Легкий ветерок нес запах гари с полигона вперемежку с запахом шашлычка, жарившегося на мангале. Комиссия штаба Уральского военного округа отмечала успешное окончание летно-тактических учений в засекреченном месте. Представительные мужчины в погонах с большими звездами и звездами помельче расстегнули воротники на форменных рубашках, послабили ремни на животах. Настроение у всех было отличное.

Доволен был и Малышев. Его полк справился со всеми заданиями: с высокой точностью накрыл бетонными бомбами выстроенные на полигоне искусственные мишени, продемонстрировал навыки заправки в воздухе в дневное и ночное время, успешно взаимодействовал с эскадрой истребителей, правда, тут не обошлось без инцидента: один из Мигов подошел слишком близко к бомбардировщику и, попав в струю его двигателей, повалился в штопор, к счастью, летчик смог вывести машину в нормальный полет. Малышев, конечно, выпил одну-другую рюмку за родную авиацию да за здоровье маршала Жукова. Язык у него развязался, как и у его соседей за столом.

— А молодцы твои орлы, ничего не скажешь, — начал сидевший справа от него человек с большими звездами на погонах. — У тебя ж в «Травянах» грунтовая, да?

— Бетонку обещают ввести в эксплуатацию через год, — слегка напрягся Малышев.

— Я и говорю, молодцы. Грамотно здесь на бетонной ВПП отработали, — потянулся к закуске человек с большими звездами на погонах.

Малышев кивнул. Знали бы они, чего ему это стоило. Хотя все, с погонами поменьше, сидящие сейчас за этим столом, вполне бы поняли то, о чем он сейчас думал. От результатов этих учений зависела судьба Уральского округа. Так что готовились все.

Выпили еще.

— Ну, а новую модель шестнадцатого с подвесными ракетами освоишь? Сейчас заканчиваются испытания. Скоро пойдут в серию.

— Не сомневайтесь, товарищ генерал-полковник. Не подведу!

Ничего другого он и не мог ответить, потому что вся его жизнь, все мысли и желания были направлены только на одно: не подвести, оправдать доверие. Спросите его, чье? И он ответит без колебаний: родной партии. Но в родной партии после смерти вождя происходили важные перемены, и тут надо было держать ухо востро. Вот как будто у Маршала с Первым наметилось взаимопонимание по очень интересующему Малышева вопросу. С чего он так решил? Да с того, что его сосед с большими звездами на погонах сказал довольно громко:

— Будем создавать и у вас на Урале истребительно-бомбардировочную авиацию, пора всем переходить на сверхзвуковые скорости с учетом применения тактического ядерного оружия.

Не выпить за такое было нельзя. Значит, выпили еще. Ну, а когда уже столько выпито, языки не то, чтобы развязываются, но говорить становится как бы проще. Хотя почему «как бы»?

— Так что, товарищ генерал, за кем будущее? За баллистическими ракетами или за стратегическими бомбардировщиками? — не сдержал то ли любопытства, то ли волнения, то ли просто решил воспользоваться моментом кто-то.

— Работа ведется в двух направлениях, — сказал, как отрезал человек с большими звездами на погонах.

Стало понятно, что больше вопросов ни у кого не найдется. Вопросы сами собой куда-то затерялись.

Нонка в комбинашке и в бигуди строчила на машинке новый наряд. В комнате было жарко. Воздух плохо проходил через марлю, прибитую к раме, хотя единственное окно и было раскрыто настежь. Из приемника тихо журчала песня «Если бы парни всей Земли». В Москве вторую неделю шел всемирный фестиваль молодежи и студентов. Общежитие опустело, летчики отбыли на учения, их жены скучали. Вечерами они отправлялись то в клуб поглядеть последнюю кинохронику, то в Красный уголок, где новенький «Рекорд» показывал улыбающихся молодых людей непривычного для советского человека вида. Нонка жадно всматривалась в черно-белое изображение. Никаких особых красавиц рассмотреть ей не удалось, зато она сразу заметила то, во что были одеты девушки, прибывшие в Москву со всего света праздновать свою молодость и счастье. А одеты они были в юбки, плотно обхватывающие худенькие талии и расширяющиеся книзу. Нонка даже узнала название этих юбок-шестиклинок: солнце-клеш! Мысль ее лихорадочно заработала. Не случайно в чемодане под кроватью с весны томился кусок штапельной материи, подаренный благодарной Ираидой. Работа закипела в истосковавшихся по прекрасному рукам портнихи. Уже через час после посетившего ее озарения на полу распласталась выкройка из газеты в виде круга с дырой посередине равной обхвату Нонкиной талии. Дальше в комнате вдохновенно застучала швейная машинка, но уже к утру обнаружилась почти катастрофа: у Нонки не было подходящей блузки. Она с трудом дотянула до открытия «васисдаса». Все та же Ираида не совсем бескорыстно, а за обещание бесплатного пошива летнего платья, прониклась идеей помощи ближнему.

— Есть черный сатин, — сказала она, дождавшись, когда из магазина уйдет бабка с вязанкой купленных сушек. И зачем-то добавила, должно быть, для большей убедительности. — Шикарная материя.

С пошивом блузки из черного сатина повторилась история очень схожая с историей пошива юбки солнце-клеш, ибо труд портнихи однообразен: крои, строчи и примеряй.

И вот теперь, когда все было кончено, в трюмо, купленное Серегой в комиссионном магазине, смотрелась красавица в черной, облегающей налитое тело блузке с глубоким выре-

зом, и в штапельной юбке солнце-клевш с ромашками, раскиданными по серому фону. Нитка искусственного белого жемчуга подошла сюда как нельзя кстати.

Анечка Борисова стойко вынесла вид этой красоты, хотя Нонка и уловила налет зависти в глазах подруги.

— Хочешь и тебе такую пошью? — очень своевременно спросила она.

Ответ был известен заранее. В военторге подходящей на летнюю юбку материи не нашлось. Ничего другого не оставалось, как ехать в Каменск-Уральский.

В первую же субботу Нонка в обновках и скромно смотревшаяся рядом с ней подружка отправились в город на автобусе. Народу набилось много, было душно, черная блузка промокла подмышками от пота. Несмотря на тесноту, кое-кто успел отреагировать на праздничную красоту Ковалевой.

— Расфуфырилась! — прошипела тетка, сидящая с корзиной на коленях у прохода. — Я всю жизнь в одном ситце проходила, троих детей вырастила, а куда эта вертихвостка едет? На гулянки?

— А куда еще-то? Конечно, на гулянки! — задиристо ответила Нонка.

Кто-то из мужиков придвинулся к ней поближе, и, потеревшись как бы невзначай об ее спину, уперся выделившейся частью тела в ее зад.

— А ну, схлынь! — Нонка оттолкнула его что было силы.

Заробев, мужик слегка отступил, на его место, гневно сверкнув глазами, втиснулась Анечка. До города доехали без приключений. На автобусной станции приезжие разбрелись кто куда. В универмаге давали китайские термосы. Очередь стояла в несколько рядов. Пробившись через толпу, подруги добрались до секции «Ткани». Здесь пахло пылью и затхлостью.

— У нас в военторге и то ассортимент богаче, — Анечка разочарованно пробежала глазами по рулонам зимних отрезков скучных цветов. Нонка решила не сдаваться.

— А повеселей у вас ничего не найдется?

Лысый продавец в нарукавниках и с карандашом за ухом заулыбался надвигающейся на него красавице.

— А что вас, гражданочка, конкретно интересует?

Получив подробное описание Нонкиных интересов, он задумчиво пожевал оттопыренными губами.

— Есть тут у меня кое-что. Остался кусок, очень даже веселенький, — и он вытащил из-под прилавка скромный рулончик крепдешиновой ткани в горошек, любовно расправив его руками, на которых не хватало пальцев.

— Товар дефицитный, сами понимаете, могу отмерить только два метра.

— Нам хватит, — кивнула Ковалева, словно смилостивившаяся королева.

Она проследила за движениями продавца, ловко наматывающего материю на деревянную метровую линейку. Справился он и с ножницами, отрезав с легким лязгом отмеренный кусок. Счастливая Анечка побежала платить в кассу, а продавец так же умело завернул отрезик в скромный пакет и туго перевязал шпагатом. Ему хотелось задержать подольше покупательницу, скрасившую его унылый рабочий день, Нонка же принялась делать то, что у нее получалось лучше всего: кокетничать. И, как всегда, даже этот лысый и невзрачный с виду человек попал под ее обаяние. Пока Анечка стояла в длинной очереди в кассу, выяснилось, что Николай Николаевич (так звали продавца), бывший сапер, давно свыкся со своей скучной работой: «А куда еще возьмут с такими клешнями? В универмаге народ хороший, относятся ко мне с уважением». Нонка рассказала о своем одноногом отчине и уже принялась описывать гул самолетов над селом, когда, наконец, влетела ее подружка с чеком в руках. В отделе «Ткани», где кроме них так и не появилось ни одного покупателя, больше нечего было делать. И тут Николай Николаевич снова полез под прилавок и достал оттуда новехонький термос. Китайский. На один литр.

— Вашему мужу он больше пригодится, чем мне. Подарить не могу, но продам по цене, за которую купил.

Нонка рассыпалась в благодарностях. Маленькая дамская сумочка, которую она носила подмышкой, не была рассчитана на покупки, но практичная модница прятала в ней авоську. Может, коробка с термосом в авоське и не придавала особой элегантности юбке солнце-клеш, но кому какое до этого дело, когда все так удачно складывалось в ту летнюю субботу.

Каменск-Уральский — крошечная точка на карте, о которой не все даже знают, но в любом случае этот городишко больше Аничкиной родной деревни, не обозначенной нигде. Огоньки больших городов она видела только из окна поезда, примчавшего ее из Саратовского края на Урал.

— И чего мы все в «Травянском» сидим? — возбужденно таторила она, повиснув на руке подруги. — Куда пойдём-то?

Спрашивать не надо, ноги сами понесут в центральный парк, разбитый в любом мало-мальски населенном пункте бескрайней родины. Вот и в Каменске, назовем так город для краткости, нашлось такое место с белыми деревянными скамейками, круглой клумбой, засаженной анютиными глазками, кустами акации, гипсовыми фигурами пограничника с собакой, всегда готовой пионерки и спортсменов в союзе с рабочими и крестьянками. По выходным дням здесь играет духовой оркестр, работает «Павильон кривых зеркал» и крутятся карусели. А качели? Эти подлетающие к небу остроносые лодочки! Нонкина юбка разлеталась вокруг ее ног, выставляя на показ упругие икры и незагорелые белые ляжки. Потом еще «Колесо смеха» и очередь в кафе «Льдинка», а вот и счастье: три разноцветных шарика мороженого, обильно политого клубничным сиропом со стаканом газировки. К семи часам стало темнеть, на дорожках зажглись фонари. Подружки заспешили на автобусную станцию. На выходе из парка, по зловонию, приглушенному запахом хлорки, они нашли домик с двумя заветными буквами. Нонка пошла туда первой, оставив Анечку ждать снаружи с термосом в авоське и сумочкой. На входе она остановилась в нерешительности: обе дырки в смердящую тьму были загажены настолько, что нужно было еще найти место, куда поставить ногу. И эти несколько минут спасли ее, потому что вслед за ней в уборную ввалился мужик. Нонка сопротивлялась молча и отчаянно. Крик замер у нее в горле. Мужик успел повалить ее на дощатый пол и задрать юбку, когда на него с истошным воплем налетела Анечка, молотя его термосом в авоське по голове и спине. Нонке удалось вывернуться из-под мужика и вцепиться в его рубашку, с треском разорвавшуюся в ее руках, мужик вырвался и убежал. Анечка погналась было за ним, но того и след простыл. Смотреть на Нонку было страш-

но. Ее бледное, словно обсыпанное мукой лицо, странно выделялось в сумерках. Она жалко улыбнулась Анечке, пытаясь справиться с ознобом.

— Как же я так пойду? Да и куда идти в таком виде?

Вид и правда был неприглядный: разорванная измызганная одежда, ссадины на лице и руках.

— Как куда? В милицию пойдем. Там на выходе из парка отделение есть. Заявим на урода этого. Я, знаешь, че подумала? Не тот ли это мужик из автобуса, который к тебе прижимался? Точно не скажу, не успела разглядеть. Дак, он че, целый день за нами блындал?

— А я и вовсе его не разглядела, только вонь перегарную запомнила, — одернув юбку, Нонка вышла из уборной на дрожжащих ногах. — Не могу идти, — она села на скамейку и закрыла лицо руками.

— Ну и чего сидеть тут? Пошли давай.

И Анечка довела ее до отделения милиции, где гражданка Ковалева написала заявление с изложением всех подробностей нападения. В тот злополучный день нашлись и добрые люди. Уборщица в милиции, увидев Нонку, всплеснула руками и принесла ей свой синий служебный халат, в котором, должно быть, не один год мыла полы в отделении.

— Ниче! Халат старенький, да чистый! Переоденься, девонька!

Автобусы в «Травянское» уже не ходили, и старшина на муниципальной газике отвез подружек домой. Комендантша, впус-тившая их в общагу, хотела было высказаться про поздние возвращения, но, увидев Нонку, только и сказала, что теплой воды в душевой ей в самый раз осталось, бойлер еще не остыл.

— Это надо ж, — фыркнула Анечка, — чтоб в крокодилах просыпалось что-то человеческое, — и добавила с лукавой улыбкой, — а термос-то в авоське как пригодился!

Кошкарров с недовольным видом читал приказ Командующего штабом Уральского военного округа о награждении полка денежной премией в размере двадцати семи тысяч рублей за успешное выполнение планов боевой подготовки в ходе проведения летно-тактических учений личного состава аэродрома «Травяны». Казалось бы, чем плохо, твой полк успешно провел

учения, заслуженно был награжден, радуйся. Но не таким человеком был Александр Николаевич, чтобы радоваться не своим успехам. Особисты не получили из обозначенной суммы ни копейки, зато полковнику Малышеву отдельным приказом дали тысячу рублей премиальных. Комэскам — по пятьсот. Завидно? Да. Только в этом Кошкаров никогда бы не признался, даже себе. Он нашел бы любые причины допущенной несправедливости. «Разве Особый отдел не вносит свой вклад в работу полка?» — спрашивал он себя. И отвечал: «Вносит! Причем, решающий! Потому что без высокого морального духа и партийного долга ни один летчик боевого задания не выполнит!» И с этой глубокой уверенностью он перебирал последние сигналы, а вернее — доносы о неблагонадежности, попавшие на его стол. Вот, к примеру, рапорт на капитана Зыкова, из-за халатности которого на гауптвахте повесился рядовой Садыков. Не успели передать дело в комендатуру. Чей недосмотр? Кошкаров припомнил этот инцидент, случившийся в начале года, перечитал рапорт самого Зыкова, составленный довольно грамотно. «Разбираться с замполитом не перспективно, — подумал он, — да и что это даст? Нет, надо копать под Малышева». Кто ищет, тот всегда найдет. Если лавочник Шлиман откопал Трою, то майор Кошкаров откопал донос на Сергея Ковалева, который был замечен в прослушивании враждебных голосов и агитационной работе в коллективе авиационной части. «Вот это то, что надо!» — обрадовался Кошкаров.

Ковалев вернулся с учений обгорелый, с траурной черной каймой под ногтями. К удивлению Сереги, жена не обратила внимания на его грязную спецовку, воняющую тавотом, и не погнала мыться в душ. Она выглядела непривычно тихой. «Не рада мне, что ли?» — удивился Ковалев. Он стянул сапоги и босиком в одних галифе, с перекинутым через плечо полотенцем, пошел в душевую. И уже там Борисов пересказал Сереге то, что ему успела нашептать Анечка.

— Так вот оно что, а я смотрю, она мрачная такая, на себя не похожая, — только и сказал Серега.

Дома он повел себя как ни в чем не бывало: выпил налитую по случаю возвращения стопку, навалился на борщ и, хлюпая

ложкой, принялся рассказывать байки из летной жизни техсостава. Нонка потихоньку отошла, заулыбалась, а когда Серега вытащил из чемоданчика наградные настольные часы, всплеснула руками и так похорошела, что ему оставалась только залюбоваться вернувшейся красотой жены. А ночью, когда их тела, наконец, разлиплись и, пролившая море злых слез, Нонка уснула, он испытал к ней такую нежность, которую не испытывал до этого никогда.

При первой же возможности Ковалев отправился в Каменск-Уральский, нашел нужное отделение милиции и переговорил со следователем. Ничего определенного тот сказать не мог, подробного описания преступника в деле не было. Закрыв тоненькую папку с заявлением гражданки Ковалевой, следователь с сочувствием поглядел на Сергея:

— Кое-какие меры мы приняли: усилили наряды дружинников в парке, а если кого словим за таким занятием, непременно вашу жену вызовем на опознание.

На том и порешили. Сергей вышел из отделения с тяжелым сердцем. В Каменске ему было нечего делать. Он равнодушно оглядел полупустую улицу с неторопливыми прохожими, проползающий мимо грузовик, мужчину на велосипеде со скрипучими педалями. Захотелось домой, на аэродром, в шум и привычную суету. Небо вдруг нахмурилось, из набежавшей тучи хлынул ливень. Серега припустил в сторону автобусной станции, но быстро промок и влетел в раскрытую дверь железнодорожной кассы. И там, словно осененный каким-то внезапным озарением, отстояв небольшую очередь, купил два билета до Ленинграда с пересадкой в Москве. Озарение-озарением, но отпуск ему полагался в сентябре. Просить о внеочередном можно было только Сан Саныча. Зыков посопел, уставясь на нахала, коротко задумался и махнул рукой:

— Пиши заявление на внеочередной по семейным обстоятельствам.

С таким заявлением можно было идти только к полковнику.

Зыков пробился к вечно занятому Малышеву. Тот бегло взглянул на лист бумаги.

— Ну и что у него там за семейные обстоятельства?

— Жена у него, понимаете... — Зыков вкратце пересказал инцидент с Нонкой. — Сама не своя после этого, — тут он для убедительности немного преувеличил состояние потерпевшей.

— Подожди! Ковалева! С нею уже была какая-то история. Зимой, кажется.

— Что поделать, красивая женщина, — вздохнул замполит, — украшение нашего полка, да и сам Ковалев парень хоть куда, награжден настольными часами за лучшие показатели в стрельбе из табельного оружия.

Неизвестно, какой довод больше убедил Малышева, скорее всего, он просто был в хорошем настроении, но, так или иначе, Ковалев получил внеочередной отпуск.

И вот Нонка уже снова в поезде. Кто знает, может, в том, который проносился ночью мимо Оренбурга и был виден из ее окна. Ну, хорошо, пусть другой, но все равно, уносящий ее через полстраны к прекрасному городу с фонтанами и мостами. И пусть мчится она туда не навсегда, а всего на месяц, но не к чужим же людям, а к матери своего мужа, умеет же она нравиться людям, так неужели свекровь ее не полюбит, не примет и не позовет доживать с невесткой остаток своей жизни.

Если и не такие мысли кружили в голове Нонки, то очень похоже. В вагоне было душно, из открытых окон несло гарью и копоть. В соседнем купе надрывался младенец, Серега уходил куда-то поиграть «в подкидного» или «забить козла». На остановках он выбегал на станцию и приносил жене то свеженьких огурчиков, то ягод в кульках, то журналы с газетами. Скучающая Нонка наткнулась на «Туманность Андромеды» в «Технике молодежи» и зачиталась отрывком романа, попавшего к ней без начала и конца. Сосед по купе угрюмо не поддавался на ее приветливость и молча просидел всю дорогу до Москвы. Он отказывался от предложенных угощений, ходил раз в день в вагон-ресторан, принес оттуда две бутылки «Боржома», поставил их на столик, да так и не открыл. Правда, перекуривал с Ковалевым и, похоже, даже что-то с ним обсуждал. Любопытство жены Серега быстро пресек, коротко сказав, что товарищ, скорее всего, засекреченный.

— И с чего ты взял? — не поверила та, — а вдруг он обыкновенный шпион?

— Не, — уверенно возразил Серега, — шпион бы работал на доверие. Завел бы разговоры, туда-сюда. У них задача какая? Побольше разузнать, втереться-сдружиться, а этот человек серьезный, говорит, что командировочный. В Москву — по делам.

По делам так по делам. Нонка дернула плечиком. В Перми свободную верхнюю полку заняла молодая женщина, прощепетавшая с ней весь остаток пути.

Ковалев угадал: загадочный пассажир был-таки засекреченным. Все лето проработал он на Байконуре, вырвался на неделю к семье в Свердловск и ехал теперь в Москву на встречу с людьми еще более засекреченными, чем он сам. Занимая он должность более высокую, летал бы на самолете, но, оставаясь простым инженером, ездил в поезде. И никто из его близких, не говоря уже о случайных попугайках, не знал, что же такого секретного делал он в пыльном и жарком Казахстане.

Двадцать седьмого августа 1957 года черная тарелка репродуктора на кухне семейного общежития летчиков аэродрома «Травяны» объявил об успешном испытании многоступенчатой баллистической ракеты. Это известие государственной важности на кухне замечено не было, поскольку все внимание привлекла к себе Нонна Ковалева в новом поплиновом халатике, рассказывающая об отпуске в Ленинграде. Налетевшим соседкам она раздала наборы открыток с видами города, значки и прочие мелкие сувениры.

— А в Москве-то что ж, совсем ничего не видели? — спросила Тоня Зыкова, рассматривая открытку с взметнувшимся «Медным всадником».

— Да у нас и было-то всего два часа. Пока с чемоданами через площадь перешли на Ленинградский вокзал, народищу в жизни столько не видала: автобусы, троллейбусы, такси с шашечками, аж голова закружилась. Милиционер посредине стоит и палочкой полосатой движение регулирует, — Нонка шаловливо замахала руками. Девки на кухне прыснули. — Да я даже башню Спасскую с курантами не видела, не то что Кремль.

— Ну ниче, бог даст еще к свекрови не раз съездишь, наглядишься там на всякие достопримечательности, — что-то нехорошее послышалось в голосе Тони, но она вовремя отвлеклась на убегающее из ковшика молоко.

Про Кировский балет и Исаакиевский собор на кухне в «Травянах» сильно не заслушаешься, жизнь в провинции, как и везде, наполнена своими заботами. Довольно скоро девки вернулись к сковородкам и кастрюлям, да и Нонке пора было собираться на работу Ковалева. Рассказала она, конечно, далеко не все хотя бы потому, что была человеком довольно скрытным. Зачем говорить о том, как поразил ее вид ленинградской коммуналки с десятком звонков на входной двери, тусклой лампочкой в длинном коридоре, кислым запахом из коммунальной кухни и очередь в туалет. Свекровь встретила ее настороженно, дав понять, что жить вместе в одной комнате, пусть и большой, она не будет, а значит, о ленинградской прописке нечего и мечтать. До этого, впрочем, было еще далеко. Для начала Сереже надо было бы перевестись поближе к дому. Своего разочарования («дак у нас в общежитии и то народу меньше!») Нонка не продемонстрировала, на свекровь обиделась, но виду не подала, зато с восторгом гуляла по улицам и мостам прекрасного города, добралась, наконец, до золотого Самсона в Петергофе и посмотрела «Спящую красавицу» в знаменитом Кировском театре. Она еще и в Эрмитаж нацелилась, и в Русский музей, но в самый разгар отпуска Ковалевых настигла телеграмма, пересланная верной Анечкой из «Травян» о смерти Нонкиного отчима. Пришлось все бросить и, наскоро накупив подарков для друзей, кинуться в Оренбург. Последних отпускных денег хватило на похороны и поминки отчима.

Восполнять прорехи в семейном бюджете Нонке пришлось за швейной машинкой, стучавшей теперь целыми днями. Где-то в начале сентября у Ковалевой отчетливо проявились признаки беременности, которую подтвердила врач из женской консультации. Реакция Сереги была странной: не то, чтобы он не обрадовался, но как-то задумался, чаще стал ходить в курилку, а когда Нонка спала, доставал какие-то бумаги и что-то писал, прикрывая лист левой рукой, как ученик, не дающий списывать соседу по парте.

А лето меж тем подкатило к концу и началась невиданная в тех местах теплая осень, настоящее бабье лето. В одно из воскресений мужики затемно уехали рыбачить на озера. Их ждали только к ночи. Мамаши вытащили малышей в колясках на лужайку перед входом в общагу. Коленька Зыков уже начал ходить и был похож на краба в шароварчиках на кривых ножках. Нонка в блаженстве сидела на приступочке, подставив лицо осеннему солнцу. «Скоро живот полезет на нос, — думала она. — Надо пошить платье свободного покроя». И уже прикидывала фасончик, скрывающий от посторонних глаз «интересное положение» ее полнеющего тела. В небе было тихо. С утра ни один самолет не поднялся в воздух. «Это им керосину не завезли», — пошутила Анечка Борисова, раскладывая пасьянс на крылечке. «На короля погадать, что ли?» — лениво думала она, хотя ей и без гадания было все известно про своего короля: приедет на бровях, ночью будет солить мелкую рыбешку, потом развесит ее сушиться на кухне. К Октябрьским как раз поспеет. А в таз запустит чего покрупней. Уху варить будет сам, зато есть будет вся общага, может, даже во дворе, если не накроет дождем. Три поллитры водки Анечка уже закупила в «васисдасе». Тонька свою рыбу нажарит. Это у нее лучше всех выходит. Тоже на стол поставит. За укропом надо бы сходить в село, но без мужиков было так скучно, что не было никакой охоты даже пошевелиться. Соседки лениво перекидывались словами, малышей унесли на тихий час, кто-то надумал затеять стирку, Анечка пошла к Нонке слушать пластинки и листать журналы мод и без того уже засмотренные почти до дыр. Время кое-как дотянулось до заката. За окнами стемнело, и вдруг с крыльца кто-то крикнул:

— Гляньте, девки, что на небе-то?

— А что там? — все высыпали во двор. У жен летчиков всегда наготове тяжелые предчувствия, но тут было что-то никогда еще ими не виданное: небо переливалось изумрудно-розовым заревом.

— Красота-то какая!

— Северное сияние это, — авторитетно заявила комендантша.

— У нас на Урале? — усомнилась Нонка, припоминая учебник географии. — Оно ж только на севере бывает.

На кухне включили радио, но радио ничего интересного не сообщило. Короче, еле дождались мужиков, которые, хоть и были поддатые, но какие-то на этот раз нешумные и скорее недоуменные.

Полковник Малышев с балкона квартиры в Каменск-Уральском тоже видел загадочное свечение. Про северное сияние он даже и не подумал. Совсем другое пришло ему на ум. Но сведений о новых атомных испытаниях у него не было, хотя, если разобраться, кто он такой, чтобы знать о подобных засекреченных мероприятиях. Интуиция подсказывала ему, что происходит, или уже произошло, нечто из ряда вон выходящее, связанное с объектом «Челябинск-40», местом, не помеченным на карте, но запрещенным для всякого рода над ним полетов. Немного пораздумав, он набрал номер дежурного Свердловского обкома партии. Ничего вразумительного ему не ответили, кроме того, что загадочное природное явление наблюдается.

— Знаю я ваши наблюдения! — Малышев в сердцах бросил трубку.

Никто ничего не узнал и в понедельник. Весь день шел дождь, и загадочное свечение погасло само собой. Вечером общага собралась у Борисовых поесть ухи и немного выпить — завтра все-таки предстоял рабочий день, а ждать до субботы, чтобы побаловаться уловом, терпелу ни у кого не было. Нонку тошнило от запаха рыбы и она, посидев немного с мужем для приличия, тихо ушла к себе. Музыка у Борисовых не ставили, и ей были слышны какие-то монотонные разговоры, под которые она задремала. Среди ночи Нонка проснулась. Удивительное дело: Серега не спал! Он сидел за столом и что-то писал в тетрадку. Спрашивать, что он пишет, было почему-то лень. Нонка повернулась на другой бок и снова уснула.

Вскоре осень взяла свое: пошли дожди, размокли в непролазную грязь дороги и поползли слухи. Где-то недели через две после загадочного свечения участковый инспектор шепнул Ираиде, что геологи своими приборами увидели радиоактивную аномалию неподалеку от Каменск-Уральского. Ираида шепнула Сан Санычу. Тот, запыхавшись, не обтерев как следует грязь с сапог, влетел в свою комнату в общаге:

— Тонь, а ты помнишь, когда мы с мужиками на рыбалку ездили, ну еще небо тогда светилось как-то странно?

— Ну?

— А Колька с тобою тогда на улице был?

— Ну? Дак ты че всполошился-то так? Пол весь истоптал. Че случилось-то?

— А то! Давай неси сына в поликлинику. Пусть проверят мальчика.

Больше от него Антонина ничего дознаться не смогла, но Коленьку в поликлинику свозила, где получила ответ, успокоивший обоих родителей: сынок ваш здоров! А и правда, у него уже зубы полезли один за другим, да и щеки были видны из-за спины. Разве может быть такое у больного ребенка? Нет, конечно. Не может. Так что и осенью в жизни «Травян» ничего не изменилось, мужики все так же бухали по выходным, иногда зачем-то приговаривая, что водка выводит из организма радиоактивные вещества. Про загадочное свечение все словно забыли.

Не был обеспокоен возросшим уровнем радиации и Кошкаров. Приближалась сороковая годовщина Октябрьской социалистической революции, время повышений по службе и наград, на что он очень рассчитывал. Рапорты от информатора исправно приходили к нему на стол, при желании, а этого у Кошкарова было не занимать, можно было раскрыть любое дело в рядах советской авиации, конечно, в зависимости от обстановки в верхах. Вот это и была основная тема, волнующая особиста. И тут грянул пленум! Да еще какой! Вернувшегося из поездки по Югославии и Албании Жукова сняли с поста министра обороны, да еще и вывели из состава Президиума ЦК КПСС.

«Это кого? Маршала Победы! Который убрал Берия, Молотова и всю примкнувшую к ним компанию! Звания не отобрали, но, считай, отстранили по полной программе! Ай да Хрущев! Дурак, вот я дурак! — терзался Кошкаров. — Как же я не понял, что там что-то затевается? Газеты-то не случайно заглохли про визиты Жукова! Я-то думал, что все передовицы забиты сообщениями о спутнике¹, а тут вона дела какие! А что ж это Серов²

¹ Первый искусственный спутник Земли был запущен в СССР 4 октября 1957 года.

² Иван Александрович Серов — председатель КГБ.

дружка не отбил?» Вопрос был поставлен риторический, кто ж не знал, что идущий на дно страшнее прокаженного. «И погляди-ка, — Кошкарлов впивался глазами в список, осудивших непартийное поведение Жукова, — все маршалы проголосовали за исключение. Все до одного! Так мне давать ход делу или обождать еще?» И Кошкарлов сокрушался дальше, что прошляпил момент, когда можно было налечь на ослабление партийной дисциплины в полку под командованием Малышева, а уж после пленума, кто его знает, куда ветер подует, если Хрущев надумает разогнать авиацию, под горячую руку попадет и Особый отдел, а Кошкарлов в «Травянах» давно пригрелся.

Малышева вызвали в Свердловск на совещание партактива Уральского военного округа. В тишине забитого до отказа зала звучал режущий голос человека с большими звездами, с которым три месяца назад после летних учений полковник выпивал за маршала Жукова. Теперь этот же человек говорил о том, что Жуков оттеснял руководящую роль Коммунистической партии Вооруженными силами, самостоятельно принимал решения о назначении на руководящие посты, выступал против увеличения штата политработников в армии и что-то о потери маршалом чувства скромности и растущем «бонапартизме». В прениях выступили люди со звездами поменьше, но с такими же режущими голосами. Постановление пленума ЦК КПСС одобрили единогласно. Домой Малышев вернулся с тяжелым сердцем. Что будет с аэродромом? Строить бетонную полосу еще не закончили. Денег больше могут не дать, теперь все пойдет на межконтинентальные ракеты. Кто будет поддерживать дальнюю авиацию? Хотел было найти Захарченко, да прочитал в «Красной звезде», что тот переведен в ДОСААФ¹. А там судьбу авиации не решают.

В семейном общегитии летчиков аэродрома «Травяны», обвешанном красными транспарантами и флагами, праздновали сороковую годовщину Великой Октябрьской революции.

¹ ДОСААФ СССР — Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту СССР.

С утра смешанная эскадрилья Ту-шестнадцатых пролетела над Каменск-Уральским. К полудню оттуда вернулся автобус с жёнами и детьми, поехавшими смотреть военный парад. Стол накрыли в Красном уголке, где на месте портрета маршала Жукова уже висел портрет маршала Малиновского. Гуляли, как всегда, шумно и весело. Снова натащили на стол кто во что горазд, снова пили «Массандру», но танцевали на этот раз мало. Мужики сбились в кучу в конце стола и громко о чём-то говорили. Главной плясунье нездоровилось. Беременность проходила тяжёловато для Нонки, и она скоро ушла, оставив мужа одного в компании подвыпивших друзей. Дома прилегла «на часок», а проснулась посреди ночи. Сереги в комнате не было, на столе горела лампа со сдвинутым набок колпаком. Тут же лежала раскрытая школьная тетрадка в линейку. Любопытство пересилило Нонку, и она прочитала аккуратно выведенные рукой Ковалева строчки:

«Борисов говорил, что стратегический бомбардировщик с атомной бомбой на борту можно отправить к вражеской границе, но в последний момент отменить сброс, а вот ракету отменить уже нельзя. Овсянников говорил, что бросать бомбу рядом с границей своего государства опасно, ветер может занести радиоактивные вещества на свою же территорию, поэтому нужно развивать ракетостроение. Потом он сказал, что надо бы развивать и то и другое, но денег у государства на это нет. Петренко нецензурно высказался о товарище Хрущеве».

Нонке стало трудно дышать: «Так вот что он все время писал». Она молча подняла глаза на вошедшего в комнату Ковалева, тот с неизвестной ей ранее злобой, вырвал из ее рук тетрадку.

— Это же твои друзья, Сережа! Как ты можешь?

— А фонтаны кому нужны? Мне, что ли? В театры кто хочет ходить? Ленинград кому подавай? Особист, знаешь, что мне сказал? Или рапорты пиши, или пойдешь в запас. А ты понимаешь, что это значит? Куда мы поедем, если меня сократят? Матери моей мы сто лет не нужны, ты это и без меня поняла. В Оренбург сама не хочешь.

Он кричал. Первый раз в их жизни он кричал на Нонну. Она хотела было сказать, что такой ценой не нужны ей никакие фон-

таны, но в этот самый момент что-то словно лопнуло внизу ее живота, теплая кровь потекла вниз по ногам. Генка Овсянников отвез Ковалеву на своем мотоцикле с коляской в госпиталь, где спасти ребенка не смогли.

Хотя папка с доносами разрасталась и пухла, подходящей информации на дело против Малышева у Кашкарова так и не нашлось. А через три года сбылись худшие опасения полковника: весь его полк уволили в запас. Особый отдел сократили, отправив на пенсию и Кошкарова. Общежитие опустело, разлетелись соколы кто куда. Тогда казалось, что «Травяны» умерли навсегда, но аэродром снова ожил, когда там разместились вертолетчики. Потом ушли в запас и они. У каждого аэродрома, как и у людей, есть своя жизнь, которая когда-нибудь кончается. Летом через трещины заброшенной бетонной взлетной полосы прорастают одуванчики, сурепка и прочая сорная трава. Герои моей повести давно умерли, хотя, нет, Коленька Зыков, вернее, полковник в отставке Николай Александрович Зыков — жив до сих пор.

НА ЭТЮДАХ

Сборник
коротких рассказов
и зарисовок

Этюд первый. Вид из окна

Из своего окна я вижу кирпичную стену дома напротив. Плотные занавешенные окна скрывают его обитателей от любопытных глаз. Между нами небольшая лужайка, заросшая белым клевером. Глядя на слепые окна напротив, я вспоминаю Амстердам с пустыми комнатами за промытыми стеклами без занавесок. Впрочем, и там мне не удалось увидеть ни одного человека. Мое окно почти всегда открыто. Легкий ветерок приносит сладковатый запах каши, суббота, заполненная чужими заботами, пахнет стиральным порошком, если на соседних улицах меняют асфальт, оттуда несет горячим битумом, весной пахнет удобрением, раскиданным по клумбам. Осень пахнет усталостью листьев, а зима — моим одиночеством.

Набравший силу ветер треплет молодое дерево, вытянувшееся откуда-то из-под той же стены напротив. Я люблю его борьбой то с затихающими, то с нарастающими порывами. Еще есть другое дерево. От его раскинувшихся во все стороны ветвей вверх тянутся прямые ростки, каждый размером с деревце. Зимой тонкие стволы напоминают мне зубья гигантской гребенки с вычурным переплетением веточек наверху. Я не успеваю уследить за временем, когда оно только-только покрывается листвой. Потом листья набирают силу, впитывая соки и солнечный свет. Летом их омывают дожди. Капли осыпаются на землю с промытых крон. Как благословенна переливчатая зелень лета в лучах заходящего солнца. Еще мне слышен гвалт, доносящийся со школьного двора: звенящие колокольчики-ксилофончики-бубенцы сливаются в какофонию детских голосов. К вечеру они смолкают. Тогда набирает силу шум хайвэя, проходящего в миле от моего дома. Ночью он немного стихает, утром нарастает с новой силой. Я засыпаю под гул бесконечности, ибо бесконечно движение этих несущихся куда-то машин.

Этюд второй. Хрупкие кости души

Я слушаю просыпающийся город. Ну, город — это слишком громко сказано. Тогда так: я слушаю просыпающийся городок. Пусть будет первый снег. Нет, не так. Пусть это будет легкий снежок. Такое здесь случается в ноябре. Снежок бесшумно покрывает еще зеленые газоны и кусты, приглушит шум спешащих автомобилей. Я представляю бледные лица то ли запоздалых, то ли ранних гонцов за тонированными стеклами машин. Одна рука — на руле, в другой бумажный стаканчик с кофе. Легкий джаз между прогнозами погоды. Короткие разговоры по телефону. Нетерпеливое ожидание смены цветов светофора на пустынной улице. Вот один пронесся на красный свет. Камера наблюдения беспощадно фиксирует номер автомобиля нарушителя. Должно быть, кто-то из случайно заехавших в наш городок. Местные знают все перекрестки, где их поджидает строгий глаз блюстителя дорожных правил. Куда ты мчишься, одинокий всадник Пол Ревир? Кому кричишь: «Красные мундиры! Идут красные мундиры!»? Вот зажглось окно. Там не могли дожидаться утра, с которым придет спасение: прожита еще одна ночь. Там пахнет лекарствами и одиночеством. Пусть скорее загорится свет в другом окне. Потом еще в одном. В моем окне свет горит с четырех часов утра. Нет ничего тривиальнее, чем жалобы на бессонницу. Впрочем, достаточно тривиальны и пересказы снов. Разве это не скучно — выслушивать чужой сон в подробном изложении? Сон — это взмах крылышек бабочки, мгновенье, которое возможно увидеть, но не воспроизвести. В пересказах он тяжелеет, обрастает ненужными подробностями. Моя соседка — ранняя пташка. Пожилая дама, имени которой я так и не знаю, хотя мы живем дверь в дверь уже лет пятнадцать. Почему-то я думаю, что ее сны безмятежны. На ее окне висит кормушка для птиц. Кто сюда только не слетается. Наведываются и пронырливые белки. Разглядывание этой живности развлекает меня. Кажется, у меня появились любимцы, причем, кто может быть в этом уверен? Все птички выглядят одинаково. Еще у соседки много цветов. Есть такие счастливые люди: возле них цветы никогда не вянут, а только разрастаются. Однажды она оставила горшочек с небольшим растением на пороге моей двери. Так раньше подкидывали нежеланных младенцев к дверям церквей. На прикрепленной записочке было напи-

сано: «Позаботься обо мне». Пришлось взять к себе. Забочусь: поливаю, радуюсь появлению новых листочков, отщипываю пожелтевшие. Растеньице переговаривается со мной, хотя мы не произносим ни слова. Что еще? Шаги в комнате наверху. Я не знаю, кому они принадлежат. Скорее всего, там живет молодая девушка. Почему? Наверное, мне так хочется. Еще мне хочется, чтобы она работала в госпитале. Пусть будет медсестрой. Они все похожи друг на друга, как похожи птички, прилетающие к соседской кормушке. Дело даже не в одинаковой униформе и чуть хриплых прокуренных голосах, а в одной и той же фамиллярной интонации, с которой они разговаривают с больными. В этой интонации кроется ощущение своего превосходства. Такая же интонация у докторов и работников похоронных домов. Как будто смерть не сравнивает нас всех. Хотела бы я услышать интонацию, с которой они отвечают Господу на Страшном суде. Но я отвлеклась. Надо «держаться мысль», значит, возвращаюсь к девушке из верхней квартиры. Вот хлопнула ее дверь. Одиннадцать тридцать вечера на моих стенных часах. Шаги у входа: она снимает обувь. Дальше шаги кружат по комнате. Мне слышно, как она выдвигает и задвигает какие-то ящики. Должно быть, ящики комода. Торопливо шлепает в ванную. У меня есть полчаса на то, чтобы представить ее в душе. Мыльные волосы, смуглое тело. Не спрашивайте, откуда я знаю. Я так ее представляю. Потом махровый халат. В теплые дни из окна ее ванной пахнет недорогим шампунем. Она долго возится на кухне. Не имею ни малейшего представления, что у нее на сковородке или в кастрюльке. Может, на ее столе нет ничего, кроме купленного по дороге домой бутерброда. По выходным из ее окон пахнет готовой китайской едой. У нее неприятный вкус. Должно быть, не любит стирать. Я — тоже. После позднего ужина она любит затянуться сигареткой. К счастью, из ее окна никогда не несет марихуаной. Некоторым этот запах нравится. Мне — нет. Если повезет, она сразу уляжется спать, и ее шаги не будут больше меня тревожить. Иногда там что-то происходит. Откуда я знаю? Разве иначе стала бы она метаться по комнате до четырех утра? Вот это самое невыносимое. Приходится стучать палкой от швабры в потолок. Шаги испуганно замолкают, но она не в силах надолго справиться с волнением, и тогда все начинается снова: взад-

вперед и наискосок. Наискосок и взад-вперед. В такие ночи я не сплю. В пять тридцать утра на остановку в конце улицы приходит первый автобус. Под шум его мотора я, наконец, засыпаю. Я засыпаю, а город засыпает снегом. Какое-то время я еще слышу тихое включение холодильника, движение лифта в глубине лестницы, обрывки голосов, но вот наступает мгновение, когда копошение жизни больше не имеет ко мне никакого отношения. Я отдаляюсь от всего этого. Я далеко. Я сплю.

Пока я сплю, белые хлопья пеленой накрывают город. Я знаю, что, проснувшись, увижу в окне картину Брейгеля. Люди начнут откапывать занесенные снегом автомобили. Иногда этим занимаются целыми семьями, тогда работа спорится. Хуже всего приходится престарелым дамам, особенно, если уборочные машины, расчищающие улицы, заваливают тяжелым снегом их припаркованные с краю дороги автомобили. Случается, дамам помогают молодые люди с лопатами. Они могут весело переговариваться. О чем? Мне кажется, я слышу их разговоры. Что-нибудь вроде того, как много снега навалило в этот раз, а зима еще впереди. Молодым людям жарко, они расстегивают куртки или разматывают шарфы. Легкий пар поднимается над их вспотевшими спинами. Когда расчистка закончена и автомобили достаточно прогреты, дамы уезжают в неизвестном направлении. Дворникам тоже достанется, особенно, если они из теплолюбивых стран и непривычны к зиме. Наш — пуэрториканец. Из окна мне будут видны его неторопливые усилия, направленные на расчистку крыльца. Он кричит что-то соседскому дворнику, высокому усатому человеку в сапогах. Нетрудно догадаться, о чем они говорят, потому что пуэрториканец отставляет лопату в угол. Вместе они направятся в сторону плазы, думаю, в «Старбакс». Это надолго. Там шумно и многолюдно. Еще я знаю, что увижу собачек и желтые метки на белоснежном снегу, голубей, исчертивших крестиками своих следов крыши гаражей. Если я открою окно, услышу смех и голоса детей. Площадку между дворов еще не расчистят, и я увижу, как они валяются в снегу. Длинные школьные автобусы будут припаркованы во дворе школы. Всем повезет: отменят уроки. Окно я не открою, но мне легко представить толстых теток-водителей, смотрящих телевизор на своих кухнях. Прогноз погоды будут передавать, как сводку с фронта. А это что там такое? Какая-то небольшая толпа. Мне плохо видно. Ну вот, кто-то

застрял в сугробе. Я просыпаюсь. Я просыпаюсь и, позевывая, пытаюсь нащупать ногами шлепанцы у постели. Ноги тощие, как карандаши. Стараюсь не разглядывать, даже просто на них не смотреть. Один шлепанец сначала запропастился, потом нашелся. Еще оказывается, я уснула прямо в халате. Теперь такое случается все чаще. Так и есть, из окна видно все то, что уже предстало в моем воображении. Известно ли вам, что разглядывать всегда лучше сверху и чуть со стороны? Брейгель знал, куда встать с мольбертом. Старший или младший? Черт их знает. Когда горел дом напротив, мне хотелось пролететь над ним и сверху поглазеть на пламя, пожирающее его внутренности. Не удалось из-за вертолета, застывшего над домом, полыхавшим как факел. Зависшая стрекоза распугала всех ворон своими крутящимися лопастями. Впрочем, мне и так все было хорошо видно, а запах дыма, пробившийся через закрытое окно, помню до сих пор. Память. Ну да. Вы, наверное, знаете, что воспоминания — самое прекрасное из того, что достается старости. Даже если они причиняют боль и уже поздно изменить что-либо. Смерть все исправит. Вот она опять, как тот самый вертолет, отпугивает лопастями любую мысль, но мысль упорно возвращается к тем ранним утрам, когда солнце уже взошло, но еще виден кусок бледнеющей луны, вставленный в разрез голубого неба. А вот стаи неопознанных птиц, кружащих над мостом с высокими бетонными перилами. Если стоять не под мостом, перекинутым через хайвэй, а чуть в стороне на автобусной остановке, то можно увидеть движущиеся за его перилами капюшоны, зимние шапочки с помпонами, шевелюры, развевающиеся на ветру. Половинки спешащих человеческих тел живут таинственной жизнью, как и люди, стоящие со мной на остановке автобуса. В этот ранний час здесь всегда одни и те же персонажи. Вот худенькая женщина в капюшоне поверх вязаной шапочки. Я вижу следы робости и неуверенности во всем ее незатейливом облике. Должно быть, из недавно приехавших. Таким приходится тяжелее всего. Почему-то я думаю, что она полька, хотя не знаю даже ее голоса. Зато стоящий в стороне парень в заляпанных белой краской ботинках — поляк наверняка. Он исчезает до следующего утра в приехавшей за ним «Тойоте». Девчонка с розовыми волосами что-то безостановочно трещит в мобильник. Кажется, пересказываются последние школьные новости. У нее большие покрасневшие от

холода руки без перчаток, а в ноздрю продето тонкое колечко. Здесь есть и мои любимицы: крикливые латиноамериканки в обтягивающих оттопыренные зады джинсах. У самой горластой, когда она энергично говорит что-то товаркам, подрагивает помпон на шапочке и болтаются длинные серьги в ушах. Их увозит помятый белый фургон с потертой рекламой сдобных булочек. Интересно, замечают ли здесь меня? Не знаю. В какое-то мгновение я вижу сразу: поток машин на хайвее, два небоскреба, вытянувшихся в лазурную высь, бегущий под белой корочкой льда ручеек, пританцовывающего на ходу человека в толстой спецовке и пластмассовой каске. Как радостно и беззаботно живется ему в этом мгновении. Еще я вижу проступившее в окне автобуса лицо водителя. Сейчас мы покатым мимо белых домиков и черных стволов обнаженных деревьев. Все быстрее и быстрее замелькают они за окном, сольются в пятнистую полосу. Свет. Тень. Свет. Тень. Мгновение растягивается, застывает. Человек — страдающая точка в пространстве, хотя — почему страдающая? Потому что есть вон то сломанное дерево, за которым стрелка поворота направо в городок, куда нельзя. Там все могло быть по-другому, там могла быть другая жизнь, но другое не произошло, не случилось, поэтому надо мимо. Мимо. За моей спиной женщина разговаривает по телефону на непонятном языке. Интонация монотонная. Она говорит не останавливаясь. Я закрываю глаза. Пятна мелькают. Мне кажется, я вижу несущуюся по хайвею спину автобуса. Пусть Брейгель нарисует этот пейзаж сверху и чуть со стороны. Я засыпаю или просыпаюсь. Успеваю подумать: как занимательна твоя работа, Создатель, тонкой кисточкой по нежно-голубому фону... Как распрямляются хрупкие кости души, готовящейся к последнему полету.

Этюд третий. В парке

Утомительная жара нью-йоркского лета изнуряет и выматывает. День за днем. Когда прохлада не приходит даже ночью, спасение можно ненадолго найти в тени деревьев Центрального парка. Помните, «За рекой в тени деревьев»? Чтобы добраться туда, мне нужно пересечь Гудзон в маленьком автобусе, на душной платформе сабвея дожидаться прихода поезда, провести блаженных полчаса в прохладном вагоне и войти

в тот парк с площади, где высится гранитная колонна с мраморным Колумбом на вершине, окруженная чем-то безвкусно-величественным.

Парк весел и многолюден. Здесь всегда несет навозом. Это по асфальтированным дорожкам цокают лошадки с плюмажами, у некоторых хвосты заплетены в косичку. Хотите прокатиться? Запрыгивайте на ходу в повозку, обитую потертым бархатом. Ну хорошо, не запрыгивайте, а договаривайтесь с навязчивыми зазывалами у входа. Сколько стоит это счастье, объехать парк? Не знаю. Почему-то никогда не каталась, а сидя на скамеечке (лучше в тени), рассматривала лошадок и возниц в цилиндрах, что-то небрежно вещающих доверчивым туристам. Еще здесь много велосипедистов, дающих по жаре бесконечные круги. Всегда находится один с собственной музыкой, орущей из неизвестного мне устройства. Есть и бесчисленный отряд бегущих. Сколько сил и здоровья в этих организмах, обвешанных специальными приспособлениями для каких-то измерений. Все правильно: «никто не хотел умирать». Во всяком случае, смерть никого не интересует на этом празднике жизни, даже стариков в инвалидных колясках, выкатившихся поглазеть на малышей, расставленных на бейсбольном поле. В эту игру здесь играют, едва научившись ходить. Что еще? Собаки всех пород с надменными хозяевами. Жизнь по соседству с Центральным парком накладывает отпечаток чуть заметного превосходства на их лица. Нянюшки с колясками и мобильниками. О чем они часами стрекочут со своими терпеливыми слушателями? Стайки девушек в шортах, молодые люди на досках с колесиками. Всё движется любовью. Хотя не всё. Застывший солдат седьмого пехотного полка не может даже вспугнуть голубя, примостившегося на его макушке.

Я давно знаю, почему меня тянет сюда. Все парки мира напоминают мне тот, единственный, где прошло мое детство. Там тоже озеро с лодочками, поскрипывающими уключинами весел, правда, нет земляничной поляны, но есть гранитная терраса с видом на заросшие лопухами газоны. В июле там косят траву. Я люблю запах травы, сырой земли, застоялой воды прудов. В парке моего детства прямые дорожки, посыпанные гравием. Здесь — запутанный лабиринт, с выходом в другой стороне города. Однажды такая дорожка привела меня к туннелю, прорезавшему небольшой холм. Там было темновато и прохладно. Запах застояв-

шейся мочи предупредил о возможной встрече с обитателями подвальных мест. Поворачивать назад не хотелось. И я его увидела. Он сидел на матрасе, скрестив ноги, лицом к стене. Обнаженный черный торс и большая круглая голова без волос. Складки на мощной шее, резко обозначенный затылок, широкие плечи. В полный рост он оказался бы гигантом. Его не интересовали случайные прохожие вроде меня. Его интересовала только стена, потому что к ней он обратил свой яростный монолог. Я не смогла разобрать ни одного слова из его гневной речи, ничего не было и на стене, покрытой плесенью. Сумасшедший бездомный. Они довольно часто попадают в городе. Этот словно сидел в предбаннике преисподней и оспаривал решение Всевышнего. На что он был обречен? Догадаться было не так уж и сложно, вот только он был не согласен, не согласен, не согласен. Во всем этом была какая-то выворачивающая душу тоска. Я поспешила выйти из туннеля в зной и свет парка, не оставив даже доллара на грязном матрасе.

Этюд четвертый. Холден состарился

Ну вот, Холден Колфилд не только вырос, но и состарился. К тому же поселился в нашем городке, что расположился сразу за мостом Джорджа Вашингтона напротив Нью-Йорка. Городок этот под названием Форт Ли непригляден, как и всякая американская провинция. Пропасти здесь давно огорожены, даже на перила моста натянули сетку, чтобы никто не мог сброситься с него в Гудзон. Такая предусмотрительность не уменьшает количество людей, не желающих истратить до конца отведенное им время. Но не в этих людях дело. Дело даже не в китайцах, заселивших наш городок. Однажды Холден поразмышлял о причинах привлекательности унылых мест для представителей многочисленной расы и решил, что дело в генерале Ли, которого они принимают за бывшего соотечественника, можно сказать, отдаленного родственника. Что-то остановило ход его дальнейших размышлений, скорее всего, он просто забыл, что этих генералов было два, и южанин Роберт Ли никак не мог украсить своим именем форт на севере страны.

Холдена Колфилда я встретила на небольшой площади перед нашим супермаркетом в раскаленный июльский день. Выглядел он довольно нелепо в теплой шапке поверх бейсболки и

больших очках от солнца. Бормоча под нос, он собирал разбросанные повсюду тележки в один гремящий поезд и с усилием толкал состав, вязнувший колесами в размягченном асфальте. Не замечая никого, он только одобрительно хмыкал покупателям, подкатывавшим к нему свои опорожненные тележки. Подкатила и я, пытаюсь обратить на себя внимание приветливой улыбкой. Моя тележка с грохотом присоединилась к хвосту состава, на который навалился Холден. Ни одного слова при этом не было сказано.

Потом он стал попадаться мне в парке на скамейке у открытого детского бассейна, где плескалась малышня, спасаясь от жары. Зимняя шапка исчезла с его головы, он стал меньше походить на городского сумасшедшего, но по-прежнему выглядел довольно импозантно с торчащими из-под бейсболки седыми лохмами и черными очками на макушке, которые сдвигал на нос движением рыцаря, опускающего забрало. Вам стоило его увидеть. Еще вам стоило посмотреть на тот бассейн. Меня всегда завораживал вид прозрачных спасательных бубликов, поблескивающих боками на голубой воде. Этой голубизны добиваются весьма простым способом, окрашивая стенки и неглубокое дно бассейна лазурной краской. С утра здесь пусто, но к полудню воздух зазвенит от криков плескающейся мелюзги. Поверхность мелкой воды оживает, словно под кистью художника, смешивающего разноцветные краски на голубой палитре. В углу — добавлено немного черной. Это под зонтиками расселись мамы. Время от времени они отрываются от пересудов и поглядывают на своих купальщиков. Кого здесь только нет. Вот в спасательной баранке, лениво шевеля ножками, проплывает бледная красавица. Она недовольно морщит носик на плюхнувшегося рядом карапуза в коричневых штанишках. А вон там малыш, сидя на краю бассейна, нерешительно трогает воду большим пальцем ноги. Интересно, как быстро он преодолет страх. Выскочившая из воды девчонка, обдаёт его фонтаном брызг и смеется так заливисто, что он не успевает испугаться. Кто-то из малышек уже наловчился нырять. Молодой спасатель не обращает на них никакого внимания, уткнувшись в телефон. И только Холден в волнении срывается со своего места. Ложная тревога. Никто не тонет. «Так вот зачем он повадился сюда ходить!» — разгадка оказалась такой простой. Осенью Холден исчез. Иногда я брожу по городку, надеясь на встречу с ним, но мне не везет.

Этюд пятый. Памяти Ирочки Служевской

— Тогда я просто покончу с собой.

Она сказала это с такой легкостью, будто говорила о том, что собирается на следующей неделе отправиться в недалекое путешествие. Сидя сбоку, я старалась разглядеть в ее профиле нечто скрываемое за будничной интонацией. Но она, видимо, столько раз повторяла про себя эту фразу, что мне удалось разглядеть только упрямую морщинку в уголке рта.

— Разве это просто?

И мы перешли к обсуждению различных способов самоубийства. Самый подходящий для меня: «Ну-у-у, снотворные таблетки», — ей не подошел. Не помню почему. Тогда же она рассказала мне о клинике в Швейцарии, где это делают, облегчая страдания смертельно больных людей.

— А у тебя какая стадия?

— Три, три с половиной.

— Значит, время еще есть.

Времени ей хватило на то, чтобы продумать и осуществить то, во что мне было так трудно поверить.

Этюд шестой. Осенний полет бабочки

Выходишь в парк и утешаешься,
Что вроде бы еще живешь...

В. Черешня

Ну хорошо, все знают, что умрут, но кто думает об этом, когда подставляет лицо солнцу и дает ветерку пробежать по волосам? А вот уже этот ветерок набрал силу и шевелит ветки дерева на обочине. Издалека видна податливость каждого листочка. Здравствуй, дерево. Ты не знаешь, что переживешь меня. А что знают бабочки, кружащие над поляной? Теперь ветер принялся за них, сдувая с цветов и травинок их легчайшие крылышки, покрытые затейливым узором. Парус скромной капустницы прилепился к засохшему одуванчику. Еще мгновение — и она вспорхнет, трепещущие лоскутки унесут крошечное тельце. У бабочек нет слуха. Им не дано услышать шуршание папоротника, копо-

шение жизни в траве, пение птиц, негодующее гудение встревоженных пчел. Для них есть только запахи и краски: переливающийся ковер последнего летнего дня, вибрация теплого воздуха, солнечные блики на заросших тропинках, на поверхности пруда, покрытой опавшими листьями. Игра тени и света. Сон, смерть? Здесь все перемешалось. Крик исполошившихся соек нарушает обманчивую безмятежность. Поздно. Испуганный свидетель преступления, я вижу лишь беспомощно повисшие лапки в клюве взлетевшего ястреба. Потом возвращается покой, блудный сын тревоги. Бабочки снова кружат в солнечном луче, пробивающем листву. Но вот он тихо меркнет. Вступает хор цикад. У заросшего пруда им вторят лягушки. Призывы страсти вытесняют дневные звуки. Скоро потемнеет. Стемнело. Стало совсем темно.

Теперь о деревьях, об их прямых, извилистых, и склоненных стволах, об их многолетних усилиях прорастания, сгибания и распрямления, о вечной тяге к солнцу сквозь каменистый настил, покрытый мхом и опавшей листвой. О каждой щелочке на их коре — пристанище личинок, птиц и маленьких зверьков. Об их медленном умирании и посмертной красоте. Семь лет назад ураган повалил могучие стволы. Они рухнули, fallen heroes, выставив беззащитные корни, но даже тогда казались мне живыми. Наконец истлели, превратились в труху, через которую весной пробиваются зеленые стебельки.

Теперь о себе. Пусть из тины памяти проступит городок Тинек. Я случайный гость у старых платанов на улице с неизвестным именем. Осеннее великолепие уже закончилось, лишь кое-где на ветках задержались дрожащие листья. Шелушащиеся стволы словно покрыты псориазом. В конце улицы, на пересечении с другой, высится шпиль церкви, уходящий в ослепительно голубое небо. Ветерок приносит запах дыма. У кого-то разгорелся камин. С этим запахом ничего не связано, но почему тогда мне вспомнилась чашечка липового чая с тем самым бисквитом? Не потому ли, что рядом с Тинеком примостился городок Леония? Доброе утро, месье Пруст. Или у вас уже полдень? Городок Леония скучен в любую погоду, как та самая тетушка, дремлющая на взбитых подушках. С вашего позволения я отправлюсь обратно в парк к пруду с черепаками. Там можно сесть на гранитный валун и слушать klokотание ручейка, выбегающего из заросшего пруда. Однажды на этом месте устроилась старенькая кореянка

с пластмассовой коробочкой на коленях, из которой она доставала кусочки розовой дыни, накалывая их на острые палочки. Со скальзывая с палочек, кусочки летели в пруд, где их проворно поедали черепахи, смешно вытягивая шеи из лоснящихся панцирей. Кореянка жестом пригласила меня присесть рядом. Послушно присев, я попыталась понять, что она говорит, обратив ко мне изрезанное морщинами личико. Не поняв ни слова, я просто открыла рот и получила кусочек ароматной дыни. Надо ли описать его вкус, месье Пруст? Хорошо. Это была сладкая свежесть. Кореянка, меж тем, продолжала кормить черепах. Когда коробочка опустела, она поднялась и, поклонившись, исчезла. На брошенный ею комочек салфетки с остатками сладкого запаха села опоздавшая бабочка. Вдруг это был летающий во сне Чжуан-цзы?

Еще мне нужно вспомнить оленей, осенью меняющих облезлый рыжеватый мех на мех густой и темный, сливающийся с цветом опавшей прелой листвы. Не забыть упомянуть их плавное, лишенное поспешности передвижение поперек тропинок. Отсутствие опасности придает их величественным поворотам головы некоторую снисходительность при встречах с людьми, чего нельзя сказать о белках и бурундуках, проворно разбегающихся по траве, покрытой сухими листьями. Голые ветки больше не задерживают солнечные лучи, поэтому я прикрываю глаза. Свет преломляется в ресницах короткими лучиками. На следующей неделе обещаны дожди. Они примнут опавшие листья, наполнят мелеющий пруд. Потом похолодает. Черепахи спрячутся, а бабочки умрут. Как невыносимо тяжело покидать этот прекрасный мир.

Этюд седьмой. Поездка

Все-таки было в этом что-то фантастическое: темень, обступившая наш автомобиль, скорость, на которой он мчался, вспышки фар редких встречных машин. Странное ощущение, словно, это уже было когда-то прожито, только забыто, а вот теперь происходило еще раз. Мы сбились с пути, пропустив нужный указатель, повернули не там и мчались неизвестно куда. Ничто не предвещало эту гонку в гуще зловещей темноты. Сначала машина послушно описала круг небольшой площади с застыв-

шей фигурой очередного героя в центре, миновала ряды освещенных витрин. Потом блеснул подсветкой городской фонтан. За ним пошли домики: одноэтажные, двухэтажные с башенками и лужайками, с чьей-то жизнью за спущенными шторами. Вот и последний светофор, за которым поворот на хайвей. И сразу же темнота. Навигаторов тогда не было и в помине. Зато была поездка к новым друзьям в соседний штат, два часа пути на юг. Когда пришла пора прощаться, кто-то нарисовал обратную дорогу на листке бумаги с подробными инструкциями и английскими названиями, выведенными большими буквами. Вроде все понятно. Мог, конечно, подвести старый «Шеви», отмахавший десятки миль еще до того, как попал к нам, новоиспеченным эмигрантам с плохим английским и незнанием географии страны, приютившей нас, но об этом думать не хотелось. Кажется, кто-то предупредил: «Не пропустите нужный выезд с хайвэя, следующий будет нескоро». Предупреждение не помогло, поворот был пропущен, и мы мчались вглубь чужого штата. Сколько это длилось? Трудно сказать. Не больше получаса, но я помню странное ощущение времени, оно как бы растянулось, казалось долгим. Еще я помню, что там, в той старой машине, мы были вместе. Тугой узелок слова «тугезе» (together — английское слово, означающее «вместе»). Потом это «вместе» распадется и уже никогда не воссоединится.

Наконец, долгожданный поворот — и сразу же бензоколонка, празднично осветившая нас неоном. Человек за прилавком с искренним желанием помочь долго рассматривал лист бумаги. Говорить по-английски у него тоже получалось с трудом. Уже не помню, как мы его поняли и вернулись-таки домой. Фантастической эта поездка осталась только в моей памяти.

Умирание много повидавшего «Шеви» было затяжным, а все потому, что в оживление его ржавых частей вкладывались почти все имеющиеся у нас тогда деньги. Паралич наступал часто и в довольно неподходящих местах. Самым замечательным местом был мост через Гудзон. Удивительно, что машине хватило сил выкатиться на нейтральную полосу посередине и уже там замереть. Дальнейшее было загадочным. Помощь пришла неожиданно быстро. Какой-то молодой человек вполне работающего вида, кажется, в комбинезоне, бесшумно подкатил сзади на своем

небольшом грузовичке (в Америке они называются траками) и вытолкнул нас с моста, приветливо махнув на прощание. А уже за мостом нас поджидал не менее приветливый полицейский.

До сих пор не знаю, существовал ли между ними сговор, или все было случайным совпадением. Так или иначе, быстро разобравшись, полицейский вызвал что-то большое с платформой, куда взгромоздили наш откатавший свой век «Шеви» и увезли в забытом мною направлении.

Не помню, была ли тебе известна эта история, но знаю, что ты проваливалась со стыда каждый раз, когда наш раздолбанный автомобиль подкатывал к школе, где ты тогда училась.

Этюд восьмой. Дочь

До моего рождения меня не хотели. У мамы уже была семилетняя дочка от первого брака, которую она оставила на попечение бабушки с дедушкой. Мой будущий отец испытывал МИГи на аэродромах Забайкалья. Летчики жили в бараках с протекающими крышами, в комнатенках, отгороженных занавесками вместо стен. Аборты в ту пору были запрещены. Родина заботилась о пополнении народонаселения, значительно убывшего за годы войны. Офицерские жены избавлялись от нежелательных беременностей в соседнем поселке у тетки, промышлявшей подпольным плодоизгнанием. Что-то задержало мою будущую маму от более ранних решительных действий, и она предстала перед той женщиной с уже обозначившимся животом. «Ну, это мы быстро, — сказала та, — а ребеночка, еще живенького, в этой печке сожжем», — и показала на весело потрескивающую дровами печку. Так что я появилась на свет благодаря этой женщине и пробудившемуся воображению мамы, упавшей в обморок возле той самой печки. И все же, в нарушении уготованной мне участи я нахожу объяснение многим чертам своего характера. Но дело совсем не в этом, а в том, что с тобой все было по-другому.

«Ты когда уже придешь к нам рожать?» — спросила меня акушерка в Женской консультации. Немолодая, курносенькая, с вьющимися крашеными волосами, которые она не забирала под белый колпак, а давала им красивой волной спадать на плечи, она была симпатичной и какой-то располагающей. Престарелые красавицы всегда вызывали у меня доверительное чувство.

«Так я и пришла!» — радостно сообщила я.

Срок был немаленький. Ты уже тихонько шевелилась во мне, но докторица, ее лицо я начисто забыла, повозив стетоскопом по моему животу, принялась разуверять меня, говоря, что плод еще не может шевелиться и еще что-то про деятельность желудочно-кишечного тракта, как будто я сама не могла различить признаки другой жизни в своем теле. Мне и до сих пор не верится, что все они там вступили в тайный сговор с государством, платящим жалкие «декретные» беременным женщинам за месяц до родов. Так месяц обернулся для меня неделей. И все же декретных хватило на то, чтобы купить коляску оранжевого цвета, в которой мы возили тебя год, а потом кому-то подарили, но самое поразительное, что ты помнила ее цвет, моя же память начиналась с кроличьей шубки и заснеженного двора, значит, сознание мое пробудилось гораздо позднее твоего. В этой коляске, откинув верх (ребенок должен дышать свежим воздухом), я возила тебя по весенним городским улицам, пока какая-то неосторожная капля, оторвавшись от апрельской сосульки, не упала на твое спящее личико. Испуганно ты проснулась и заплакала. Почему я плачу сейчас, когда это пишу?

Этюд девятый. Тише, Маша

Сама удивляюсь тому, как хорошо помню этот день. Может, если бы все, что тогда происходило со мной, повторилось еще раз, или даже два, из памяти бы стерлись такие странные и мельчайшие подробности, как назойливая муха, прорвавшаяся сквозь марлю, пришпиленную кнопками к раме больничного окна, в другой половине которого виднелась густая июньская листва. А, может, она влетела в дверь вслед за рыженькой женщиной в халате, не могу вспомнить его цвет, да и кто помнит цвет тех пропавших хлоркой хламид, выдаваемых во всех больницах той поры. Женщина была худенькой с большим, как бы прилепленным к ней животом. Она не могла разродиться вторые сутки. «Гуляй еще», — сердилась на нее акушерка. Со мной было проще. Обманутая врачом на три недели, я была уверена в том, что рожать мне рано. И все же, было что-то не то чтобы говорящее, а скорее, подсказывающее, что внутри меня что-то происходит и надо бы узнать, что это такое. Никакого бурного отхода вод не произошло,

а именно этого я ожидала, насмотревшись фильмов с роженицами, застигнутыми врасплох в самых неподходящих местах для совершения сакрального акта рождения новой жизни. Удивительно, что мама моя, имеющая двоих детей, начисто забыла этот опыт и ничего путного сказать не могла. Отец ребенка к происходящему имел отдаленное отношение и во всем последующем участия не принимал. Была суббота. Я помню неторопливость нашего завтрака, легкое волнение, нехитрые сборы: «Вот увидишь, они отправят меня обратно...», — и дорогу пешком по лиственничной аллее в районный роддом, а вернее, в больницу им. Семашко. Дальше — предбанник приемного покоя с резиновым ковриком, круговые разводы на линолеумном полу, мокрая швабра рядом с пустым ведром в углу, бьющий в ноздри запах карболки и торопливое прощание с мамой: «Ну, я тебя подожду». Оставшись в одиночестве в пустом коридоре и поджав ноги под стулом, я покорно сложила руки на животе, в котором что-то слегка шевельнулось несколько раз. Почему что-то? Там был мой ребенок. Волнение нарастало. «Пересменка у них...» — милые нянечки, вас я тоже помню, с вашими мосластыми руками и повелительными интонациями. Хозяйки приемных покоев и пунктов по приему стеклотары, обмененной на истертые рубли с медяками. Эта, прошлепав мимо, поняла мое покорное одиночество в пустом коридоре. Пожалела. Часы в деревянном футляре на стенке отмеряли минут сорок, когда, наконец, появилась тетка с выбившейся из-под белого колпака прядью обесцвеченных волос. «Посмотрите, пожалуйста, может быть, я уже рожаю», — попросила я с неприятной заискивающей интонацией. Тетка снисходительно задала положенные вопросы. «Ну, иди раздевайся». Кресло за ширмой в соседней комнате. То самое, металлическое с растопыренными подпорками. Взобралась. Растопырилась. Зажмурилась. Тетка, засунув в меня руку, в мое живое: «Да. Ты рожашь...». Ну вот, домой, значит, меня не отправят. Сижусь в полинялом халате и чужих растоптанных тапках без задников, похожих на уши больного зайца. Хотя, почему на уши больного зайца? Не знаю. Мне так хочется. Та же нянечка повела меня кафельными коридорами в ту самую палату с мухой и рыженькой женщиной. Помню, что палата была просторной, человек на десять. Мне досталась вторая от окна койка. На первой лежала кругленькая брюнетка с волосами до плеч, разобранными на прямой пробор и пришпиленными легкомысленными заколками, то ли с бабоч-

ками, то ли с цветочками. У другого окна кто-то тихо мучился от накатывающей время от времени боли. Если мне и было тревожно, то совсем немного. Рыженькая тут же подседа с жалобами. Наверное, она так подсаживалась к каждой новой роженице. Они менялись, а она оставалась. Не помню, сочувствовала ли я ей. Пытаюсь вспомнить. Нет, не помню. Время там как бы повисло и остановилось. Глядя на рыженькую, я думала, как это странно устроено: обязательно приходит то, что кажется, будет еще нескоро. Однажды говоришь себе: «Ну вот, уже завтра». И когда оно наступает, каждый его миг становится прошедшим. Получается, что ты живешь на стыке времен, и разобраться с этим невозможно. Время моего ребенка начнется, когда я рожу, или оно уже началось? Еще я успела подумать, что рожая как-то не так, как себе представляла. А рыженькая все жаловалась. Потом в мою память влетела акушерка: «Колпино закрыли, — известила она. — Женщины, будем стимулировать!». Стимуляцией оказалась пара уколов, после которых мир изменился: качнулись плафоны под больничным потолком. Живот потянуло книзу. «А где здесь туалет?». Я дошла туда, до этого туалета, но там встала, вытянув руки и держась за скользкие кафельные стены. Бурая жидкость потекла по ногам. Мне было все равно. Все равно, потому что пришла настоящая боль. Как ее описать? Тело расщеплялось, оно готовилось к отторжению того, что носило в себе и растило, чему давало свои соки, и не было в этом ничего таинственного и торжественного, а был один физиологический акт, который предстояло исполнить. Ни о чем подобном я тогда, конечно, не думала, а просто маялась, стоя, вытянув руки и держась за стены. Кто-то бухнул в дверь. Собралась с силами, руки от стенок отлепила, открыла дверь и по коридору — в палату. А на моем месте женщина сидит. Не знаю, откуда взялась. Из Колпино, говорит. У них роддом закрыли «на проветривание». Меня немного отпустило, но сесть не могу, а лечь некуда. У окна та, которая тихо мучилась, уже кричит. Пришла акушерка. Откинула с нее одеяло, запустила руку ей между ног. Я смотрю. Ничего не вижу, потому что опять боль накатила. Схватилась за спинку кровати. Женщину увели, или она сама ушла, уже не знаю. Держусь за спинку кровати. Нянечка приходит. Тебе передача, говорит. Господи, от мамы. Она же там, за дверью приемного покоя все это время ждала, потом на рынок сбегала, нет, «сбегать» она никак не могла. Стать не позволяла. Торопясь, проследовала. Клубника, примятая в пластиковом па-

кете. Где же она успела ее помыть и оторвать зеленые хвостики? Есть это совершенно невозможно. «Возьмите себе», — нянечке говорю. Та возражать не стала. «Ты, — говорит, — иди сюда». И на освободившейся кровати пятно кровавое с клеенки чем-то подтирает. Я туда ложусь и последнее, что слышу — свой крик. Он несется к потолку. Кричу, и все в палате кричат. А я еще и думаю, какой у меня неприятный голос. Или это не мой? И ничего, кроме боли. А из Колпино все везут, потому что акушерка опять пришла к нам в палату. Или это уже другая была? Посмотрела, что там у меня делается, цепкой рукой схватила и жала. «Скоро», — говорит. Меня опять немного отпустило. Акушерка принялась за ту, что возле окна с волосами на прямой пробор и заколками. Та тоже кричит. «Ты где работаешь?» Зачем она это спрашивает? Не знаю. Мне все равно. «В торговле», — отвечает. «Ну, торговля, пошли рожать». «Торговля» исчезла, а на ее месте уже рыженькая лежит, та, что разродиться никак не могла и, кажется, рождает. У меня спина вся мокрая, клеенка скользкая подо мною, хочу встать. Встаю в проход между кроватями и держусь за спинки. Так легче. Сколько времени прошло — не имею понятия. Когда же это все кончится? Акушерка приходит. Они мне на одно лицо, не знаю даже, сколько их там. «Ну, — говорит мне, — пошли». Куда идти-то? Сил особых нет. «Да тут недалеко», — говорит. Иду, а сама за стенку держусь. Теперь уже большая пустая палата, в каждом углу по тому самому креслу. Светло. Солнце бьет через покрашенные стекла окон. Взбираюсь. В меня снова лезут цепкие пальцы, и тут откуда-то сбоку раздается громкий телефонный звонок. Отдается в голове. Акушерка уходит, что-то говорит. Слышу: «Так она у меня сейчас рождает». Возвращается. «Это из Колпино звонили, про тебя спрашивали. У тебя там кто работает?» — «Подруга. Мы вместе работаем». — «А ты где сама-то работаешь?» — «В жилконторе». Акушерка удивляется: «Так твоя подруга-акушерка работает в жилконторе?». А сама живот мой в стетоскоп слушает. «Ну давай, жилконтора, тужься! Давай!» Тужусь. Мне уже давление меряют. «У тебя что, всегда повышенное?» — «Вроде нет...» — «А ну давай тужься еще, загубишь мне ребенка!» Тужусь. Тужусь. «Давай еще. Голова уже видна. Ты давай не останавливайся». Чего-там уже вдвоем возле меня. Господи, да все ли в порядке там с моим ребенком? «Тужься, жилконтора!» «Жилконтора»

тужится из последних сил, что-то выскальзывает из меня и подхватывается чужими руками. Мне показывают маленькое тельце, залепленное слизью. Глазки плотно закрыты. Лицо наморщенное, размером с кулачок. Вдруг открывает крошечный ротик и слабенько попискивает. Девочка. Ее перекидывают на животик и несут под кран в раковину. Я вижу, как ловко и привычно обмывают. Потом уже показывают запеленованную, тихую. Глазки снова закрыты. «Два семьсот», — говорят. «Ой, — пугаюсь я. Она, что, недоношенная?» — «Очень даже доношенная, просто маленькая». Ее уносят, а я лежу на том же кресле. Соединять ноги и опускать нельзя. Неужели еще не все? Чувствую, что кровь из меня стекает куда-то вниз, под кресло. Вдруг я потеряю слишком много и умру? Мне уже нельзя умирать. Спросить некого, все у другого кресла, где рождает рыженькая. Там что-то серьезное, мне ничего не видно. Рыженькая старается тужиться. «Давай-давай, — говорят ей. — Голова уже вышла. С открытыми глазами лезет, не иначе как пацан. И впрямь пацан. Первый за все утро, а то все девки да девки. Он сидел долго, выходить не хотел». Рыженькая счастливо что-то отвечает. Тут одна вспомнила про меня. На живот мне нажала, за что-то потянула. На печенку похоже. В пластиковом пакете это унесла. Ну вот и все. Теперь надо с кресла сойти, освободить место для следующей. Перелегла на каталку, нянечка меня выкатила в коридор и все. В смысле — лежу на каталке насквозь мокрая от пота и еще чего-то липкого, и не просто лежу, а трясет меня отчего-то. Очень сильно трясет, просто зуб на зуб не попадает. В книгах про такое пишут — «содрогается всем телом». Именно. Помню, что ни одной мысли в голове не было. Если еще утром я думала о том, что ожидаемое завтра наступило и стало сегодня, то в коридоре на каталке ничего не думалось, даже о каждом миге, превращающемся в прошлое. Там времени не было. Исчезло. Осталось дрожащее тело. Потом стало холодно. Пришлось сползти с каталки, а идти — не могу. Так и стою, жалкая и замерзшая. Если время где-то и было, то только не в том коридоре. Нянечка, моя спасительница, мимо шлепает: «Ну чего с каталки-то слезла? Замерзла? Жди, когда доктор освободится, зашивать тебя будет». И помогла мне обратно взгромоздиться, потом еще покрывалом накрыла. Я потихоньку согрелась и даже вздремнула.

Кажется, вечерело, когда меня снова куда-то вкатили. Там стояло то самое кресло, и доктором оказался молодой человек. Скорее всего, студент-практикант. Перебраться с каталки на кресло никто, конечно, не помог. Легла. Молодой человек молча звякнув каким-то инструментом на столике, подсел поближе, немного повозился где-то там, между моих ног, и вставил в меня иглу. Самую настоящую. Это и было «зашиванием», вернее, его началом. Шил на живую. Анестезию принципиально не делал или у них не было? Колпинские разобрали, что ли??? Он вставляет иглу, я дергаюсь. Он вставляет иглу, я дергаюсь. «Тебя как зовут?» Молчу. Перевожу дух. «Как фамилия-то?» — спрашивает. «Дубровская». — «Ах, Дубровская! “Тише, Маша! Я Дубровский!”». Начитанный попался. И что вы думаете? Зашил.

Дальше провал. Еще дальше — палата. Солнечное прекрасное утро. Мы перевалились в него, в тишину, в знакомый с детского сада запах подгоревшей каши, в куски мягкого ржаного хлеба, переслащенного кофе из бака с краником, в звуки шаркающих разношенных шлепанцев, в первый боязливый взгляд на свое лицо в зеркале больничной уборной. Странные фиолетовые пятна. Это полопавшиеся от напряжения сосуды. Низ живота тянет. Наверное, начали заживать швы. Распирает грудь. Тело живет своей жизнью. Ему предназначено материнство. В этом много страха и физиологии.

Время снова пошло. Оно запускается тогда, когда чего-нибудь ждешь. Я ждала встречи с тобой.

Этюд десятый. Грустная память

Такие дни наступают на закате изнурительного жаркого и влажного лета, когда сочные листья деревьев высыхают, но еще не меняют окрас, а как бы повисают на ветках в бессильной усталости. Ветер, пробравшийся с севера, иссушает влажность, пробегая по кронам деревьев, распугивает неугомонных птиц, замирает в прибрежных камышах. В это время память моя грустит, отправляет в далекий сентябрь, на полупустынный пляж с песком, исчерканным лапками чаек. Тебе шесть лет, о школе можно пока не думать, а просто собирать ракушки в ведерко, рассматривать на свет их кружевной узор, разгонять чаек, с шумом взлетающих

над песчаной отмелью. Я в стороне наблюдаю за вами, за твоей сосредоточенной и немного неуклюжей повадкой. О чем это вы там неторопливо беседуете? Пытаюсь догадаться.

Вот вы подходите к паре мальчишек, строящих замок из мокрого песка. «Tule, tule siia!» — кричит один из них, приглашая тебя принять участие в строительстве, но только пугает и с недоумением поглядывает на то, как ты пускаешься наутек в мою сторону.

Как-то я просила тебя вспомнить счастливые дни твоего детства. Ты сказала, что оно было настолько счастливым, что ты не можешь выделить из него даже одного дня. И уже много позднее, в каком-то отчаянном запале написала мне, что мы не имеем отношения к твоему детству. Если мы не имеем, то кто же?

Лет в пять тебе приснился замечательный сон: собаки колли с человеческим лицом гуляют, кажется, где-то в горах. Мне почему-то видятся Альпы. «Кто вы?» — спрашиваешь ты. «Мы — Иисусы Христы», — отвечают собаки.

Этюд одиннадцатый. Эмиграция

Эмиграция сводит с самыми неожиданными людьми. Так случилось, что со мной познакомилась довольно пожилая дама со следами былой красоты на лице. Она как-то заинтересовалась мной, пригласила в гости в свой большой и одинокий дом, в котором кроме нее жила еще раскормленная такса, страдающая общими с дамой болезнями. В гостиной на каминной полке стояли семейные фотографии. Фотография дамы в молодости привлекла мое внимание: прекрасное лицо в ореоле белокурых волос, прозрачные, видимо, небесного цвета глаза (фотография была черно-белой), рука с тонким запястьем, поддерживающая остренький подбородок. Разговорились. Наташа, так звали даму, страдала от одиночества. Скорее всего, этим я и была обязана ее приглашению. Дети разъехались, муж, кажется, не первый, в другом штате. Тогда это показалось странным. Сейчас я этому не удивляюсь. «А что вы посоветуете мне почитать?» — полюбопытствовала она. Давно оторванная от родины, она сохранила интерес к русскому языку и литературе. Я и посоветовала «Искушение» Горенштейна. Странный это был выбор, можно было назвать десятки других имен. Но по велению какой-то неведомой

силы предложена была именно эта книга, которую я ей и доставила при следующей встрече. Через неделю книга была возвращена с нескрываемым возмущением.

— Вижу, вам не понравился Горенштейн.

— Это же все неправда!

Ответ заинтересовал:

— Что неправда?

— Немцы так не расстреливали!

Это было даже не столько неожиданным, сколько ошеломляющим. Напротив меня сидела грузная немолодая женщина с тяжелым двойным подбородком, выщипанными по старой моде бровями и когда-то небесного цвета глазами, сейчас казавшимися обесцвеченными.

Отечные пальцы в кольцах. Она до сих пор давала уроки игры на фортепьяно. «Должно быть, артрит», — некстати подумалось мне.

— Уж я-то знаю! Автор пишет о том, о чем не имеет представления.

Что-то не позволило мне задать вопрос в лоб. Все-таки я была гостем в этом пустом и одиноком доме. За чаем выяснилось, что Наташа жила в оккупации, еще когда была совсем юной девушкой. Мне не запомнился ее рассказ о том времени, он был какой-то невнятный, а вот то, что в Штаты ей удалось въехать не сразу, запомнила: «Кто-то написал донос, что я была связана с нацистами!» — возмущение в голосе казалось искренним. Все это было настолько необычно, что я стала расспрашивать о Наташе старушку Сэду, которая кое-что о ней знала. Мир тесен в провинциальном городке, старушка Сэда, у которой я жила в ту пору, была дружна с Наташиной матушкой, умершей до моего появления в этой истории. Глаза небесного цвета и белокурость Наташа унаследовала от отца, австрийского коммуниста, бог знает каким ветром занесенного в советский Минск. Он погиб до ее рождения. Несложные математические вычисления помогают предположить, что причина его смерти все же была иной, чем та, которая настигнет его товарищей по Интернационалу десятью годами позже. Приемным отцом Наташи стал «очень хороший человек. Доктор. Еврей», — армянское Сэдопкино «р» в последнем слове прозвучало немного грассированно. При этом она многозначительно взглянула на меня. Потом началась война, и бе-

жать из Минска они не успели. Семья доктора попала в гетто. Дальнейший рассказ был повторением кадров многочисленных фильмов про войну. Жителей гетто выстроили в длинную цепочку, которую обходили нацисты, вглядываясь в лица обреченных людей. Наташу сразу же отделили от толпы, вырвав у матери. Дальше — просто фантастика. Один из офицеров был покорен красотой шестнадцатилетней девочки. Судя по фотографиям, она действительно была хороша. Он женится на ней. Отправит ее с матерью в Вену, где она будет учиться музыке. Дальше в Сэдошкином рассказе последовал провал. Видимо, ей были неизвестны подробности бегства Наташи в Сербию уже после поражения Германии. Нацист исчез из повествования, но, видимо, запомнился кому-то, написавшему на нее донос. Не случайно же она знала, как расстреливали немцы. Уже в Сербии она вышла замуж снова и оказалась вместе с мужем в Америке. «Как же ее впустили с таким прошлым?» — удивилась я. «Ну, она была к тому времени беременна. Второй муж к нацистам отношения не имел. И потом, знаете, красота — страшная сила!» — расширив глаза, Сэдошка снова обдала меня очередью грассированных звуков.

Недавно мне снова попалась эта книга Горенштейна. Что же там так возмутило Наташу? Философско-библейскую часть в этом заподозрить было нельзя. Рассказ о дочери, написавшей донос на собственную мать, тоже. Скорее всего, эти два предложения:

«Нужно перенести несколько братских могил из центральной части города на кладбище. В войну хоронили где попало...»

Сейчас уже нет в живых ни Сэдошки, ни Наташи. Она-то знала о немецкой пунктуальности. Где попало расстрелянных не хоронили.

Этюд двенадцатый. Невидимый свидетель

Выбора не было: кровать помещалась только вдоль одной стены, правда, можно было лечь головой напротив окна, в которое заглядывала желанная гостья — ветка дерева неизвестной породы. Крошечные размеры комнаты меня вполне устраивали. Переезд и обустройство нового места настолько измотали, что обычно чуткая к любому шуму, я крепко спала первую ночь. Все пошло к черту на второе утро. Шум за стеной не оставлял ни ма-

лейших сомнений: там была спальня, причем, кровать соседей стояла вдоль той же стены, что и моя. Так я стала невольным свидетелем интимной жизни неизвестной мне пары.

«Ты же можешь им постучать, мол, я все слышу», — приятельница явно потешалась над моей проблемой. «Вообще-то они занимаются тем, чем положено заниматься семейным людям в их спальнях», — засомневалась я. «Тогда купи ковер — звуко-непропускаемый».

Про звуконепропускаемые ковры никто не знал, пришлось купить простой. «Так это ж гипсокартон! Гвоздь входит, как в масло, по самую шляпку». Нанятый мужик деловито встукал гвозди в тонкую стенку. Потом повесил ковер, пообещав его скорое падение: «Не удержится, — розовая пятерня в рыжих волосках проворно схватила протянутую десятку. — Звоните, если что». Ковер держался, но не препятствовал проникновению раздражающих звуков. Беруши приглушали, но и только. Было что-то удивительное в регулярности и длительности невидимых сцен. «Ну терпи-терпи!» — моя приятельница была сторонницей решительных действий. Но каких? Эти люди жили в другом подъезде, я не знала даже номера их квартиры. Дом преимущественно был заселен престарелыми корейскими парами. Иногда у моей двери шелестел плащом одинокий китаец, живущий наверху. У русской тетки через площадку по выходным пели романсы. Было еще семейство греков. Но кто жил за тонкой перегородкой, разделяющей наши кровати? «Наверное, латиноамериканцы», — в моем представлении только они могли так самозабвенно исполнять супружеский долг.

Но я ошиблась. Однажды за стеной стало происходить что-то неожиданное: среди ночи там закричали на английском языке то, что кричат друг другу время от времени люди во всем мире. «Ненавижу тебя! Как же я ненавижу тебя!» — солировал женский голос. Мужской — отвечал набором стандартных американских ругательств. Под утро они затихли. Женщина плакала. «Ну вот», — почему-то расстроилась я. Днем в той спальне что-то двигали, наверное, мебель. «Неужели разведутся?» Мне бы воспользоваться воцарившейся ночью тишиной, но сна как ни бывало. Я прислушивалась к малейшему шороху за стенкой. Там было тихо. Непривычно. Тень от ветки чертила узоры на подоконнике и потолке. Странное беспокойство не давало ус-

нуть. Наверное, я успела привыкнуть к жизни этих людей за тонкой перегородкой. Сказать, что мне их не хватало, было бы преувеличением, но их вторжение в мое одиночество оставило след. Уснула я под утро, а уже следующей ночью была разбужена знакомым крещендо. «Ну, слава тебе, Господи! Помирились!» И я задремала, дождавшись затишья.

Больше рассказывать особенно нечего. Через какое-то время из-за стены донесся детский плач. Счастье было в том, что раздавался он из глубины квартиры. Потом ребенок подрос и топал довольно громко по спальне родителей. Там же они снова ссорились, мирились, двигали мебель, красили нашу общую стену со своей стороны и, да, занимались тем, чем занимаются ночами все супруги. Догадывались ли они о моем существовании? Вряд ли. Я оставалась невидимым свидетелем их жизни, пока не произошло совершенно непредвиденное событие: наш пятиэтажный дом сгорел, вернее, сгорела его половина, проходящая по той самой общей стене. Изрядно помыкавшись, я нашла новое пристанище, но это уже совершенно другая история, в которой ничего не будет о соседях за тонкой стенкой.

Этюд тринадцатый. Соседка Нюра

У этой женщины было простое крестьянское лицо. Голубые глаза, заметные морщины у глаз и рта, выпуклый лоб, прямые русые волосы под платком или зачесанные назад полукруглой гребенкой, сидящей на затылке. Наверное, ей не было даже сорока лет. Обычно такие женщины работали уборщицами, нянечками или дворниками. Вот и по ней было видно, что она привычна к тяжелому труду и жизни в бедности. Ее старший сын, паренек лет пятнадцати, походил на нее. Такой же голубоглазый, он быстро вытянулся из поношенной одежды с чужого плеча. А вот муж, аккуратно одетый в костюм и отглаженную рубашку с воротником поверх пиджака, внешне напоминал прораба какой-нибудь стройки. Старшенький, скорее всего, был не от него, зато трое других детей, все белобрысые с короткими курносыми носами и тяжелыми подбородками, походили на «прораба». Время от времени я встречала на лестнице старшую девочку лет тринадцати, одетую в школьную форму. Они жили на втором этаже, а мы в квартире над ними. Это было время коммуналок и длин-

ных очередей за «дефицитами». Я не знаю, как они все уживались в одной комнате, мне с мамой и моей годовалой дочерью было тесновато на такой же «жилой площади». Не помню, когда мы заметили беременность нашей юной соседки. Она все реже появлялась на людях, а однажды мы встретили ее мать с коляской, в которой лежал младенец. Женщина вежливо поздоровалась. Что-то дрогнуло в ее лице, когда она посторонилась, давая нам пройти. Само собой получилось, что я собрала в кучу одежду, из которой выросла моя дочка. Кто же не знает, как быстро растут дети. Моя мама вызвалась отнести распашонки и ползунки с пеленками в нижнюю квартиру. Её долго не было. Визит вежливости явно затягивался.

— Нянчилась там, что ли? — ревниво спросила я, когда она вернулась.

— Какой там!

Интонация настораживала.

— Нюра бедная, — так звали женщину, — тащит все на себе. Теперь вот еще и это.

— Да что «это»? — не понимала я, — Ну родила в пятнадцать лет. Кого родила-то, кстати?

— Девочку родила. Лежит эта девочка, ручками-ножками дрыгает, а Нюра мне и говорит: «Вы разве не видите, что у нас все дети на одно лицо?». И как слезы у нее потекли.

— Что-о?

— А ничего! От борова этого и родила. Изнасилдовал свою же малолетнюю дочь!

— Так его же в тюрьму за это надо!

— Так и я ей говорю, а она мне: «Ну вот посадят его, дадут лет десять, а как мне одной детей прокормить?».

Они уехали куда-то довольно скоро, наверное, получили долгожданную квартиру, рассчитанную на многодетное семейство. Дочка моя выросла. Мама умерла, а что стало с ними, я не знаю.

Этюд четырнадцатый. Снова дочь

Я все чаще забываю три цифры в середине твоего номера телефона. Последние четыре легко запомнить, первые три одинаковы для всех, а вот те три, что между ними, всплывают в па-

мяти лишь иногда. Если номер записать, мне будет не справиться с соблазном позвонить и услышать тебя на автоответчике. Кажется, мой голос уже не дрожит, когда я оставляю сообщение. Ты никогда не отвечаешь и не перезваниваешь. И я снова забываю эти три цифры. Но у меня есть письма, отправленные тобой десять лет назад по электронной почте. Иногда я осмеливаюсь заглянуть в одно из них, тогда знакомая боль сжимает мое сердце. Я вижу твоё детское лицо, искривленное в обиду. Ты плачешь. Почему я не вспоминаю тебя счастливую, хохочущую, топочущую или без умолку говорящую? Почему ты всегда плачешь в моих воспоминаниях? Потому что я ничего не чувствую, кроме вины и жалости? И тогда я спрашиваю себя, в чем? В чем я виновата? Мне кажется, я знаю ответ, но это совсем не то, в чем упрекаешь меня ты. Иногда я мысленно еду к тебе, хотя не знаю твоего нового адреса, старый, должно быть, изменился за прошедшие десять лет. Или ты живешь все в той же крошечной студии, заставленной и завешанной твоими картинами? Как мы любили их рассматривать... Коты наверняка присутствуют тоже. Еще помню велосипед, поставленный у стены в узком коридоре. Легкий укол привычного страха за тебя. Вдруг это опасно? В парке, напротив которого ты жила, есть специальная дорожка для велосипедистов, но чтобы туда добраться, нужно пересечь оживленную улицу. Вдруг ты не остановишься на красный свет? Нет. Я не могу думать об этом.

Название остановки я вспомню наверняка, как и поворот к твоему дому из метро, потом найду дом и квартиру, с квартирой будет проще всего: у нас одинаковый номер. Ты окажешься дома, откроешь дверь и замрешь на пороге от неожиданности. Десять лет — долгий срок, можно перестать вздрагивать от каждого звонка, боясь моего появления. Я не найду ни единого слова в ответ на твой взгляд, разве что удивлюсь толщине кошки, выскочившей в коридор из открытой двери.

Тебе придется выйти за ней, оставив дверь открытой. Там, на пороге, я и буду стоять, не зная, что сказать. Там я и остаюсь, не рискуя переступить через него даже в своем воображении. Иногда мне видится твой дом. Обычная бруклинская пятиэтажка с облупленными стенами. Там люди живут в ладу друг с другом, иначе разве струился бы из его окон такой мягкий и ровный свет. Мне кажется, на твоём подоконнике стоят

горшочки с комнатными растениями, этими неженками и приживалками, требующими внимания и ухода, как та самая роза из любимой сказки. Значит все хорошо, успокаиваюсь я. И больше ничего не вижу.

Этюд пятнадцатый. В богадельне

Они зовут меня «Спиди». В этом слове нет ничего обидного, во всяком случае, я нахожу его даже ласковым, если учесть, что я еле двигаюсь, с трудом толкая ходунки. С другой стороны, они не прозвали меня «Зубастиком», хотя у меня во рту давно нет ни одного зуба, или «Лысыком». Догадайтесь сами по какой причине. Ну да.

Вообще-то, сначала они меня будят. Вот этого я не люблю. Все самое хорошее в моей жизни происходит во сне. Правда, сейчас я все чаще проваливаюсь в какую-то пустоту, но иногда она озаряется светом, и оттуда ко мне выходят давно умершие люди, или я оказываюсь в местах, уже нигде не существующих. Это трудно понять. Я знаю. Как же этого нет, если, засыпая, я это вижу. Голоса я тоже слышу. К сожалению, не только во сне. За занавеской справа храпит Мэри. Бедное дитя. Если они за ней не присматривают, она забредает ко мне и пытается улечься в мою постель. Вот этого я тоже не люблю. Подождите, я же еще чего-то не любила. Ну да. Я не люблю, когда они меня будят.

Когда-то я просыпалась рано, стояла под душем, завтракала. Решительно не могу вспомнить, что я делала потом.

Сейчас по утрам я слышу их торопливое топотание за занавеской. Сначала они возятся с Тони. Этому олуху 103 года. Нет, подождите, ему было 103 года в прошлом году, или я что-то путаю? Да какое это имеет значение. Откровенно говоря, я не совсем понимаю, что такое прошлый год. Короче, на его день рождения ему надели галстук и пиджак поверх пижамы. Сфотографировали, а фотографию повесили в столовой: «Долгожители нашего заведения. Наши услуги продлевают вам жизнь». Так бедный олух объелся по случаю еще одного преодоленного года. Хорошо, что под пижамой у него был памперс. Нюх-то у меня хоть куда. Вонница стояла на все заведение. И, скажите мне, зачем такую жизнь продлевать?

Так вот. Утро для меня наступает тогда, когда одна из них отдергивает занавеску и появляется с тазиком в руках в моем отсеке. Я никогда не спешу открывать глаза. Чаще всего они догадываются, что я уже не сплю. Понятное дело, они не могут тратить на меня много времени — у них еще есть Мэри, которую тоже надо помыть тряпочкой из тазика и одеть. Когда-то мне было интересно, меняют ли они тряпочки или это одна и та же. Первым-то моют Тони, вернее, протирают его разные места. Что-то ему слишком нравится эта процедура. Ну, вы меня понимаете. Правда, со временем мне стало все равно. Тряпочки, виниловые перчатки, тазики с теплой водой — неизбежные принадлежности

А вы заметили, как к концу все меньше и меньше надо? У меня вообще ничего нет, даже это платье мне не принадлежит. Я терпеть не могу носить платья. Сколько себя помню, ходила в брюках, но этим-то не объяснишь, им-то лишь бы побыстрее умыть да одеть. Видите, какие у меня тонкие ноги. Гольфы и то спадают, а чулок мне не дают, чтобы не возиться с резинками.

Мэри тоже худая, но это потому, что она отказывается от пищи. Зато у нее прекрасные волосы, и седины совсем немного. Когда-то давно, не помню когда, она сказала мне, что перестанет есть и поэтому умрет быстро. Бедное дитя. Она не знала, на что они горазды. Как, и вы не знаете? Ночью они подключают эту бедняжку к каким-то трубкам. Вот уж, мне этого не надо. Спасибо большое. Вначале они мне тоже подсовывали какие-то бумаги. Ну, тогда-то я еще кое-что соображала. Везде написала «нет» и «нет». Никаких воскрешений. Я им не подопытный Лазарь какой-нибудь. Подождите, откуда я знаю это имя? Ну да. Но второй-то раз он все равно умер, не так ли? Так зачем нужно было поднимать столько шума? Родственники плакали... Слава Богу, у меня их нет. Плакать будет некому, и дело с концом. А вот у Мэри были дети. Или есть? Поначалу-то к ней кто-то приходил. Кажется, дочь. Веселая такая толстушка. Думаете, это она хотела, чтобы Мэри тянула как можно дольше? Ей-то что с того? Одна морока. Тут у нас не очень приятное место. А вам кажется приятным? Это потому, что вы здесь не живете. Птички?.. Ну да... поют в клетках... цветочки... Кошка нравится? Толстая как муфта, а звать ее Коко. Сначала она была тощая и жалкая. Одни ребра и хвост. Зато теперь — хоть куда. Я ее даже поднять не

могу, а все потому, что они стали подливать ей в блюдце ту же гадость, что и у Мэри в трубках. Питательная смесь, говорят, полезная для всех. Вот уж спасибо. Так что Мэри не ест днем, а ночью они накачивают ее этой жидкостью и не дают спокойно умереть. Бедное дитя. Она с юга. Знаете этот южный акцент? Ничего разобрать невозможно. И чего ее сюда занесло? Там у нее был дом. Наверное, большой и светлый. Все дома должны быть большие и светлые. Вы заметили, какие у нас крошечные отсеки? Только кровать и умещается. Но мне места хватает. Я же говорила — к концу все меньше и меньше надо. Однажды этот олух вкатился сюда со своими ходунками. Может, на что рассчитывал. Ну, вы понимаете. Так я его так шуганула, что он заплакал. Испугался, наверное. Правду говорят — старый, что малый. Тут эти набежали, стали его успокаивать. Подождите... Дайте переведу дух... Я всегда кашляю, когда смеюсь.

Жених? Какой жених? Это вы шутите? У меня никогда не было женихов. Этот олух за занавеской? Тони... Антонио... Из итальянцев. Живучий. Итальянцы все живучие. Цепляются за жизнь до последнего вздоха. Они много едят, пьют и испражняются. Это у них называется жизнелюбием. Неделикатный народ. Я думаю, Тони так долго живет потому, что боится умереть. Когда-то мысль о смерти наводила и на меня ужас. Сейчас-то мне даже любопытно. Я вот все силюсь понять, как это, когда меня нет. Могу даже представить, что у меня нет тела, но дальше этого не продвинулась. Душа? А что душа? Еле теплится... Простите, я, кажется, уснула. Это у меня бывает. Засыпаю на середине слова. О чем мы говорили-то? Ну да.

Стало быть, вы верите в Бога, а сюда пришли из добродетельных соображений: поддержать мой дух перед тем, как я его испущу. Вот уж спасибо. Подождите, так это вы поставили картинку молодого человека с голубыми глазами на мою тумбочку? А Мэри говорила, что Христос был черным. Да ладно вам, ну что вы так раскипятились? Мне — так без разницы, какой Он был. Я не то чтобы не верю в Бога, мне просто кажется, что Он давно потерял меня из виду. Конечно, молюсь. Как, какими словами? Да какие приходят на ум, такими и молюсь. Послушать вас, так выходит, что Он потерял меня из виду из-за того, что я неправильно молюсь. А вы, стало быть, знаете как надо. Конечно, да-

вайте помолимся, только, боюсь, мне уже не запомнить эти ваши правильные слова. Уж позвольте мне по-стариковски, как умею. А что это там за занавеской возня какая-то?

Сделайте одолжение, взгляните.

...Какой славный сон мне сейчас приснился. Сначала пусто и темно, как всегда, а потом свет... и там она — тоненькая шейка в кружевном воротничке, пальцы в чернилах, манжеттики, ножки, как у лошадки. Как же я про тебя, милая, совсем забыла? Вот ты и пришла. Кажется, там рядом еще кто-то был. Не разглядела. Да мне и неважно. Сколько помню, всегда за тобой следом какой-нибудь ухажер тащил твой портфель. Коричневый с загнутым уголком. И на выпускном балу у тебя отбоя от кавалеров не было, а я всегда была страшенькой и из своего закутка за тобой подглядывала. Любовалась. Как же тебя, милая, звали? Не помню. Неужели и ты сейчас такая же, как я?

Что такое? Тони умер? Бедный олух. Ну, что я вам говорила? Я ведь молилась, чтобы Он меня прибрал, а помер Тони. Ну, кашка, так кашка. Что-то я немного проголодалась.

Этюд шестнадцатый. Нина Зуева

Вот уж чего Нинка никогда не могла подумать о себе, так это то, что она личность трагическая. Она и слов-то таких не знала, а если и знала, то никогда не произносила, обходясь словами другими, известными ей с детства. Она и про детство свое ничего не могла рассказать, как я ее ни расспрашивала. На все вопросы Нинка вскидывала на меня быстрый взгляд, в котором не было ничего, кроме недоверия.

— Детство как детство, как у всех деревенских.

Иногда она улыбалась, показывая железную коронку в неровном ряду прокуренных зубов. Нинка курила папиросы любой марки, заправски дунув в пустой конец гильзы, она ловко прикусывала папиросу, небрежно прикуривая от разгоревшейся спички. Курить она научилась давно, еще в том деревенском детстве, о котором мне было мало что известно. Впрочем, кое-что я все-таки потихоньку узнавала.

— Ну что это за молоко? Оно и молоком не пахнет. Вода белая, — разразилась Нинка однажды, увидев, как я наливаю молоко в кошкино блюдце.

— Не знаю, — смутилась я, — кошке вроде нравится. Мы с ней другого молока никогда не пили.

— Вот и худые обе. У нас в деревне кошки были гладкие, шубки аж лоснились. А хитрющие! Знали, когда пастух гнал стадо домой, коров у околицы встречали.

— Так у вас корова была? — заинтересовалась я

— А как же? Мать поросят держала, кур. Коза была. Цельное хозяйство.

Обычно скрытная Нинка ударилась в воспоминания.

— Мать в совхозе работала на парниках, они там овощи выращивали. Помидоры знаешь, какие были: во!

Своей лапищей Нинка показала внушительный размер помидора. — Не то, что мелочевка болгарская без вкуса и запаха.

— Как же она успевала со своим хозяйством?

— Дык мы помогли. Я да сеструха. Все деревенские так.

Ни свет ни заря, а мы уже айда по хозяйству. Корму дать, навоз убрать. Грязи по колено. Это тебе не в туфельках цокать.

Нинка слегка качнула головой в сторону моих босоножек-плетенек, небрежно брошенных у двери. Поджав ноги под стулом, словно стесняясь их размера, она, наверное, осуждала беспорядок в комнате. Убиралась я по выходным, а была еще только середина недели. Какая-то посуда уже сгрудилась на столе, виновато сдвинув грязные тарелки, я поставила чашки для чая. Чайник на кухне не торопился закипать. В наступившей паузе Нинка закурила, показав заскорузлые обветренные руки с траурным ободком под ногтями. Мне хотелось разговорить ее побольше.

— Так ты и корову доить умеешь?

— А че там уметь? Сжимаешь, да тянешь тихонько за сиськи, вот и все.

И снова стала рассказывать про кошек, крутящихся под ногами у коров в ожидании пролитых лужиц молока. У Нинки с кошками, судя по всему, была любовь. У нее даже смягчилось выражение лица, когда она говорила про этих деревенских хитрюг. Вот и моя, налакавшись какого-никакого молока, пристроилась на ее коленях. Тут и чайник поспел. Чай пили с сушками, болтая о том о сем. Посидев еще немного, Нинка осторожно сняла кошку с колен и удалилась.

В моей жизни она появилась, открыв дверь в кабинет участкового врача.

— Сейчас не ваша очередь, — строго сказала я, увидев высокого мужика вместо ожидаемой Нины Зуевой.

— Моя, — сказал тот и сунул мне раскрытый паспорт: Зуева Нина Анатольевна, 1946 года рождения. С фотографии недружелюбно смотрела женщина с толстой косой вокруг головы, чем-то напоминающая вошедшего. Ничего не оставалось, как сказать: «Проходите!».

Кроме паспорта ничто не подтверждало женский пол Нины Зуевой.

— Что-то я вас не припомню, — встрепенулся Лукин.

Своих больных он знал в лицо, отработав на одном месте больше пятнадцати лет. Про себя молчу, я перешла к Лукину недавно.

Нинка оставила реплику врача без внимания. Усевшись на стул, она сняла кроличью шапку, обнажив остриженную под горшок голову с темно-русыми, распадающимися на прямой пробор волосами. От косы не осталось и следа. Жаловалась она на кашель и боль в боку при дыхании. Судя по всему, пневмония.

— Раздевайтесь! — скомандовал Лукин.

Нинка долго возилась с пуговицами рубашки, под неснятой майкой, как две большие дыни, висели груди. Лифчик она не носила. Потом она послушно дышала и покашливала.

— Хрипов до черта! Воспаление легких! Антибиотик десять раз внутримышечно!

Я послушно выписала рецепт, который подмахнул Лукин.

— И чтоб дома лежала! Никуда не ходила. Банки есть кому ставить?

Нинка неопределенно пожала плечами.

— Медсестра к вам будет ходить, ставить уколы и банки. Все понятно?

Все всё поняли. Медсестрой была я. Вот тогда-то мы и познакомились поближе.

Зуева жила в коммуналке в одной комнате с сестрой. Той самой, с которой они с детства «колотились» по хозяйству. Я так и не узнала, как судьба завела их в город. Валентина была старшей, очень полной женщиной с одышкой, кроме толщины и астмы,

ничем не отличающейся от своих товаров, с которыми она мыла лестницы домов нашего участка. Нинка слушалась ее и помогала, как могла. Она и простудилась, таская баки с пищевыми отходами на улицу. Через две недели дело пошло на поправку, и Нинка подарила мне коробку дорогущих конфет. Как-то так само получилось, что я пригласила ее к себе попить чаю.

Я до сих пор не уверена в том, что позвала ее только из ответной благодарности. Все-таки, такие «аномалии», по словам того же Лукина, встречаются нечасто, а может, уже тогда я подсознательно чувствовала трагизм Нинкиной жизни, чего не скажешь о ней самой. Выглядев женщиной, она упорно называла себя женщиной и не видела в этом, насколько я знаю, никакого противоречия.

Мне хотелось узнать ее поближе. Она стала время от времени заходить в гости, никак не распространяясь о своей «аномальной» жизни. Зато наша дружба не осталась незамеченной.

— Што там у Нинки в штанах-то, уже проверила? — ухмыльнулась тетка на коммунальной кухне, когда я уходила от больного.

Стало противно. Я молча прошла мимо нее.

— Говорят, у ей там все в порядке. Обслужит по полной программе, — не унималась та.

Сколько же такого пришлось выслушать Нинке?

— А можно ей сменить пол? Ну, официально. Все-таки она выглядит как мужчина, — спросила я Лукина.

Тот честно ответил, что не знает.

Какое-то время я ее не видела, она вроде бы куда-то уезжала. Настали голодные девяностые. Лукин ушел из поликлиники в кооператив и звал меня, я что-то медлила. И вот однажды кто-то бухнул в дверь моей комнаты. На пороге стояла Нина Зуева со здоровым фингалом под глазом.

— Проходи, говорю. Давно не виделась.

Нинка плюхнулась на диван и... заплакала. Совершенно поженски.

— Что ты, Ниночка? Что случилось?

— Я так устала от побоев! — и смотрит на меня. Один глаз совсем заплыл.

— Да кто тебя бьет?

— Сеструха. Я и так ей делаю все, понимаешь? А она бьет меня каждый день.

— Так не живи с ней. Возвращайся домой в деревню, к матери.
— Дык мать умерла. Как увидела меня в мужицком, так ей плохо стало. Потом и вовсе померла.

Я успокаивала ее как могла. Ночевать она у меня не осталась: «А то люди говорить будут всякое». И опять пропала куда-то.

Между тем, в стране и в кооперативе дела шли неважные. Доктор Лукин уехал в Германию, а мы с кошкой ели вареный картофель без масла и сметаны. Об отъезде задумалась и я. Нужно было решать, что делать с кошкой. И тут я вспомнила Нину Зуеву. Оказалось, что она живет по старому адресу, но уже без сестры, которая умерла.

— Сирота я теперь, — пожалилась Нинка и, не сдерживаясь, залилась слезами. — Совсем одна осталась.

Я не стала ей напоминать о том, как Валентина избивала ее. Зачем вспоминать неприятное, тем более что кошку мою Нинка взяла с радостью. Я уехала в Америку, и уже прожив там несколько лет, получила весточку от Лукина, где он, между прочим, написал, что в конце девяностых годов Зуеву нашли повешенной на чердаке одного из домов на Моховой. Какое там было следствие, не знаю, но перед смертью ее истязали. Вот я и говорю, если она не была личностью трагической, то тогда — какой же?

Этюд семнадцатый. Мост

Если бы Францу Кафке довелось пожить в нашем городке, он, возможно, написал бы роман «Мост». В этой железобетонной двухъярусной конструкции заложена какая-то метафизическая сила, стягивающая скалистые утесы провинциального Нью-Джерси с мерцающим в вечном мареве Манхэттеном. Одна из молодых поклонниц Сэлинджера вспоминает об их прогулке по берегу Гудзона и о своем восхищении открывшимся величественным видом сооружения, протянувшегося над рекой. «Постарайтесь не говорить очевидные вещи», — осадил ее писатель. Представляю смущение бедняжки. Первый приступ ужаса перед внезапным обвалом и падением в Гудзон герой рассказа Чивера испытал, проезжая именно через «Джордж», так любовно американцы зовут мост Вашингтона. Наверняка существует множество и других упоминаний этого строения. Было время, когда мост

часто мелькал на страницах нью-йоркских журналов: то в тумане, то в ночных огнях, то в лучах заходящего солнца. Никаких излишеств, строгость форм и торжество инженерного расчета. Мост-пуританин, мост-трудяга, скромно уступивший золото калифорнийскому рекордсмену. Пока в городке не понастроили высотных домов, мне был виден из окна его стальной пилон. Сейчас о его близости напоминает гул вертолетов, сливающийся со стрекотом газонокосилок — ненавистная какофония американских городков. Когда-то мне казалось, что эти вертолеты походят на «стрекоз смерти» своим окрасом и проворностью, с которой они кружили над Гудзоном. Их сменили грохочущие в небе неторопливые тяжеловесы, впрочем, и сам мост сейчас забит потоком многоколесных мастодонтов, движущихся, словно то с водопоя, то на водопой.

Если подойти к мосту поближе, на самый край утеса со стороны нашего городка, то можно увидеть голубое, или серое, или черное ночное небо в гигантской воздушной арке его пилона. Иногда оптический обман помещает туда облачко, отбившееся от стада кучевых облаков или самолет, плавно разрезающий синь над Гудзоном.

Пару раз я прошла по этому мосту: первый — из любопытства, второй — не помню зачем, но помню свое волнение, почувствовав легкую вибрацию под ногами. Мост как будто дышал, жил своей загруженной жизнью. Рядом со мной все мчалось и грохотало, включая велосипедистов, с которыми приходилось делить и без того узкую пешеходную дорожку. На какое-то мгновение мне удалось остановиться и, отогнав испуганную мысль, посмотреть вниз на чешуйчатую рябь Гудзона. Мосты издавна облюбованы самоубийцами. Говорят, первенство принадлежит калифорнийцу, броситься с которого приезжают даже из Японии. У нас эту проблему решили просто, натянув заградительную сетку над перилами, которая, кроме всего прочего, закрыла вид на долину Гудзона и нижний Манхэттен. К тому же здесь все время что-то ремонтируют, прокладывают, подвешивают или снимают, и вблизи все это напоминает цех какого-то предприятия, работающего над сохранностью величественного замысла творцов, имен которых я не могу запомнить. Проход по этому цеху, висящему над Гудзоном, несравним с прогулкой по мостам покинуто-

го мною города, красота которых нет-нет, да и всплывает в памяти. Возможно, я бы так и не полюбила эту воплощенную победу прагматизма, если бы не жила у реки. Во время одной из прогулок вдоль берега, обсыпанного гигантской базальтовой крошкой, мне представилась знаменитая переправа Джорджа Вашингтона через Гудзон под покровом ночи: злобная река, готовая поглотить людей, набившихся в шлюпки, надвинутые на лбы треуголки, развевающиеся по ветру косицы.

Это произошло в том самом месте, над которым высился растянувшийся пролет моста. Как они взбирались на отвесный прибрежный утес, тащили за собой орудия, отступали под напором англичан, отвоевывали каменистые берега? Сейчас здесь мирно пасутся канадские гуси, промышляют крикливые чайки, многочисленные семейства поджаривают на грилях сосиски. В такие моменты в голову приходят простые и ясные мысли: надо принять все как есть. У кого-то есть пирамида Хеопса, где-то стоит Эйфелева башня, а у нас пусть будет этот мост, соединяющий два штата в самом узком месте Гудзона.

СОДЕРЖАНИЕ

Апельсиновое дерево. <i>Роман-воскрешение</i>	5
Аэродром. <i>Повесть</i>	236
На этюдах. <i>Сборник коротких рассказов и зарисовок</i>	290

Літературно-художнє видання

СЕРІЯ «Бібліотека “Крещатика”»

Заснована в 2023 році

Алла Дубровская

АПЕЛЬСИНОВОЕ

ДЕРЕВО

(російською мовою)

Макет обкладинки і верстка Друкарський двір Олега Федорова

Формат 60x84 1/16. Наклад 150 прим. Зам. №2397

Папір 80 офсет. Друк цифровий. Ум. друк. а. 20,5

Гарнітура «Cambria».

Підписано до друку 28.09.2023 р.

Видавець Федоров О. М.,

«Друкарський двір Олега Федорова»

Адреса: а/я 24, Київ-205, 04205, Україна,

e-mail: relaks-oleg@ukr.net

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,

виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

серія ДК № 3668 від 14.01.2010 р.

Віддруковано в друкарні ТОВ «7БЦ»

Адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, б-р Незалежності, 2/148

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,

виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

серія ДК № 5329 від 11.04.2017 р.



АЛЛА ДУБРОВСКАЯ — родилась в Чите, детство и юность провела в Царском Селе и Ленинграде, в настоящее время (с 1992 года) живет в Нью-Йорке. Прозаик. Автор романов «Одинокая звезда» и «Апельсиновое дерево», многочисленных рассказов и мемуарной прозы, печатавшихся в журналах «Крещатик», «Интерпоэзия», «Новый берег» и др. Лауреат Литературной премии им. Марка Алданова, 2022 (США).



ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР
ОЛГА ОВДОРОВА

